This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

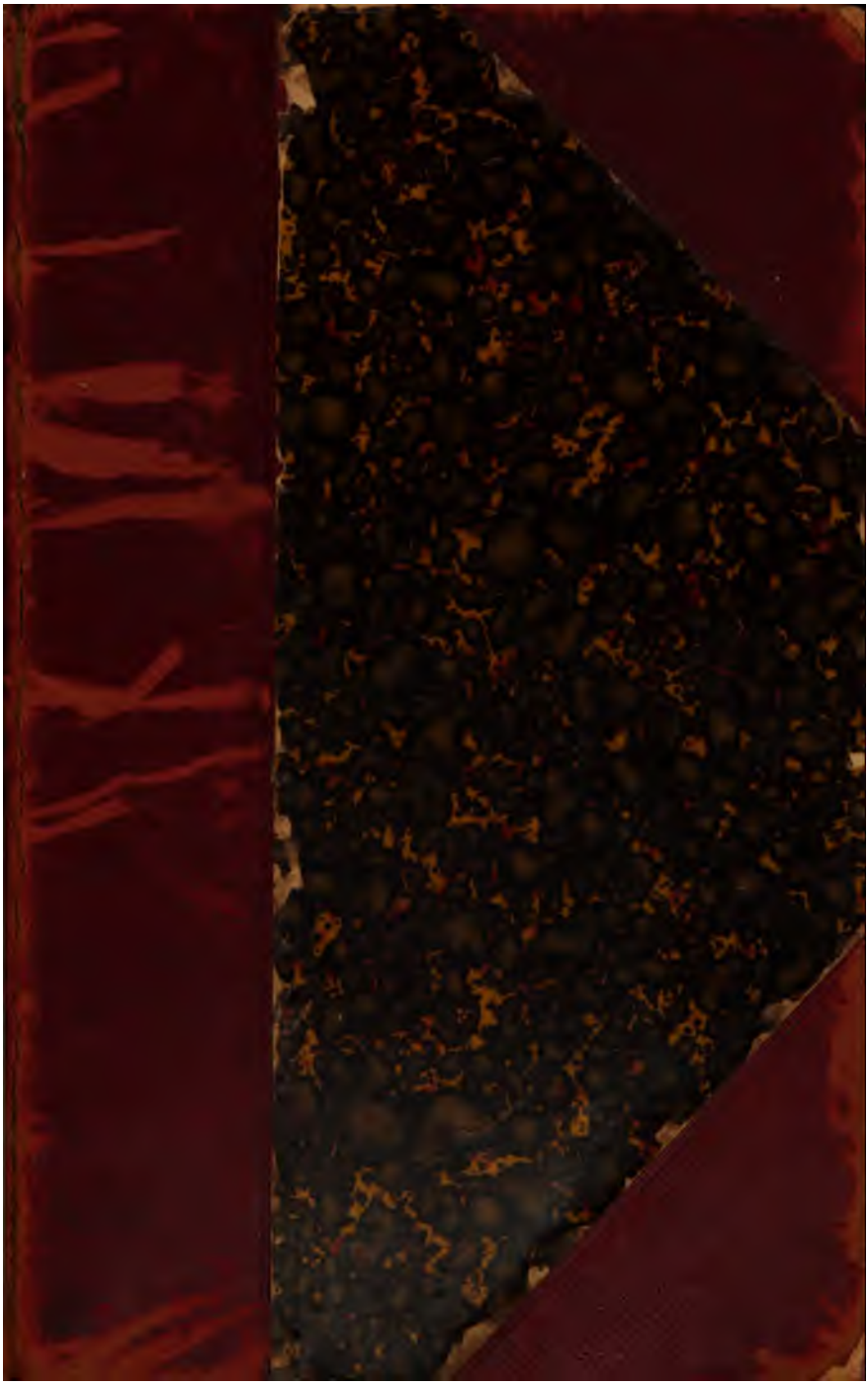
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES

556
6

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

І. ЯСИНСКАГО

ТРЕТЬЯ КНИЖКА

IAsinskiĭ, I.I.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ

І. ЯСИНСКАГО

1883 — 1884

КАТРЯ — СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА — СОНЪ У ДѢТЕЙ НА ЕЛКѢ — ТИПЫ ЦАРСКАГО САДА — ВѢРОЧКА — ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВИЧЪ — ВРАГЪ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО ФАУСТЪ — ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ — НОВЫЙ ГОДЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 39)
1888

ТК

F02661

PG3467
I3
1888
v.3

КАТЯ

Кн. А. И. Урусову

I

Поѣздъ остановился на пять минутъ. Станція — Блискавки. Пассажировъ мало, никто издалека не ѣдетъ. Эта вѣтвь желѣзной дороги проведена сюда, чтобъ вывозить хлѣбъ, да и то зимою, а не лѣтомъ. Лѣтомъ кондукторы пробѣгаютъ по пустымъ вагонамъ, и хорошо, если въ вагонѣ найдется два-три человѣка. Это лица знакомыя, давнымъ-давно примелькавшіяся кондукторамъ: еврей, помѣщикъ, попъ, богатый казакъ, гимназистъ, гимназистка. Начальникъ станціи сидитъ на балкончикѣ въ рубашкѣ и рѣжется въ карты. Иногда изъ вагона становой или кто-нибудь перекинется съ нимъ пріятельскимъ словомъ.

Если-бы въ числѣ пассажировъ былъ при этомъ посторонній человѣкъ, *пріѣзжій*, какъ выражаются здѣсь кондуктора, то его поразило-бы, что начальникъ станціи напоминаетъ своимъ голосомъ тромбонъ. Зычный, оглушительный голосъ! Но ужъ изъ мѣстныхъ пассажировъ никто не удивляется ни голосу начальника станціи, ни его безцеремонности. Вмѣсто пяти минутъ, положенныхъ по росписанію, поѣзда въ Блискавкахъ простаиваютъ нерѣдко полчаса и часъ. Тоже никого это не удивляетъ, и всѣ знаютъ, что желѣзнодорожныя власти поджидаютъ пассажировъ изъ ближайшихъ деревень. Дорога маленькая, всего сорокъ семь верстъ, пять саженъ и три вершка съ осьмою, и надо же компаніи получать что-нибудь съ нея въ лѣтніе мѣсяцы.

Такимъ образомъ, и теперь поѣздъ, остановившійся на пять минутъ, растянулъ этотъ срокъ почти на часъ, и пассажиры, какъ ни великодушно относились они къ интересамъ компаніи, стали роптать.

Но оберъ-кондукторъ началъ «усовѣ-

щевать» пассажировъ, т. е. увѣрять ихъ, что поѣздъ сейчасъ тронется. Черезъ десять минутъ онъ объявилъ, что поѣздъ тронется сію секунду; черезъ пять минутъ—что поѣздъ уже трогается. Наконецъ, раздался сигнальный свистокъ, но поѣздъ не трогался.

Тѣмъ временемъ по проселочной дорогѣ, усаженной роскошными каролинскими тополями и ровной, какъ доска, катила коляска; серебряныя гайки ея колесъ издали сверкали на солнцѣ, а пыль бѣлымъ облакомъ стлалась за нею. Начальникъ станціи, сидя на балкончикѣ противъ блѣднаго, проигравшагося офицера, сейчасъ-же узналъ, чей это экипажъ и, распечатавъ новую колоду картъ, крикнулъ на платформу помощнику:

— Графъ Парпура!

Имя это успокоило пассажировъ: стало ясно, почему такъ долго стоитъ поѣздъ, и явилась незыблемая увѣренность, что теперь стоять ужъ, дѣйствительно, недолго.

Графъ Парпура выскочилъ изъ коля-

*

ски; проведя платкомъ по чернымъ висячимъ усамъ, онъ снисходительно отвѣтилъ на поклоны помощника и кондукторовъ и сѣлъ въ вагонъ перваго класса. Станція, съ рѣзными коньками, съ игрушечнымъ балкончикомъ, съ бѣлыми стаканчиками телеграфныхъ столбовъ, съ платформами, стала уплывать отъ пассажировъ; машина начала пыхтѣть скорѣе и скорѣе и, наконецъ, побѣжали по обѣимъ сторонамъ зеленые луга, озера, хутора, деревья, залитые жгучимъ солнцемъ; мѣрно застучали колеса вагоновъ.

Сидя въ бархатномъ купе, графъ сохранялъ нѣкоторое время то особое выраженіе—отчасти тупое, отчасти горделивое—которое свойственно богатымъ людямъ, не расходующимъ умственной энергіи на мелкія житейскія заботы. Онъ былъ здоровъ, не старъ, душа его ничѣмъ не волновалась. Онъ не служилъ; ни чиновникъ, ни земецъ, онъ просто баринъ...

Было жарко. Графъ снялъ панаму, и въ черныхъ волосахъ его можно было-бы замѣтить сѣдину. Глаза у него еще моло-

дые, темные, съ влажнымъ блескомъ; но вокругъ глазъ уже легли легкія коричневыя кольца приближающейся старости. Носъ прямой, толстоватый, а крупный подбородокъ вельможно двоился. Невысокая шея уходила въ богатырскія плечи, хоть ростомъ графъ и не богатырь. Большія руки были затянуты въ свѣжія перчатки. Вмѣсто цѣпочки, вилась по лѣтнему полотняному жилету тесемка, запонки были костяныя, бѣлье дорогое.

Онъ смотрѣлъ въ окно; стекло опущено, и вѣтеръ, всегда сопровождающій поѣздъ, дулъ графу въ лицо. Рожь и пшеница въ этомъ году замѣчательныя. Но когда онѣ бываютъ плохія? Въ ихъ благодатныхъ мѣстахъ неурожаи невозможная вещь; развѣ ужъ градъ выбьетъ! Земля удобренія не требуетъ. Мужикъ богатъ. «Да и паны здѣсь не бѣдный народъ,» думаетъ графъ, примѣчая на горизонтѣ усадьбы мѣстныхъ помѣщиковъ, неизбѣжно украшенныя пирамидальными тополями: «У каждаго домъ—полная чаша, какъ въ старое доброе время; въ глуши, гдѣ

жизнь дешева, проживаютъ по десяти тысячъ...»

Онъ вынулъ гаванскую сигару и закурилъ.

Въ сосѣднемъ купе кто-то вздохнулъ. То былъ странный вздохъ. Парпура сдвинулъ брови, а когда вздохъ повторился, почувствовалъ безотчетную тревогу и сталъ прислушиваться...

Палисандровая дверца отворилась, и въ купе вошла хорошенькая барышня, худенькая, бѣлокурая, въ странномъ, полуукраинскомъ, полурусскомъ нарядѣ. Въ длинной золотистой косѣ ея пестрѣли разноцвѣтныя ленты, грудь рубашки была расшита тончайшими узорами, въ рукѣ дѣвушка держала букетикъ цвѣтовъ, а на шеѣ у ней чернѣлась бархатная лента съ брильянтовымъ крестикомъ. Лента выдѣляла молочную бѣлизну кожи. Лицо было неправильное: сѣро-голубые глаза далеко разставлены, темныя красивыя брови, прямой носъ, тупой на концѣ, примѣтный пушокъ надъ верхней губой капризнаго, очаровательнаго рта, и на щекѣ

родинка. Она улыбнулась, когда вошла; можно было подумать: «Довольно развязная молодая особа». Но вопросительный взглядъ Парпуры смутилъ ее, дѣвушка покраснѣла.

— Прошу васъ, графъ,—сказала она, доставая папироску:—нѣтъ-ли...

Графъ догадался и молча протянулъ спички съ любезнымъ жестомъ.

Она стала нервно и неловко зажигать папиросу. Наконецъ, зажгла, поперхнулась дымомъ и, возвращая спичечницу, сказала, не глядя на графа:

— Благодарю.

Уходя, она вынула изъ своего букетика розу, бросила ее на пустое кресло и торопливо произнесла:

— Если понравится—возьмите; не хочу быть въ долгу у васъ.

Графъ улыбнулся и взялъ розу.

Такъ это она такъ вздыхала? Можно было подумать, вздыхаетъ больной, совсѣмъ больной ребенокъ; между тѣмъ, на больную она непохожа. Должно быть, капризна и нетерпѣлива. «Она вздыхала про-

сто отъ нетерпѣнія», рѣшилъ графъ и понюхалъ розу.

«Она меня, конечно, знаетъ», думалъ онъ затѣмъ — кто не знаетъ графа Парпуру?—но онъ не встрѣчалъ ея раньше. Графъ долженъ былъ признаться, что если-бы онъ встрѣтилъ ее раньше хоть разъ, то не забылъ-бы...

Тутъ онъ снова понюхалъ розу и, заткнувъ ее въ петличку пиджака, продолжалъ курить и глядѣть изъ окна на убѣгающіе пейзажи.

Мѣстность степная, но когда-то здѣсь протекали рѣки, и отъ нихъ остались глубокія русла, въ видѣ безконечныхъ яровъ, поросшихъ липовыми и орѣховыми лѣсами. На днѣ блестятъ тамъ и сямъ продолговатыя озера. Вдругъ вынырнетъ вишневый садикъ, хуторокъ бѣлѣется на солнцѣ. Или громадный дубъ стоитъ и точно хмурится на желѣзнодорожный поѣздъ. Курганы выдѣляются на горизонтѣ темными буграми. По зеленѣющему склону спускается молодая казачка въ пестромъ вѣнкѣ. Увидѣвъ поѣздъ, она останавливается и

долго смотритъ, приложивъ руку къ глазамъ. Стада неподвижно пасутся. А вотъ каролинскіе тополи. Графъ узнаетъ свои владѣнія. Они разсѣяны по всему уѣзду, и отличительный признакъ ихъ—необыкновенная благоустроенность проселковъ.

Раздался свистокъ: новая станція — Парпуровка. Поѣздъ остановился, графъ вышелъ изъ вагона. Лакей приблизился къ нему и объявилъ, что лошади ждутъ. Вышла изъ вагона и та дѣвушка. Графъ былъ убѣжденъ, что всѣ мѣстныя барышни мечтаютъ о немъ, потому-что, въ самомъ дѣлѣ, не дурно выйти за барина, у котораго двѣсти тысячъ дохода. Ко всякимъ знакомствамъ онъ относился, вслѣдствіе этого, подозрительно. Но съ другой стороны, въ качествѣ настоящаго барина, онъ и не пренебрегалъ знакомствами, ибо какое знакомство можетъ уронить его, графа Парпуру? Только выскочки и чиновные семинаристы высокомѣрны, а Парпура простъ. Онъ слегка поклонился барышнѣ и молча указалъ на

розу. Дѣвушка зардѣлась, и, неизвѣстно почему, Парпура самъ покраснѣлъ. Выйдя на крыльцо, онъ замѣтилъ, что кромѣ его экипажа, нѣтъ другаго. Тогда онъ послалъ своего лакея на платформу къ незнакомой дѣвушкѣ съ предложеніемъ воспользоваться его экипажемъ. Но она отказалась. Бичъ захлопалъ, графъ откинулся на подушки, и коляска покатила.

На перекресткѣ, тамъ, гдѣ аллея каролинскихъ тополей перерѣзывается обыкновенною проселочною дорогою, графъ увидѣлъ молодого дворянина Тычину, въ двухколесномъ экипажѣ, усердно погоняющаго бѣлую громадную лошадь, очевидно, непривыкшую ходить въ упряжкѣ. На Тычинѣ была военная расшлепанная фуражка; маленькое черное лицо его, съ свирѣпыми усами, пылало гнѣвомъ. Графъ подумалъ: «Ужъ не за той-ли онъ барышней? Можетъ быть, его родственница?» Обернувшись, онъ нѣкоторое время съ улыбкой смотрѣлъ на Тычину и его гарцующаго коня, пока пыль не скрыла ихъ изъ виду. Послѣ чего Парпура закурилъ новую

сигару и пересталъ думать о хорошенькой незнакомкѣ.

II

— Ну, Катря, садись! сказалъ Тычина, не выпуская ременныхъ возжей, туго намотанныхъ на его длинную жилистую руку:—Прыгай скорѣе, а то мухи не даютъ покоя *Полковнику!* Онъ меня чуть не разнесъ... Такая скотина, убей его нечистая сила!

Дѣвушка пожала плечами.

— *Бѣда?* Ты всегда выдумаешь невозможный экипажъ... Кто просилъ тебя выѣзжать въ *бѣдѣ?* Еще и Полковника запрегъ! Вотъ такъ умный человѣкъ!

Тычина, пока говорила дѣвушка, стоялъ возлѣ лошади и смотрѣлъ изъ-подъ козырька въ даль. Онъ былъ прямъ, какъ палка. Короткій пиджакъ открывалъ неимовѣрно длинныя, тонкія ноги. Шея у него тоже была длинная, съ некрасивымъ костлявымъ кадыкомъ. Волосы лежали на

подобіе крыльевъ вòрона, а на загорѣломъ лицѣ, въ глубокихъ впадинахъ, мрачно блестѣли темные глаза.

— Садись, Катря, — сказалъ онъ съ угрозой: — не то самъ уѣду, и ты останешься одна тутъ... Намучился я съ Полковникомъ, не зли хоть ты меня!

— Не сяду я! рѣшительно отвѣчала Катря.

Всегда выходило, что, какъ только онъ возвыситъ голосъ, Катря начинаетъ упрямиться. Попроси онъ ласково, пожалуй, она сѣла-бы и поѣхала. Но Катря не выносила угрожающаго тона. Сердито прошлась она по крыльцу, стуча каблучками, и губы ея были сжаты.

Съ другой стороны, не разсердись Катря, Тычина согласился-бы, что *бѣда*, въ данномъ случаѣ, совершенно неподходящій экипажъ. Но теперь онъ былъ противнаго мнѣнія. Катря разнѣжилась, надо ее проучить. Не можетъ иначе, какъ въ коляскѣ или первомъ классѣ! Скажите, барыня! Онъ поблѣднѣлъ и, вскочивъ въ *бѣду*, сталъ поворачивать лошадь.

— Оставайся-же тутъ,—крикнулъ онъ гнѣвно: — и пускай выѣзжаетъ за тобою кто хочетъ, а я тебѣ не слуга!

Красивые глаза Катри потемнѣли.

— Не слуга! спросила она: — Ну, и прочь! Поѣзжай одинъ! Дура я, что не послушалась графа... Да все равно, мое отъ меня не уйдетъ...

Катря улыбнулась блѣдной улыбкой. Покинуть ее нельзя: она вѣрила въ обаяніе своей красоты. Другое дѣло, если она сама броситъ. Какая-то неопредѣленная мысль о Парпурѣ служила ей точкой опоры въ этой размолвкѣ. Съ холоднымъ негодованіемъ смотрѣла Катря вслѣдъ удаляющемуся Тычинѣ.

Но та же мысль о графѣ осѣнила и его. Онъ круто повернулъ коня и, какъ сумасшедшій, полетѣлъ назадъ къ станціи.

— Катря, садись, прошу тебя! сказалъ онъ ласково.

Она хотѣла возразить что-нибудь жестокое, чтобъ унизить Тычину и заставить его подольше попросить, но встрѣтила безмолвный, насмѣшливый взглядъ бабы,

стоявшей все время на дворѣ, и торопливо сѣла въ *бѣду;* конь взвился на дыбы, потомъ рванулся и пошелъ рысью, покорствуя желѣзной рукѣ возницы.

Минутъ черезъ двадцать, они начали спускаться въ глубокій яръ. Надъ ними висѣли причудливыя массы красной и желтой глины, поросшія орѣшникомъ и сорными травами. Небо ярко синѣло. На озерѣ возвышался островъ, сообщающійся съ берегомъ плотиной. Издали видъ былъ красивый. Но когда *бѣда* запрыгала, Катря стала проклинать плотину. Ругнулся и Тычина. Колеса вязли въ грязи.

— Я, знаешь, встану, — сказалъ Тычина:—Этакъ Полковника можно зарѣзать.

Дѣвушка вопросительно посмотрѣла на него. Ей стало жаль, что онъ полѣзетъ въ грязь.

— Сиди,—произнесла она.

Тычина взялъ у ней руку и поцѣловалъ, а она слегка ударила зонтикомъ Полковника.

Они помирились. Тычина не понималъ, какъ у него могла явиться мысль оби-

дѣть Катрю, и дивился своему вздорному характеру. Катря сердилась на себя, что упомянула о графѣ.

Полковникъ дотащилъ ихъ благополучно до воротъ усадьбы, и они въѣхали въ громадный дворъ.

III

Темная зелень пирамидальныхъ тополей и черная соломенная крыша составляли рѣзкую противоположность съ безукоризненно бѣлыми стѣнами большого приземистаго дома о двухъ крыльцахъ, увитыхъ дикимъ виноградомъ. По ту сторону дома росъ садъ. Множество собакъ, поджарыхъ борзыхъ, шелковистыхъ сетеровъ и толстоногихъ гончихъ, встрѣтили молодыхъ людей радостнымъ лаемъ. Вышелъ мужикъ и принялъ лошадь. Катря съ удовольствіемъ подумала, что она дома, и побѣжала на свою половину.

Въ комнатахъ стояла духота. Рои мухъ жужжали въ тепломъ воздухѣ. Серебря-

ная лампадка казалась черной—такъ онѣ засидѣли ее. Убранство было старосвѣтское: гравюры въ палисандровыхъ плоскихъ рамахъ, четырехногое фортепьяно, краснаго дерева мебель съ вогнутыми спинками, большое зеркало въ золоченой рамѣ. Въ гостиной находилась, впрочемъ, дюжина современныхъ креселъ, и у многихъ изъ нихъ уже вышадали ножки. Кабинетъ Тычины можно было скорѣе назвать птичникомъ. Отъ потолка до полу были протянуты по угламъ сѣти, и за ними бились и чирикали всевозможныя пташки; стѣны увѣшаны арапниками, простыми и скорострѣльными ружьями, пороховницами и дробницами. Неизвѣстно, что писалъ дворянинъ Тычина и вообще писалъ ли когда-нибудь, но на его письменномъ столѣ красовалась тяжелая бронзовая чернильница съ крышкой, изображающей горящій факелъ. Мухи не успѣли еще засидѣть бронзу. Сіяющая вещь эта вызывала чувство гордости въ ея обладателѣ. Надъ письменнымъ столомъ висѣла полка съ книгами по сельскому хозяйству и охотѣ.

Книги были тоже предметомъ гордости Тычины: благодаря имъ, онъ считался первымъ хозяиномъ и первымъ охотникомъ во всемъ уѣздѣ.

Еще не такъ давно у него было шестьсотъ десятинъ превосходнѣйшей земли. Онъ отдавалъ ее въ аренду мужикамъ и получалъ аккуратно до четырехъ тысячъ въ годъ. Тогда онъ разъѣзжалъ по окреснымъ ярмаркамъ, слушалъ цыганъ, покупалъ лошадей, собакъ. Но теперь имѣніе его заключается всего въ ста семидесяти трехъ десятинахъ, и по ярмаркамъ онъ не разъѣзжаетъ. Зато въ аренду земли не отдаетъ, у него своя запашка, и онъ надѣется, въ скоромъ времени, получать тѣ-же четыре тысячи съ имѣнія, если не больше. Какъ—это его тайна.

На половинѣ Катри гораздо роскошнѣе, чѣмъ на половинѣ ея сожителя. Катря любитъ дорогія вещи. Полы и стѣны въ персидскихъ коврахъ, за которые заплачено въ Кіевѣ на контрактахъ тысячу семьсотъ рублей. Тамъ-же купленъ комодикъ съ аляповатой бронзой и мраморной

доской за триста рублей. На окнахъ филейныя гардины на шелковой розовой подкладкѣ. Стулья модные, съ позолотой и съ атласными голубыми сидѣньями. Въ углу гипсовая статуя Венеры, на которую Катря надѣла искусно вырѣзанную изъ папиросной бумаги тунику. Очень много цвѣтовъ—пальмъ, кактусовъ. Надъ узенькой постелью, одѣяло которой и подушки расшиты узорами, висятъ фотографическія карточки въ рамкахъ. Все это, вмѣстѣ съ серебрянымъ рукомойникомъ, занимающимъ почетное мѣсто, небомъ, виднѣющимся изъ окна, и зеленью сада, отражается въ большомъ орѣховомъ трюмо.

Теперь въ трюмо отражается и сама Катря. Она полулежитъ на гнутой качалкѣ. Никогда не пропускаетъ она случая найти себя хорошенькой. Катря смотритъ на свои плечи, тонкую шею, бѣлое лицо съ румянымъ загаромъ, съ алымъ ртомъ, золотую косу, по которой пробѣгаютъ ея длинные, красивые пальчики, и жалѣетъ о томъ времени, когда она была еще лучше. Глупо она сдѣлала, что полю-

била Тычину. Конечно, она любитъ его и теперь; но теперь не случилось-бы *того*. Ее сокрушаетъ мысль, что она тогда, въ шестнадцать лѣтъ, не сдержала себя. Несмотря на свое круглое сиротство, она могла-бы выйти замужъ. А выйти замужъ лучше, чѣмъ жить *такъ* — съ женатымъ...

Катря вздохнула и заложила руки подъ голову. Башмачекъ нервно билъ по полу, и все ея тонкое тѣло качалось взадъ и впередъ.

Она подумала, что любитъ Тычину какою-то странною любовью. Эта любовь похожа на жалость. Онъ кажется ей ограниченнымъ человѣкомъ, но вѣдь любить дурака никогда не было ея идеаломъ...

Умывшись, она стала курить. Когда синій дымокъ потянуло къ окну, мысль о графѣ снова зашевелилась въ ея умѣ. Катря продолжала качаться и смотрѣть на себя въ зеркало.

Вдругъ, она замѣтила, что глаза у ней холодные, тусклые, почти злые; такихъ глазъ у ней никогда не бывало прежде;

*

точно какая-то другая женщина глядитъ изъ нея.

Катрѣ стало стыдно, она отвернулась. Она вспомнила, какъ любитъ ее Тычина, какой онъ щедрый. Онъ для нея продалъ имѣніе, а много-ли осталось изъ вырученныхъ денегъ? Развѣ Катря не соритъ деньгами? Вотъ и сегодня поѣхала въ городъ и истратила на пустяки сто рублей, потому-что ей все надо купить — и черные шелковые чулки, и золотыя туфельки, и отвратительную серебряную брошку съ надписью «Екатерина», и шкатулку съ духами... И на чай она меньше рубля не даетъ...

Она сидѣла, съ пылающимъ лицомъ, закрывъ глаза рукой, и шептала:

— Володя! Прости меня!

А когда раздался стукъ въ двери — характерный, отрывистый стукъ — и вошелъ Тычина, добродушный и милый, съ мягкой улыбкой, она быстро встала ему навстрѣчу, прижалась къ нему и сказала:

— Поцѣлуй меня!

Онъ поцѣловалъ ее, и она готова была плакать отъ умиленія.

Но потомъ это прошло съ жаромъ поцѣлуя; прежнее чувство недовольства опять сдѣлалось преобладающимъ въ ея душѣ, жаждавшей лучшей доли.

Они пообѣдали вмѣстѣ, какъ всегда. Тычина былъ разговорчивъ, она отмалчивалась. Послѣ обѣда ей захотѣлось прокатиться въ лѣсъ. Но Тычина признался, что, кромѣ *брички*, не имѣется другого экипажа, потому-что фаэтонъ взялъ сегодня акцизникъ, давно его купившій. Катря поблѣднѣла.

— Денегъ уже, значитъ, нѣтъ? спросила она.

Тычина сидѣлъ, потупившись.

— Будутъ,—пробормоталъ онъ.

Она отодвинула стулъ и вышла въ садъ.

Садъ былъ обыкновенный, малорусскій садъ—жиденькій вишневый. Но возлѣ дома цвѣли бѣлыя акаціи, жасмины, сирень, пестрѣли благовонные цвѣты. Широкими уступами спускался садъ къ озеру, гдѣ тихо шумѣли старыя, блѣдныя вербы.

Множество розовыхъ кустовъ росло на островѣ. Онъ былъ похожъ на громадную корзину цвѣтовъ.

Катря торопливо шла по узенькимъ аллеямъ. Ей было тяжело, что она раззоряетъ Володю. Если въ три года они прожили чуть не сорокъ тысячъ, и все-таки жили скверно, то чѣмъ и какъ они будутъ жить дальше? Она стала соображать, что она купила за это время. Припомнила и удивилась, что такъ мало истратила денегъ. Она не подсчитала ни многочисленныхъ дорожныхъ издержекъ, ни жизни въ гостиницахъ въ ярмарочную пору, ни разныхъ мелочей, а только расходы покрупнѣе. Ей стало легче. Она не мотовка. Но куда-же, въ такомъ случаѣ, ушли деньги?

Володя постоянно говоритъ, что онъ ведетъ трезвую жизнь и немного тратитъ на себя. Это правда, на немъ бѣлья порядочнаго нѣтъ, и платье онъ шьетъ не въ Кіевѣ, а у захолустнаго портного Юдки. Но зато полсотни собакъ развѣ мало съѣдаютъ! А сельскохозяйственныя машины, которыми завалены сараи? А

ружья? А книги? А бронзовая чернильница? Бронзовая чернильница, эта совершенно ненужная вещь, ставила внѣ сомнѣнія расточительность Володи. Катря успокоилась.

Тѣмъ не менѣе, денегъ нѣтъ. Въ хозяйствѣ она ничего не понимаетъ; но ей не вѣрится, чтобъ Володя съумѣлъ когда-нибудь вышутаться. Ему грозитъ полное раззореніе. Она взобралась на холмикъ, гдѣ стояла виноградная бесѣдка, и, упавъ на скамейку, думала о деньгахъ, о томъ, какъ помочь Володѣ и какъ сдѣлать, чтобъ весело жилось на свѣтѣ.

Вечерѣло. Въ лазурномъ небѣ рдѣли облака. Солнце низко стояло и бросало спокойный золотой свѣтъ на красную глину далекихъ откосовъ, и они опрокидывались въ зеркальной глади озера. Направо зеленѣлъ дубовый лѣсъ. Налѣво исчезали въ розовомъ туманѣ заката каролинскіе тополи. А прямо лиловымъ пятномъ, на которомъ горѣли искрами далекія окна, виднѣлась усадьба Парпуры. Катря привстала, раздвинула вѣтки акаціи съ бѣлыми кис-

тями душистыхъ цвѣтовъ и жадно смотрѣла туда. И то, о чемъ она думала теперь, казалось ей несбыточнымъ, но чуднымъ сномъ.

IV

Тычина заложилъ часть остального имѣнія и деньги явились. На эти деньги Катря слетала въ Кіевъ, купила нѣсколько модныхъ вещей и взяла въ разсрочку у каретника прехорошенькій фаэтончикъ. Въ немъ она часто каталась. Любимымъ ея мѣстомъ гулянья стала дорога, усаженная каролинскими тополями. Ее сопровождалъ обыкновенно Володя. Но она каталась и одна, и тогда прогулка ей особенно нравилась. Катря пристально посматривала впередъ и назадъ, не ѣдетъ-ли блестящій экипажъ графа. Или, принявъ кокетливую позу, она проносилась мимо усадьбы Парпуры. Домъ стоялъ на пригоркѣ, впереди парка, и красивая архитектура его привлекала глазъ Катри.

Домъ былъ кирпично-розовый съ зеркальными окнами, съ башенками, съ бѣлыми, колеблющимися отъ вѣтра жалюзи. Легкая желѣзная рѣшетка служила оградой, и со двора, гдѣ пестрѣли клумбы, несся незнакомый ароматъ тропическихъ цвѣтовъ; отъ него ноздри вздрагивали у Катри, нетерпѣливый вздохъ вырывался изъ груди. Отчего ей, красивой и молодой, не суждено жить въ такомъ дворцѣ?

Ни разу она не встрѣтила Парпуру— и возвращалась домой, сердитая, капризная. Жизнь казалась ей скучной, Володя былъ невыносимъ.

Между тѣмъ отцвѣла акація, осыпались розы, соловей давно пересталъ пѣть. Стояли жаркіе дни. Отъ лучей іюльскаго солнца побѣлѣла рожь. Начались полевыя работы. Небо синее, синее; куда по горизонту ни кинешь глазомъ, всюду сверкаетъ бѣлая рубаха мужика, мѣрно размахивающаго косой. Бабы и дѣвки жнутъ, нагибаясь. По дорогамъ, то и дѣло, скрипятъ возы, запряженные мохнатыми, сытыми лошаденками или большими серебристыми волами. Маль-

чикъ въ мѣховой облѣзлой шапчонкѣ, дѣвочка, въ вѣнкѣ изъ яркихъ гвоздикъ и георгинъ, идутъ за возомъ, и на ихъ смуглыхъ личикахъ бѣлѣютъ пузыри, губы вздуты, какъ отъ обжога. Это солнце палитъ. Вечеромъ кто возвращается домой, кто ночуетъ въ полѣ. Тогда въ полупрозрачномъ сумракѣ дух ной ночи загораются костры, а въ воздухѣ, справа, слѣва дрожитъ звонкая хоровая пѣсня.

Среди этого оживленія, Катрѣ было особенно не по себѣ. Сожитель ея цѣлые дни проводилъ на полѣ, а она сидѣла на своей половинѣ, раздѣтая, праздная, качалась передъ зеркаломъ, мечтала о какой-то особой нескучной жизни, плакала, что годы ея безплодно уходятъ, что она лишняя на свѣтѣ, и во всемъ обвиняла Тычину. Иногда онъ представлялся ей такимъ преступнымъ, что она не пускала его къ себѣ. «Онъ заѣдаетъ мой вѣкъ!» шептала она, ломая руки. Тычина смотрѣлъ ей въ глаза, не зная, чѣмъ угодить; вернувщись съ поля, гдѣ его бѣсили машины, портившія хлѣбъ, онъ долженъ былъ уха-

живать за ней; онъ дѣлалъ это, скрѣпя сердце, потому что его самого все раздражало. Но нервы у ней были чуткіе. Малѣйшая дрожь въ голосѣ Володи выводила ее изъ себя. Начинались слезы, упреки; онъ сѣдлалъ коня и бѣшено скакалъ по ярамъ, искренно желая сломать себѣ шею...

Ссоры случались не ежедневно, но все-таки часто. Выдавались минуты, когда молодымъ людямъ достаточно было взглянуть другъ на друга, чтобъ поссориться. Они стали бояться одинъ другого и избѣгали встрѣчъ.

Оставаясь одинъ, Тычина плакалъ, не понимая, что̀ дѣлается съ Катрей.

V

Въ пятнадцати верстахъ отъ усадьбы Тычины жили Чапліевскіе, въ Колядинѣ, большомъ селѣ, съ двумя церквами; зеленые куполы церквей скромно возвышались надъ бѣлыми хатами, кругообразно рас-

положенными на отлогомъ откосѣ яра, среди вишневыхъ садовъ. На самомъ верху откоса стоялъ домъ Чапліевскихъ. Виднѣлся только одинъ уголъ его, если подъѣзжать къ нему со стороны села. Вѣковѣчныя липы окружали домъ. Онъ былъ недавно выстроенъ на мѣстѣ стараго, и дерево не успѣло еще почернѣть. У Чапліевскихъ считалось всего четыреста десятинъ, но они вели образцово свои дѣла и могли быть названы богатыми людьми. У нихъ имѣлась винокурня, и ихъ табачная плантація давала большой доходъ. Они не были скупы, но разсчетливы. Денегъ зря не бросали, не выходили изъ разъ установленнаго бюджета, и въ этомъ заключалась тайна ихъ зажиточности. Они держали экипажи, лошадей, мебель и рояль выписали изъ Петербурга; у нихъ было много столоваго серебра. Но все это завели они не сразу, а постепенно, и успѣли состарѣться прежде, чѣмъ увидѣли, что хозяйство ихъ процвѣтаетъ, и они «не хуже другихъ».

Чапліевскіе по временамъ задавали пиры,

на которые съѣзжалось много сосѣднихъ пановъ. Вотъ и теперь, по поводу благополучнаго окончанія *косовицы*, Чапліевскіе разослали пригласительныя письма, съ просьбой «откушать косарской каши». Тычина также получилъ письмо. Приглашали и его, и Катерину Ефимовну. Чапліевскіе были единственные сосѣди, которые не чуждались Катри: у нихъ нѣтъ дочерей, люди они либеральные и деликатные.

Катря начала собираться съ утра и долго мучилась, что̀ надѣть; наконецъ, уже передъ вечеромъ, остановилась на сѣромъ платьѣ, отдѣланномъ кружевами. Оно было сшито въ Кіевѣ и отлично сидѣло. Свѣжія перчатки на нѣсколько пуговокъ, модная шляпка, батистовый платокъ, вспрыснутый тонкими духами, шелковые чулки, высокія съ прорѣзами прюнелевыя ботинки, бриллiантовыя серьги — примирили Катрю съ тѣмъ, что она называла своей горькой долей. Катря улыбалась, ласково смотрѣла на Тычину, а когда они ѣхали въ Колядинъ, тихонько

жала ему руку и смѣялась, закрываясь застѣнчиво букетомъ.

Они ѣхали скоро и на каждомъ шагу видѣли знакомыя картины, облитыя янтарнымъ свѣтомъ заката. Въ одномъ мѣстѣ Тычина равнодушно сказалъ:

— Это были мои земли.

Но Катрѣ показалось, что на лицѣ его мелькнула тѣнь сожалѣнія. Она перестала смѣяться и нѣсколько минутъ смотрѣла въ ту сторону—на поле, на копны ржи, алѣвшія подъ лучами заходящаго солнца, и думала, какъ было-бы хорошо возвратить все это Володѣ... Она была полна великодушныхъ намѣреній.

Открылся видъ на Колядинъ. Село было расположено амфитеатромъ. Кресты церквей горѣли, какъ рубиновыя искры, но внизу уже легли синія тѣни вечера. Развѣсистыя ивы неподвижно стояли по обѣимъ сторонамъ плотины, въ спокойной глади прудовъ отражались багряныя облака. Начались узкія улицы, бѣлыя хаты, скрытыя до половины въ подсолнечникахъ и мальвахъ. Пыль поднялась удушающая:

шли овцы. Коровы мычали. Катря закуталась въ пледъ, и высунула лицо только тогда, когда лошади стали взбираться по откосу, усаженному липами. Тутъ было тихо, воздухъ струился прозрачный, душистый, потянуло холодкомъ. Черезъ нѣсколько минутъ, Чапліевскіе ласково встрѣтили гостей на балконѣ, гдѣ уже сидѣли другіе сосѣди и сосѣдки, пріѣхавшіе раньше.

Хозяинъ былъ лысый, коренастый человѣкъ, съ спокойной улыбкой на бронзовомъ, гладко выбритомъ лицѣ, въ легкомъ драдедамовомъ сюртукѣ и бѣломъ галстучкѣ. Хозяйка — высокая, полная дама, съ двойнымъ подбородкомъ, съ загорѣлыми рабочими руками, въ свѣтломъ кисейномъ платьѣ и красивомъ чепчикѣ. Она окинула испытующимъ взглядомъ Катрю и крѣпко поцѣловала. Катря, покраснѣвъ, возвратила поцѣлуй. Ей было пріятно, что Чапліевская такъ встрѣчаетъ ее. Но Чапліевская поцѣловала Катрю, чтобъ гости видѣли, какъ она сердечно относится къ этой «несчастной дѣвочкѣ».

Катря сѣла. Для дамъ принесли изъ комнатъ гнутые стулья, а мужчинамъ были предоставлены ступеньки широкаго балкона. Хозяйка ушла, она суетилась. Дамы обмахивались вѣерами, букетами и лѣниво молчали, вдыхая свѣжій воздухъ яснаго вечера. Мужчины-же, покуривая папиросы и сигары, говорили объ урожаѣ, о земскихъ дѣлахъ, о тамъ, какъ о. Митрофанъ проигралъ на ярмаркѣ экипажъ и лошадей. Послѣднее обстоятельство вызвало смѣхъ.

Тычина стоялъ посрединѣ балкона, спиной къ дамамъ, и чувствовалъ себя неловко въ новомъ сюртукѣ, полы котораго расходились, какъ юпка. Онъ проводилъ рукой по своему голому, красному загривку. Катря увидѣла, что Володя смѣшонъ, и вспыхнула. Хозяинъ сказалъ:

— Подсаживайтесь къ намъ, Володиміръ Ильичъ, разскажите, какъ ваше хозяйство... Что машины?

Володя, не оборачиваясь, бережно раздвинулъ полы сюртука и сѣлъ.

Катря не слышала, что онъ отвѣчалъ;

она негодовала; ей казалось, что дамы насмѣшливо переглянулись, когда онъ садился, и съ сожалѣніемъ посмотрѣли на нее. Нѣсколько лепестковъ съ ея букета закружились въ воздухѣ: она обрывала цвѣты, хотя лицо у ней было спокойно.

Балконъ выходилъ въ паркъ. Кто ѣдетъ, за деревьями не сразу увидишь. Экипажи вдругъ выѣзжаютъ изъ-за липъ. Вдругъ выѣхала и голубая карета, запряженная сытой четверкой и наклоненная на-бокъ; это пріѣхали сестры Долонины, одна худая, другая толстая. Дѣйствительно, когда карета остановилась, то изъ дверцы сначала показался массивный бѣлый локоть, потомъ часть розовой щеки, и такой станъ, что мужчины не утерпѣли и подумали: «Гм!» Наконецъ, полная особа вылѣзла изъ кареты совсѣмъ. На ней былъ синій сарафанъ съ позументами, и она походила скорѣе на кормилицу, чѣмъ на барышню: бѣлокурая, черты лица заплывшія, но юныя. Сестра ея, которую называли худой, вылѣзла изъ экипажа вслѣдъ за нею. Она была въ красномъ

сарафанѣ. Хозяйка услышала, выбѣжала на встрѣчу Долониным̈ъ и, расцѣловавъ, познакомила ихъ съ Катрей. Прочихъ дамъ Долонины сами хорошо знали. Катря, возлѣ которой сѣли Долонины, хотѣла завязать съ ними разговоръ и, для начала, похвалила погоду; но сестры отвѣтили односложнымъ контральтовымъ звукомъ, и никакъ нельзя было заключить, хвалятъ онѣ погоду, или нѣтъ. Катря замолчала, опять съ ея букета посыпались лепестки.

Еще пріѣхали гости—черноволосые юноши въ соломенныхъ бриляхъ (шляпахъ). Появился заѣзжій петербургскій франтъ, въ синей триковой парѣ, бронзовой цѣпочкѣ и съ развязно-вопросительнымъ выраженіемъ худого, зеленаго лица. Онъ говорилъ громко и повременамъ посматривалъ на дамъ пытливымъ окомъ. Явился о. Митрофанъ съ жидкими рыжими волосами, въ свѣтлой рясѣ, съ манерами вкрадчивыми и заискивающей улыбкой. Съ нимъ — два его сына, въ парусинныхъ блузахъ. Ихъ сѣрые глаза любовно и тупо смотрѣли на всѣхъ, ноги шаркали, стриженыя го-

ловы вѣжливо нагибались направо и налѣво. Пріѣхалъ старикъ атлетическаго сложенія, крѣпкій какъ дубъ, Перебійнисъ, съ краснымъ лицомъ, бѣлыми усами и ласковымъ взглядомъ (ему восемдесятъ семь лѣтъ).

На балконѣ стало тѣсно. Дамы взялись подъ руки попарно и начали прохаживаться по полянѣ передъ балкономъ. Молодые люди въ бриляхъ присоединились къ нимъ. Разговорились. Слышался смѣхъ, здоровый, грудной смѣхъ. Катря завистливо смотрѣла на эту пеструю публику и обрадовалась, когда какая-то безцвѣтная дѣвушка предложила и ей пройтись. Онѣ встали, и петербургскій франтъ, говорившій въ это время съ хозяиномъ, замолчалъ на минуту и проводилъ ихъ долгимъ выразительнымъ взглядомъ; послѣ чего опять сталъ бесѣдовать.

На свѣтломъ небѣ уже вздрагивали блѣдныя звѣзды. Было тихо. Летучія мыши описывали черные круги... Гости думали: «поздновато»... и начали скучать. Но появилась хозяйка, и попросила ихъ въ

садъ—чай кушать. Священникъ кашлянулъ въ руку. Всѣ притихли и стѣсненной походкой потянулись за хозяевами.

Огромный столъ, человѣкъ на сорокъ, былъ накрытъ подъ столѣтними липами. Лампы изъ-подъ абажуровъ бросали на бѣлую скатерть круги свѣта. Груды печеній, бутылки съ ромомъ и коньякомъ, варенья въ хрустальныхъ вазахъ, стаканы съ дымящимся чаемъ, сверкающій самоваръ, все это оживило гостей. Громко заговорили, стали шутить и усердно пить и ѣсть.

Петербургскій франтъ сѣлъ подлѣ Катри.

— Что здѣсь за виды! какой восторгъ! сказалъ онъ, заложивъ за щеку кусокъ кренделя, отчего лицо его перекосилось.

Катря подняла глаза. Передъ нею, за рѣдкими стволами высокихъ липъ, разстилалась сѣролиловая даль, гдѣ тамъ и сямъ мелькали огни.

— Да,—сказала она неопредѣленно.

— Украйна! Украйна! произнесъ франтъ, и проглотилъ свой крендель.

— Вы любите Украйну?

— О, чудная страна! вскричалъ франтъ.

Катрѣ онъ не понравился. Но Володя, сидѣвшій напротивъ, ревниво — казалось ей — глядѣлъ на нее своими впалыми, искрящимися глазами. Тогда въ ней что-то вспыхнуло, и ей захотѣлось наказать Володю, который цѣлый вечеръ мучилъ ее. Она повернулась къ франту и стала весело болтать съ нимъ.

Чай подходилъ къ концу. О. Митрофанъ подозвалъ сыновей и, рѣшительно взглянувъ на хозяина, страстнаго любителя пѣнія, произнесъ:

– А нуте, хлопцы!

— Пускай-же дѣти покушаютъ сначала! вскричала хозяйка.

Дѣти съ тоскливой улыбкой посмотрѣли на отца.

— Нуте, нуте! строго сказалъ священникъ.

Опрокинувъ въ ротъ остатки пунша, онъ всталъ, кашлянулъ и провелъ по воздуху рукой.

Юноши подняли подбородки, нахмурили брови, и началось пѣніе.

Чай отпили, всѣмъ захотѣлось пѣть. Вокругъ священника образовался хоръ. Къ хору постепенно пристали даже старики. Перебійнисъ подтягивалъ хриплой октавой. Молодые люди въ бриляхъ стали пѣть, сдѣлавъ серьезныя лица. Наконецъ, Долонины заглушили хоръ.

И Тычина подпѣвалъ. Катря, уходя подъ руку съ петербургскимъ франтомъ, видѣла, какъ Володя покачивался всѣмъ тѣломъ и басилъ, устремивъ въ одну точку глаза. Такое внезапное увлеченіе пѣніемъ разсердило Катрю больше, чѣмъ предполагаемая ревность Володи къ ея кавалеру. «Да онъ не обращаетъ на меня вниманія!» подумала она съ серцемъ.

Быстро темнѣло. Надъ головой небо казалось чернымъ. Деревья были слабо освѣщены снизу, въ двухъ шагахъ отъ стола начинался почти непроглядный сумракъ. Но луна взошла. Ея блѣдные лучи робко скользили по спокойной листвѣ сада, по травѣ. Чѣмъ дальше, тѣмъ все ярче и таинственнѣе блестѣлъ этотъ свѣтъ, и тѣмъ неспокойнѣе становилась Катря.

— Пойдемъ назадъ! сказала она рѣзко, замѣтивъ, что кавалеръ черезчуръ жметъ ей руку.

Онъ молча глянулъ Катрѣ въ глаза съ мольбой.

Она расхохоталась.

— Ну, сядемъ здѣсь.

Они сѣли надъ обрывомъ; виднѣлась голубая даль, залитая серебрянымъ туманомъ лунной ночи. На днѣ обрыва сплошь блестѣли круглые листья табака. Казалось, тамъ озеро.

— У меня голова кружится отъ этой ночи! проговорилъ франтъ, съ упоеніемъ глядя на табакъ, и сталъ небрежно подтягивать хору, который доносился сюда, гремя среди ночнаго молчанія, а рука его, какъ бы нечаянно, коснулась Катриной таліи.

Катря вскочила. Сердце у ней тревожно забилось. Она пошла быстрой походкой, не сказавъ ни слова, и скрылась за деревьями. Франтъ оробѣлъ и долго сидѣлъ на скамейкѣ съ широко раскрытыми глазами.

Хоръ внезапно смолкъ. Четыре костра освѣтили деревья. Трепетный свѣтъ упалъ на Катрю. Володя чернымъ силуэтомъ выдѣлился на яркомъ фонѣ огня. Она, слегка жмурясь, подошла къ Володѣ.

— Послушай,—сказала она ласково, въ полголоса.

Онъ оглянулся и взялъ ее за руку.

— Что тебѣ?

Катря почувствовала, что нечего сказать ему.

— Ничего,—произнесла она съ улыбкой и стала обмахивать увядшимъ букетомъ пылающее лицо: — Не правда ли, онъ ужасно глупъ? сказала она вдругъ, послѣ молчанія.

— Кто?

Но она опять не отвѣтила и направилась къ группѣ дамъ, полулежавшихъ на коврѣ, въ живописныхъ позахъ, и смотрѣвшихъ на огонь. Другія дамы стояли поодаль. Мужчины разговаривали въ полголоса. Прозрачныя тѣни перемежались съ полосами луннаго свѣта и вздрагивающимъ отблескомъ костровъ. Фигуры на заднемъ

планѣ то освѣщались, то погружались въ неясный сумракъ. Катря искала, гдѣ бы сѣсть поудобнѣе. Но коверъ былъ занятъ. Она глянула направо, быть можетъ, потому, что всѣ туда посматривали. Тамъ, на садовомъ диванчикѣ, окруженный пожилыми дворянами, сидѣлъ графъ Парпура, держа въ рукахъ свою панаму. У Катри сперлось дыханіе. Она стала курить, сильно затягиваясь.

Графъ увидѣлъ Катрю. Онъ улыбнулся, вспомнивъ сцену въ вагонѣ, и черезъ нѣкоторое время, отдѣлавшись отъ скучныхъ разговоровъ съ пожилыми дворянами, попросилъ хозяина познакомить его съ Тычиной.

— Мы давно знаемъ другъ друга, если не ошибаюсь, а между тѣмъ не встрѣчались до сихъ поръ,—сказалъ графъ дружески.

— Мы сосѣди... Оченъ радъ, что, наконецъ... въ свою очередь... пробормоталъ Тычина.

— Слыхалъ, вы образцовый хозяинъ,—продолжалъ графъ:—Такое сосѣдство особенно пріятно... Машинами?

— Машинами.

— У меня также. Впрочемъ, Пьерро—Александръ Александровичъ, мой управляющій — находитъ, что иногда можно обойтись и безъ машинъ.

— Въ нашихъ мѣстахъ—да,—скромно согласился Тычина. — Мужики портятъ... Ну, а поправить некому... Я, однако, такого мнѣнія,—продолжалъ Тычина, у котораго съ недавняго времени на хозяйство установился свой особый взглядъ:—до тѣхъ поръ помѣщики будутъ страдать, пока земли у нихъ будетъ много...

— Да?

— Честное слово... Я объ этомъ и вашему Пьерро говорилъ... Я его знаю.

— Какое-же по-вашему должно быть нормальное количество земли у нашего брата? спросилъ графъ.

— Прежде, когда у меня было шестьсотъ десятинъ,—отвѣчалъ Тычина:— я думалъ, что для раціональнаго хозяйства надо имѣть только двѣсти. Теперь же я пришелъ къ убѣжденію, что достаточно тридцати... Однимъ словомъ,—заключилъ

онъ, давно уже лелѣя въ душѣ намѣреніе продать «лишнія» десятины: — дѣло не въ землѣ.

Разговоръ продолжался въ такомъ-же родѣ. Графъ не могъ согласиться со многими хозяйственными воззрѣніями Тычины; но не могъ и не признать, что они, во всякомъ случаѣ, своеобразны. Тычина былъ польщенъ, ему понравился графъ.

Но въ то-же время неясное предчувствіе зла, которое сдѣлаетъ ему этотъ человѣкъ, заставляло Тычину быть настороже. Съ какой стати этотъ знатный баринъ такъ вѣжливъ и предупредителенъ съ нимъ?

Катря могла-бы дать Володѣ опредѣленный отвѣтъ. Какъ только она увидѣла, что графъ бесѣдуетъ съ Володей, у ней сложилось сейчасъ-же убѣжденіе, что это ради нея. Она сдѣлала нѣсколько шаговъ назадъ, въ глубину, и подъ прикрытіемъ сумрака, подошла близко къ бесѣдующимъ. Она готова была расцѣловать Володю за то, что онъ такъ милъ съ графомъ...

Между-тѣмъ хозяйка, улучивъ удобную

минуту, представила графа нѣкоторымъ дамамъ и кстати—Катрѣ, которую назвала *супругой* Владиміра Ильича. (Женой никто не называлъ ее, даже самъ Владиміръ Ильичъ). Графъ еще вскорѣ послѣ встрѣчи въ вагонѣ узналъ, кто эта дѣвушка. Теперь онъ изысканно вѣжливо раскланялся съ нею и сказалъ ей нѣсколько фразъ — незначительныхъ. Но ей почудился въ нихъ намекъ на что-то. Она вся вспыхнула. Яркій свѣтъ костра игралъ на ея смущенномъ лицѣ, и блескъ глазъ спорилъ съ блескомъ брилліантовъ въ ея ушахъ. «Въ самомъ дѣлѣ, она не дурна», подумалъ графъ.

Онъ уѣхалъ передъ ужиномъ. Хозяева напрасно удерживали его: сегодня онъ самъ ждетъ гостей изъ Петербурга. Но когда графъ сѣлъ въ экипажъ и исчезъ, Чапліевскіе вздохнули съ облегченіемъ. Съ этими знатными барами всегда лишнія хлопоты!

Гости тоже почувствовали себя свободнѣе. О. Митрофанъ, посматривая на столъ, гдѣ шли приготовленія къ ужину, потиралъ руки. Дамы непринужденно стали хо-

дить. Опять раздался смѣхъ, веселый говоръ. Мужчины заспорили. Слышались восклицанія: «Увѣряю-же васъ...» «Да и я васъ увѣряю...» Предметъ спора — состояніе графа. Всѣ, за исключеніемъ двухъ-трехъ скептиковъ, преувеличивали. Каждому почему-то хотѣлось, чтобъ у Парпуры было не двѣсти тысячъ дохода, а триста, пятьсотъ, или, наконецъ, милліонъ. Катря вслушалась въ споръ, и рука ея, крѣпко пожатая на прощанье графомъ. горѣла, какъ отъ прикосновенія этого милліона.

За ужиномъ снова начали говорить о графѣ, объ его обстановкѣ, лошадяхъ, о томъ, что онъ разгибаетъ подковы; объ его вкусахъ—онъ, напримѣръ, пьетъ чай безъ сахара: сообщали также, что графъ «не любитъ лести». Эти независимые, болѣе или менѣе богатые люди относились къ Парпурѣ съ подобострастіемъ и интересовались мельчайшими подробностями его жизни, точно онъ былъ великій человѣкъ.

Впрочемъ, молодежь, за исключеніемъ

Катри, вскорѣ перестала обращать вниманіе на разсказы о графѣ и затѣяла свой разговоръ. Къ концу ужина, когда захлопали пробки, и новые костры вспыхнули въ разныхъ мѣстахъ парка, всѣмъ сдѣлалось необыкновенно весело. Лица раскраснѣлись, глаза горѣли, плечи тряслись отъ смѣха. Даже петербургскій франтъ, который напился до того, что сдѣлался блѣденъ и никого не узнавалъ, не испортилъ веселья. Правда, онъ началъ бросать во всѣхъ хлѣбными шариками, и многимъ это показалось, по меньшей мѣрѣ, страннымъ и неимѣющимъ ничего общаго съ утонченнымъ обращеніемъ, какимъ, по мнѣнію провинціаловъ, отличаются столичные жители. Но хозяинъ во-время потушилъ скандалъ, незамѣтно убравъ непріятнаго гостя. Пиръ продолжался безпрепятственно.

Послѣ ужина перешли въ ярко освѣщенный домъ. Стали танцовать подъ звуки фортепьяно, но танцовали недолго. Было уже поздно. Хозяинъ раза два вѣжливо зѣвнулъ. Постепенно гости разъѣзжались...

Володя и Катря, очутившись въ своемъ фаэтонѣ, долго молчали. Разсвѣло. Заря зажигалась и бросала на лицо молодой женщины розовый свѣтъ. Вѣтерокъ игралъ ея волосами. Она полулежала. Володя смотрѣлъ, смотрѣлъ на Катрю, и ему захотѣлось поцѣловать ее. Она отвернулась.

— Вѣчно одно и то-же! сказала она брезгливо.

Онъ промолчалъ, сконфуженный; но вскорѣ схватилъ ее за руку и притянулъ къ себѣ.

— Катря! прошепталъ онъ, улыбаясь.

Она пожала плечами и посмотрѣла на него. У ней были равнодушные глаза. Онъ испугался, сердце его тоскливо заныло. Тычинѣ впервые ясно представилось, что Катря не любитъ его. Онъ выпустилъ ея руку... Солнце блеснуло и освѣтило лицо Катри.

— Графъ пригласилъ тебя? вдругъ ласково освѣдомилась она.

— Пригласилъ... «Запросто...» Да чего мнѣ къ нему? Я не поѣду...

— Володя, неловко!

Володя подумалъ и рѣшительно произнесъ:
— Мы ему не пара.
Катря сжала губы.
— Какъ знаешь,—сказала она холодно.

VI

Черезъ нѣсколько дней, вечеромъ, когда Катря и Володя собрались пить чай въ бесѣдкѣ, послышался на дворѣ лай собакъ; кто-то пріѣхалъ. Тычина не любилъ гостей. Онъ пытливо посмотрѣлъ на дорожку, терявшуюся въ кустахъ барбариса и крыжовника. Катря окинула быстрымъ взглядомъ свой туалетъ—нашла, что онъ недуренъ, простъ и къ лицу—и нетерпѣливый вздохъ вырвался изъ ея груди. «Что, если Парпура?—Самъ... первый...»

Лай приближался. Володя пошелъ разогнать собакъ. Тѣ стихли, и онъ вернулся въ сопровожденіи высокаго, полнаго, красиво улыбающагося старика въ мягкой войлочной шляпѣ, съ длинными волосами и большой бородой. Старикъ держалъ

въ рукѣ толстый хлыстъ. Шелъ онъ, слегка повернувшись бокомъ къ Тычинѣ. Въ его фигурѣ было что-то щеголеватое, подкупающее; каріе глаза его умѣли смотрѣть, въ одно и то же время, насмѣшливо и угодливо. Онъ говорилъ съ Тычиной, и слышалась бѣглая русская рѣчь, съ страннымъ, какъ-бы московскимъ говоромъ. Въ этомъ полумосквичѣ, полуфранцузѣ Катря узнала Пьерро, графскаго управляющаго, хоть раньше не была знакома съ нимъ. Она разочаровалась, и едва протянула ему руку, когда онъ вошелъ въ бесѣдку, и его представилъ Володя.

Катря налила Пьерро самаго отвратительнаго чаю, какого и Володѣ не наливала—хозяйка она была плохая. Но вѣжливый старикъ выпилъ съ удовольствіемъ и еще попросилъ. Онъ весело болталъ, и между прочимъ сказалъ Тычинѣ, что явился по дѣлу — по порученію графа—о чемъ, конечно, успѣетъ поговорить. Катря сдѣлалась любезна; взглядъ, брошенный на нее Пьерро, пріятно испугалъ ее...

— Что такое? промолвила она.

— Сухое дѣло, хозяйственное! отвѣчалъ Пьерро съ улыбкой, загадочно подмигнувъ Володѣ.

Тотъ спросилъ:

— Какое дѣло?

Пьерро досталъ сигару, медленно обрѣзалъ ее, посмотрѣлъ вдаль, гдѣ въ золотисто-розовомъ туманѣ расплывались силуэты деревьевъ, и сказалъ:

— Въ той рукѣ у васъ, кажется, сто десятинъ?

— Да.

Пьерро закурилъ сигару и ударилъ Тычину по колѣнкѣ.

— Цѣна? побѣдоносно спросилъ онъ, не вынимая изо-рта сигары.

Тычина покраснѣлъ и растерялся.

— Графъ хотятъ купить?

— «Хотятъ», — весело сказалъ управляющій: — Цѣна?

Тычина пожалъ плечами.

— Мнѣ, признаться, жаль того куска, — произнесъ онъ съ грустью.

— Какъ? воскликнулъ гость: — А ваша теорія тридцати десятинъ?

— Оно такъ...—сказалъ Тычина:—Но все-таки...—Онъ напряженно улыбнулся и заключилъ:—какъ-то жалко!

Пьерро посмотрѣлъ на него и замолчалъ. Онъ выпустилъ струйку дыма и перемѣнилъ разговоръ: съ увлеченіемъ началъ разсказывать о затѣяхъ графа. Если графу придетъ что̀ въ голову — то ужъ онъ на своемъ поставитъ (выразительный взглядъ въ сторону Катри). Сегодня ему̀ пришла идея насыпать за паркомъ гору или даже горную цѣпь—подобіе Кавказа— и завтра начнутъ насыпать; придется выбросить тысячъ пятьдесятъ; но что̀ для него пятьдесятъ тысячъ? (Тычина вздыхаетъ, задумчиво перебирая пальцами). Можетъ быть, извѣстно, во сколько обошлось ему *написать* лѣсами, на протяженіи многихъ верстъ: «графъ Иванъ Парпура»? Болѣе двухъ сотъ тысячъ!... («Нелѣпо», въ полголоса замѣчаетъ Тычина). Нелѣпо? Да. Но грандіозно-съ...

Пьерро еще нѣкоторое время говоритъ о графѣ. У Катри разгораются глаза. Тычина погружается все въ бо̀льшую задум-

чивость... Потомъ гость вскакиваетъ и, взглянувъ на часы и на меркнущее небо, прощается.

— До пріятнаго свиданія! говоритъ онъ съ озабоченнымъ видомъ.

Катря и Тычина проводили его.

— Не забывайте!

— Всегда вашъ гость! произноситъ въ отвѣтъ Пьерро, сидя въ своемъ красивомъ экипажѣ, съ высокими и тонкими колесами, и низко кланяется.

За ужиномъ Володя весело сказалъ:

— А что, Катря, если-бъ за десятину по двѣсти рублей, съ переводомъ долга, то поправили-бъ мы дѣла?

Катря кивнула головой. Мысли ея были далеко.

Пьерро снова пріѣхалъ дня черезъ три. Можно было замѣтить, что вопросъ о землѣ сильно занимаетъ его. Но теперь онъ первымъ не хотѣлъ приступать къ нему. Для Тычины это было ясно; хитрый французъ *выжидаетъ*. Но Тычина вознамѣрился перехитрить француза и рѣшилъ тоже молчать. Если графу очень

хочется купить этотъ кусокъ земли, то прямой разсчетъ—самому принять выжидательное положеніе. Такимъ образомъ, Пьерро провелъ у нихъ опять вечеръ и уѣхалъ, повидимому, ни съ чѣмъ.

Было еще нѣсколько такихъ вечеровъ. Пьерро лукаво посматривалъ на хозяина, а хозяинъ думалъ: «ладно, ладно!» и, почесывая затылокъ, хитро улыбался. Дѣло не подвигалось.

Катря краснѣла каждый разъ, какъ являлся Пьерро. Онъ сталъ бесѣдовать съ ней на французскомъ языкѣ. Говорила она плохо, но онъ похвалилъ ея произношеніе, и она обрадовалась практикѣ. Тычина не понималъ по-французски, и французскій языкъ, по временамъ, сильно безпокоилъ его. Однажды Катря, послѣ какой-то фразы Пьерро, нахмурилась и сердито замолчала. Въ другой разъ ушла съ сверкающими отъ слезъ глазами. И хоть тотчасъ-же вернулась и стала смѣяться, но Тычина встревожился: смѣхъ былъ нервный.

— Что со тобою? спросилъ онъ.

— Ничего! сказала она, продолжая

смѣяться. — Володя, прости меня! вскричала она, вдругъ:—Виноватъ Александръ Александровичъ...

Пьерро смутился.

— Ты думаешь, о чемъ мы съ нимъ говоримъ? продолжала Катря:—Да все о томъ, какъ-бы тебя...

Она остановилась, приложила платокъ къ поблѣднѣвшему лицу; подбѣжала къ Володѣ, взяла его за руку и сказала:

— Знаешь, пора съ этимъ покончить!..

Володя взглянулъ на Катрю съ недоумѣніемъ. Глаза ея блестѣли.

— Съ чѣмъ пора?..

Но она не сейчасъ отвѣтила.

— Господи, какіе я пустяки болтаю! произнесла она и, сѣвъ на прежнее мѣсто, стала курить.—Надо покончить съ этимъ вашимъ дѣломъ...

Пьерро почувствовалъ себя лучше. Володя проговорилъ:

— А! ну, это, мой другъ, касается меня. Напрасно они тебя сюда путаютъ...

Онъ вѣжливо усмѣхнулся въ сторону Пьерро.

— Не бойся, не продамъ дешево! сказалъ онъ Катрѣ внушительно.

Пьерро, какъ и въ тотъ разъ, ударилъ его по колѣнкѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ, батенька, что-же вы—какъ рѣшили?

Хитрый Тычина отвѣчалъ, потупившись, что еще никакъ не рѣшилъ.

По отъѣздѣ гостя, онъ напустился на Катрю за вмѣшательство не въ свое дѣло. И первый разъ въ жизни она возражала ему ласково.

— Ты повредила мнѣ,—кричалъ онъ:—я этого не даромъ боялся!...

— Тише, милый! говорила она, стараясь обнять его:—честное слово, я ничего... Все равно, они дадутъ тебѣ—что запросишь...

Она такъ крѣпко и жарко цѣловала его, что онъ пересталъ, наконецъ, сердиться.

VII

Конецъ іюля. Рано всталъ Тычина и, пощелкивая пальцами, ходилъ по залѣ.

Онъ ждалъ Катрю къ завтраку и хотѣлъ ей предложить ѣхать вмѣстѣ въ городъ. Дѣло съ Пьерро уладилось, и сегодня у нотаріуса назначено свиданіе для составленія крѣпостнаго акта. «Катря будетъ рада получить на булавки сотнюдругую», думалъ Тычина.

Завтракъ простылъ, Катря не выходила. Тычина тревожно посмотрѣлъ на часы и пошелъ на Катрину половину. Онъ разбудилъ Катрю, и она, сверхъ обыкновенія, не разсердилась: открыла глаза, жмурясь на полосу золотого свѣта, падавшую изъ полуотворенной двери, и какъ-то испуганно улыбнулась. Володя присѣлъ на постель и объяснилъ, зачѣмъ пришелъ. Но Катря покачала головой.

— Нѣтъ, не поѣду.

— А тебѣ покупки надо? сказалъ онъ.

— Въ Кіевѣ куплю. Въ Кіевъ поѣду.

Онъ помолчалъ.

— Уходи, мнѣ спать еще хочется, — произнесла она и повернулась къ нему спиной.

Онъ обнялъ ее.

— Перепёлочка!..

— Ахъ, оставь!

Въ ея голосѣ задрожали слезы.

— Завтракъ простылъ, — сказалъ онъ.

— Ну, и отлично. Ни свѣтъ, ни заря завтракъ! Поѣзжай, а то опоздаешь.

— Какая у тебя тоненькая талія, Катря! замѣтилъ Володя.

Отвѣта не послѣдовало.

Онъ вздохнулъ, робко поцѣловалъ ее въ плечо и вышелъ.

Возвратился Тычина изъ города поздно, съ сакъ-вояжемъ, туго набитымъ бумажками. Погода перемѣнилась, дождь лилъ весь вечеръ, и Тычина промокъ. Несмотря на то, что съ нимъ было много денегъ. онъ пріѣхалъ не въ духѣ. Широко шагалъ онъ по залѣ и ругалъ погоду, въ ожиданіи рюмки водки и ужина.

— А барыня? спросилъ онъ у горничной, когда та вошла.

— Катерина Ефимовна уѣхали,—отвѣчала горничная.

Тычина остановился, ошеломленный.

— Какъ? Куда?

— Въ Кіевъ, чи що...

— А!

Онъ опять зашагалъ.

— Не утерпѣла! говорилъ онъ въ полголоса.—И на какія деньги? Что за женщина!..

Онъ пожималъ плечами, смотрѣлъ въ черныя окна и хмурилъ брови; но поѣлъ съ аппетитомъ, и такъ-какъ усталъ, то отправился спать. Засыпая, онъ думалъ сначала о Катрѣ и тосковалъ; а послѣ мысли его сосредоточились на томъ, какъ онъ перехитрилъ француза. Ему приснилось имѣніе, которое онъ будто-бы самъ покупаетъ. Сумракъ, однако, мѣшаетъ ему хорошенько осмотрѣть имѣніе. Но онъ видитъ, что на поляхъ растутъ цвѣты, точно въ саду, и дѣйствуютъ огромныя машины, стальныя части которыхъ тускло сверкаютъ. Тычина удивляется глупости Пьерро и радъ, что у него будетъ такое имѣніе; однако ему и страшно чего-то. И онъ идетъ, озираясь по сторонамъ, а машины мѣрно шумятъ среди этого страннаго сумрака...

Онъ проснулся, сѣрый дождь билъ въ окно. День начался. Тычина всталъ и подошелъ къ письменному столу.

«Цѣлы-ли деньги?» подумалъ онъ.

Деньги цѣлы. Онъ уложилъ ихъ обратно въ сакъ-вояжъ, и, почесывая голову, сталъ смотрѣть на дождь.

— Въ этакую погоду! вскричалъ онъ, вспомнивъ, что Катря уѣхала:—пожалуй, калошъ не взяла, плаща, зонтика!

Онъ побѣжалъ въ Катрины комнаты.

Тамъ все было въ порядкѣ. Но въ неплотно притворенное окно врывалась струйка холода вмѣстѣ съ запахомъ яблокъ, и—странно — чѣмъ-то нежилымъ уже вѣяло отъ этой щегольской спальни. Въ задней комнатѣ Тычина наткнулся на пустой чемоданъ. Непромокаемое пальто висѣло на гвоздикѣ, въ углу стояли зонтики...

— Конечно, не взяла! вскричалъ Тычина и яростно потрясъ пальто.

Оказалось, что и калошъ не взяла. Онъ чуть не плакалъ: Катря простудится, заболѣетъ! Самыя печальныя картины рисовались его воображенію. Онъ ло-

малъ руки и, вернувшись въ спальню, тупо глядѣлъ на вещицы, украшавшія модный письменный столикъ Катри. Постепенно на малиновомъ суконѣ, которое казалось полинялымъ при свѣтѣ дождливаго дня, вниманіе его стало различать какой-то маленькій плоскій предметъ. То былъ розовый конвертъ. У Тычины болѣзненно забилось сердце. Конвертъ запечатанъ, въ немъ письмо, только не стоитъ адреса. Но Тычина былъ увѣренъ, что письмо къ нему, и очень важное, которымъ рѣшается его судьба. Сдѣлавъ надъ собою усиліе, онъ вскрылъ письмо и прочиталъ:

«Милостивый Государь!

(Строчка эта была зачеркнута, но тонко, такъ-что можно разобрать).

«Милый Володя!

«Я уѣзжаю въ Кіевъ, закупить кое-что, какъ я тебя и предупреждала. У меня еще оставалось денегъ, и хватитъ на все. Но, ради Бога, не сердись. Ты знаешь, я люблю одна ѣздить, а то ты всегда во все вмѣшиваешься и не даешь ничего купить.

Я пріѣду послѣ-завтра, съ ночнымъ поѣздомъ, но ты не безпокойся. Пожалуйста, Володя, не сердись-же, и я увѣряю, что такъ лучше выйдетъ. Катря».

Тычина шумно вздохнулъ. Ему стыдно сдѣлалось своего страха... Напѣвая, онъ ушелъ къ себѣ, и цѣлый день провелъ на отохѣ, весело гоняясь, верхомъ, со сворой борзыхъ, за мокрыми дрофами. Онъ забылъ о томъ, что Катря не взяла ничего отъ дождя, и пересталъ бояться, что она простудится, какъ только пересталъ бояться другой опасности, неопредѣленной, но казавшейся ему болѣе грозной.

На другой день онъ снова охотился; ужъ не такъ весело. Дождь усилился и сталъ лить, какъ изъ ведра—тутъ никакая охота невозможна. Онъ торопливо вернулся домой, наскоро пообѣдалъ и приказалъ кучеру готовиться ѣхать на станцію. Кучеръ взглянулъ на дождь, потупился и подумалъ, что развѣ къ вечеру погода перемѣнится. Но не успѣлъ онъ раскрыть рта, чтобъ высказать это предположеніе, какъ баринъ уже набросился на

него, трясясь отъ гнѣва, совершенно, повидимому, безпричиннаго.

— Не разсуждать! Убью!

Оставшись одинъ, Тычина поколотилъ собаку, прилегшую было у его ногъ. Чтобъ успокоить себя, онъ вынулъ изъ бокового кармана письмо Катри и перечиталъ его. Онъ долго насвистывалъ, барабаня по окну, по которому, съ другой стороны хлесталъ холодный ливень. По мѣрѣ того, какъ наступали сумерки — блѣдныя сумерки дождливаго вечера, почти недающія тѣней — непонятная тоска начинала грызть его...

Вошелъ кучеръ, на этотъ разъ безъ зова, и съ торжествомъ сказалъ:

— Нельзя ѣхать.

— Какъ нельзя? закричалъ Тычина.

— Да такъ, что нельзя. Греблю размываетъ. Вотъ что! Верхомъ еще такъ-сякъ—проѣдете, Богъ дастъ, а на колесахъ, парою?!

Онъ отчаянно махнулъ рукой.

— Да и погода,—заключилъ онъ:—добрый хозяинъ собаки не выгонитъ...

Тутъ онъ кстати увернулся отъ Тычины, который, стиснувъ зубы, бросился къ нему съ кулакомъ, и уже изъ-за дверей крикнулъ:

— Ваша воля, а ѣхать не можно... Никто теперь не поѣдетъ... И Катерина Ефимовна не поѣдутъ со станціи...

Послѣ чего надолго исчезъ.

Тычина отправился на станцію верхомъ, велѣвъ кучеру пріѣхать утромъ. Въ самомъ дѣлѣ, Катрѣ будетъ безопаснѣе провести ночь на станціи, въ дамской комнатѣ, и Тычина надѣялся, что найдется тамъ мѣстечко и для него.

Онъ явился на станцію часа за два до поѣзда, измученный и промокшій до костей. Чернѣла ночь, ливень все не умолкалъ.

Тычина сѣлъ въ общей залѣ. Полупритушенная лампа чадила, на стѣнахъ бѣлѣли объявленія. Онъ глядѣлъ на нихъ и думалъ о томъ, какъ пріѣдетъ Катря и какъ онъ встрѣтитъ ее.

Онъ считалъ минуты. Надоѣло сидѣть, онъ сталъ ходить. Дамская комната ока-

залась запертой. «Кто тамъ?» подумалъ онъ съ тревогой. Изъ темнаго угла, гдѣ стоялъ диванъ, торчали чьи-то ноги— одна въ сапогѣ, другая — въ носкѣ. «А это кто?» И такъ-какъ въ отвѣтъ слышались только шумъ дождя за стѣной и, по временамъ, храпѣнье незнакомца, то и эта неподающаяся дверь, и эти ноги стали раздражать Тычину. Въ особенности, ненавистны были ноги...

Онъ вышелъ на платформу, въ которой уныло отражались огни фонарей. Дождь гремѣлъ. Тычина захлопнулъ дверь и вернулся въ залу. «Надо-жъ было выбрать время!» злобно шепталъ онъ, ругая Катрю.

Часы пробили двѣнадцать. Черезъ десять минутъ долженъ прійти поѣздъ. Но на станціи ни малѣйшаго движенія. «Разбудить кого, что-ли?»

Лишь въ половинѣ перваго мало-по-малу проснулась станція. Стало свѣтлѣе, кассу открыли, помощникъ, въ цвѣтной шапкѣ съ галунами, торопливо прошелъ по залѣ.

Публики почти не было. Изъ дамской вышли два дюжихъ великорусскихъ му-

жика, въ розовыхъ сорочкахъ и кафтанахъ на распашку, босые, и, справившись, какой будетъ поѣздъ, зѣвнули, почесались и снова ушли въ дамскую.

— Я ихъ потомъ уберу,—сказалъ помощникъ вспылившему Тычинѣ:—не безпокойтесь.

За стойкой, буфетчикъ съ заспанной физіономіей раскладывалъ свой товаръ. Звонокъ рѣзко билъ. Господинъ *съ ногами* вскочилъ и хриплымъ голосомъ потребовалъ рюмку водки. Черезъ нѣкоторое время, ему показалось, что у него пропалъ сапогъ.

— Грабятъ!—закричалъ онъ неистово.

— Вы что здѣсь буйствуете?

— Грабятъ!

— Господинъ?!

— Граб...

Жандармъ взялъ его за плечо.

— Вотъ вашъ сапогъ...

«Господинъ», увидѣвъ жандарма, забился въ уголъ. Помолчавъ, онъ съ укоризной началъ, криво натягивая сапогъ:

— Украйна! Украйна!

И обратившись къ Тычинѣ, воскликнулъ сонно:

— Милосстивый госсударь!..

Тычина вдрогнулъ. Онъ узналъ петербургскаго франта. Этотъ пьяный окрикъ странно прозвучалъ для его слуха: ему вспомнилась строчка, зачеркнутая въ началѣ письма Катри... Иногда снится, что слышишь какое-нибудь пустое слово, которое внезапно покажется полнымъ грознаго смысла... То же самое случилось теперь съ Тычиной наяву.

Онъ поблѣднѣлъ и подошелъ къ петербургскому франту; но тотъ уже спалъ, и изъ угла попрежнему торчали только его ноги. Тычина круто повернулся на каблукахъ и сталъ шагать съ мрачной сосредоточенностью.

Часъ.

— Чортъ! Послушайте, однако, что-же поѣздъ?

Помощникъ разводитъ руками.

— Давно уже вышелъ... скоро изъ Блискавокъ придетъ... Видите, какая погода!

И хотя до сихъ поръ поѣзда ходили

неаккуратно во всякую погоду, тѣмъ не менѣе, прислушиваясь къ реву ливня, помощникъ дѣлаетъ озабоченное лицо.

— Терпѣніе! —произноситъ онъ и исчезаетъ.

Буфетчикъ, зѣвая, креститъ ротъ. Слышно, какъ онъ въ полголоса говоритъ:

— Несчастіе, чего добраго, случилось...

Тычина подходитъ къ буфетчику.

— Несчастіе?

Лицо у него блѣдное, измученное, глаза горятъ.

— Все отъ Бога..

— Что, братъ, зря болтаешь! гремитъ жандармъ, краснѣя, какъ индюкъ:— «Отъ Бога!» Дуракъ! Извините, ваше благородіе! вѣжливо говоритъ онъ Тычинѣ и дѣлаетъ подъ козырекъ. — Все обстоитъ благополучно!

Появляется начальникъ станціи—въ толстомъ пальто и форменной шапкѣ. Тычина—къ нему.

— Несчастіе?

*

— Звонокъ! строго кричитъ начальникъ служителю.—Поѣздъ подходитъ,—говоритъ онъ съ неудовольствіемъ:—Развѣ не слышите?

Онъ поднимаетъ палецъ. Всѣ прислушиваются. Земля начинаетъ мѣрно дрожать. Вдали раздается хриплый свистокъ паровоза...

Поѣздъ пришелъ. Окна маленькими свѣтлыми четыреугольниками смотрятъ изъ темноты. Тычина бросается на платформу, пробѣгаетъ по вагонамъ, будитъ пассажировъ... Катри нѣтъ!

. . . . . .

«Несчастія» не случилось; однако, ему показалось, что отсутствіе Катри и есть самое большое несчастіе, и что именно этого онъ опасался. Онъ не подумалъ, что погода могла задержать ее въ Кіевѣ, болѣзнь, мало-ли что. Онъ сразу рѣшилъ—«Катря обманула». Но не вышелъ изъ себя, не сталъ проклинать. Только чувство огромной пустоты овладѣло имъ. Подождавъ до разсвѣта, пока не стихъ, наконецъ, дождь, онъ разыскалъ Полков-

ника, подтянулъ ремень у сѣдла и молча поскакалъ домой.

Катря, дѣйствительно, не вернулась—никогда.

Мартъ 1883.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

М. Н. Ясинской

I

Въ городъ въѣхала *балагула* вечеромъ, въ осеннюю ненастную погоду. Лошади выбивались изъ силъ. Жидъ громко кричалъ, и грязь, освѣщаемая керосиновыми фонарями, уныло чмокала подъ копытами. Полотно балагулы намокло, изъ глубины ея слышался плачъ ребенка, сопровождаемый болѣзненнымъ кашлемъ.

Пассажировъ было много. По пути, они по одному выскакивали изъ неуклюжаго экипажа и исчезали въ темнотѣ. У нихъ были свои дома въ городѣ или квартиры; балагула мало по малу опустѣла. Когда

она остановилась возлѣ «Парижской гостиницы», въ балагулѣ сидѣли только двое: женщина съ ребенкомъ и длинный, худощавый мужчина.

Изъ узенькаго входнаго корридора падалъ на улицу яркій лучъ свѣта, отражаемаго зеркальнымъ рефлекторомъ лампы. Свѣтъ обрадовалъ путешественниковъ. Женщина, молчавшая до тѣхъ поръ, стала говорить ребенку: «Сейчасъ, дѣточка, молочка! Оо! Молочка! Не плачь, не плачь!»— и легонько качала его на рукахъ. Мужчина выскочилъ изъ балагулы и вошелъ въ корридоръ, гдѣ былъ встрѣченъ хозяиномъ, смуглымъ, невзрачнымъ человѣкомъ, въ сѣрой парѣ и при часахъ. Повидимому, онъ былъ русскій, но, окинувъ черныя до плечъ кудри незнакомца косымъ взглядомъ, прокричалъ что-то по-еврейски жиду. Изъ темноты послышался отвѣтъ, и, недослушавъ его, невзрачный человѣкъ обратился къ пріѣзжему:

— Надолго?

— Дня на три, на четыре.

— Съ женою и маленькимъ?

— Да, да! Пусть снесутъ вещи!.. Залманъ!

Невзрачный человѣкъ опять прокричалъ что-то по-еврейски. Но отвѣтъ, должно быть, былъ неудовлетворительный, потому что невзрачный человѣкъ нахмурился.

— Вещи ежели есть—снести можно, только у насъ положеніе—деньги за сутки впередъ.

Пріѣзжій привыкъ, очевидно, къ такимъ встрѣчамъ. Онъ осмотрѣлъ номеръ—который находился тутъ же въ корридорѣ, окнами во дворъ—и опустилъ руку въ карманъ своего лѣтняго коротенькаго пальто.

— Денегъ мелкихъ не имѣется, все бумажки,—сказалъ онъ:—и придется у васъ занять, добрѣйшій хозяинъ.

Схвативъ хозяина за носъ, пріѣзжій вытащилъ оттуда, словно изъ портмоне, два двугривенника и гривенникъ.

— Получите,—сказалъ онъ и подалъ деньги съ ловкимъ жестомъ.

Хозяинъ потрогалъ носъ и лѣниво улыбнулся. Посчитавъ деньги и посмотрѣвъ, не фальшивыя ли онѣ, онъ произнесъ:

— Былъ тутъ недавно такой же артистъ. Да у насъ какія дѣла! Безъ хлѣба сидѣлъ, задолжалъ, да съ тѣмъ и уѣхалъ. Не совѣтую я вамъ нашъ городъ.

— Э! Я не особенно нуждаюсь! Марилька! Вылѣзай! Послушайте, хозяинъ... Самоваръ!.. Кувшинъ молока! Чего-нибудь поѣсть! Залманъ! Вещи! Холодновато сегодня... Такъ вы говорите, былъ у васъ? Кто же? А? Профессоръ Жакъ? Ну, это шарлатанъ. У него нѣтъ ловкости рукъ. Онъ все дѣйствуетъ аппаратами. А я рекомендуюсь—докторъ Тиріони. Въ свое время, я получилъ отъ персидскаго шаха орденъ Льва и Солнца! Залманъ, живѣй!

Невзрачный человѣкъ посматривалъ на чернокудраго магика не то съ любопытствомъ, не то съ презрѣніемъ. Онъ встряхивалъ на ладони полученныя отъ него деньги, и его сосредоточенное лицо съ выпуклымъ упрямымъ лбомъ не внушало довѣрія. Магикъ прищурилъ на него одинъ глазъ, хлопнулъ по плечу и сказалъ:

— Однако, поворачивайтесь и вы, хозяинъ. Мы хотимъ ѣсть, и мой мальчикъ

озябъ. Или за все впередъ? Нигдѣ этого не водится! Но вотъ еще полтинникъ, чортъ васъ побери!

Онъ вынулъ кошелекъ и сталъ доставать деньги. Хозяинъ безцеремонно заглянулъ въ кошелекъ. Въ самомъ дѣлѣ, у доктора Тиріони было много бумажекъ. Тогда хозяинъ перемѣнилъ тонъ. Крикнувъ что-то Залману, онъ спряталъ деньги и заговорилъ, съ сладенькой улыбкой:

— Оно правда—городъ нашъ не особенный, а попробуйте. Случалось, что и у насъ наживались. Жакъ на первыхъ порахъ сотню сколотилъ. Вотъ другой пріѣзжалъ—забылъ его фамилію—такъ тотъ въ клубной залѣ за три представленія рублей четыреста собралъ.

Докторъ Тиріони торопливо выслушалъ хозяина и вернулся къ женѣ. Маленькая женщина, съ красивымъ лицомъ, на которомъ тревожно блестѣли большіе глаза, стояла возлѣ балагулы, съ ребенкомъ на рукахъ.

— Иди!—сказалъ ей магикъ.

Молодая женщина взошла по грязи на

крыльцо. Хозяинъ проводилъ ее въ номеръ, гдѣ уже горѣла свѣчка. Залманъ внесъ вслѣдъ затѣмъ двѣ коробки, коверъ и узелъ съ пеленками. То были всѣ вещи доктора Тиріони.

Оставшись одни, супруги вопросительно взглянули другъ на друга.

— Выпутаемся, Марилька!—произнесъ магикъ съ улыбкой.

Молодая женщина печально наклонилась къ ребенку. Мальчикъ былъ худенькій, лѣтъ двухъ. Онъ кашлялъ, капризно протягивалъ руки, и на его горячія щечки упали слезы Марильки.

II

Бумажки, плѣнившія алчнаго хозяина, были простыя цвѣтныя, за исключеніемъ одной рублевой и одной трехрублевой. Поѣдая съ волчьимъ аппетитомъ жидовскую щуку, черную отъ перца, и запивая ее водкой и горячимъ чаемъ, докторъ Тиріони задумчиво посматривалъ на жену,

попвшую молокомъ ребенка, и соображалъ, сколько денегъ понадобится, чтобъ выкупить заложенный въ Бердичевѣ чемоданъ и чтобъ дотащиться до ближайшаго большаго города.

«Чѣмъ я не Казеневъ?—думалъ онъ:—чѣмъ я не Беккеръ, не Германъ? Однакоже, они богачи, а у меня голодная смерть на носу. Надоѣла эта грязь! Вонъ изъ глуши! На просторъ!»

Онъ выпилъ еще рюмку водки.

— Ѣшь, Марилька. А я пойду, разспрошу насчетъ клуба и типографіи... Придется афишу давать.

Онъ всталъ.

— Марилька, отчего ты не пріучишь Сеничку стаканъ держать? Онъ у тебя точно грудной ребенокъ! Я тебѣ, Сенька, задамъ!—крикнулъ онъ и погрозилъ пальцемъ.

Мальчикъ скосилъ на него большіе, какъ у матери, глаза и пересталъ пить молоко.

— Отстаньте, Павелъ Климентычъ,—сказала Марилька.

Магикъ улыбнулся и слегка ущипнулъ мальчугана за щечку. Ребенокъ расплакался.

— Что вы пристали? Развѣ не видите, Сеня боленъ!—крикнула Марилька.

Магикъ нахмурился и отошелъ.

— Ежели боленъ Сеня,—сказалъ онъ:—такъ ты же виновата. Совсѣмъ не бережешь моего кармана! На какія деньги лечить?

Ребенокъ плакалъ и кашлялъ; Марилька, съ сосредоточеннымъ молчаніемъ, качала его на рукахъ, блѣдная и измученная; магикъ ушелъ, хлопнувъ дверью.

Въ общей залѣ, вокругъ билліарда съ изорваннымъ сукномъ, на которое сверху падалъ тусклый свѣтъ керосиновой лампы, сидѣло и стояло нѣсколько человѣкъ. Докторъ Тиріони увидѣлъ хозяина, наблюдавшаго гостей изъ-за стойки съ водками и закусками, и въ синемъ отъ табачнаго дыма сумракѣ разглядѣлъ офицеровъ, вооруженныхъ кіями, какого-то господина въ нанковыхъ брюкахъ и со скучающимъ лицомъ и, наконецъ, молоденькаго поли-

цейскаго надзирателя съ крошечными усиками и съ оскаленными зубами. Полицейскій смотрѣлъ прямо на него, и докторъ Тиріони робко подошелъ къ молодому человѣку.

— Сегодня пріѣхали?—спросилъ полицейскій съ строгой любезностью.

— Полчаса тому назадъ.

— Ваша фамилія?

— Честь имѣю именоваться —докторъ Тиріони.

Молодой человѣкъ не подалъ руки доктору Тиріони. Онъ сдѣлалъ ему знакъ отойти въ сторону и сказалъ съ тою же строгою любезностью:

— Ваши документы?

Магикъ вынулъ изъ боковаго кармана бумаги. Полицейскій пробѣжалъ ихъ.

— Этихъ документовъ недостаточно,— произнесъ онъ.

— Вотъ также свидѣтельство объ отбытіи воинской повинности...

— Недостаточно-съ.

Напрасно магикъ клялся, что вездѣ во всѣхъ городахъ было «достаточно», мо-

лодой человѣкъ возражалъ: «А у насъ недостаточно». И только тогда оказалось «достаточно», когда докторъ Тиріони взялъ полицейскаго подъ руку и вѣжливо предложилъ ему выпить и закусить. Молодой человѣкъ изъявилъ полную готовность. Они выпили и закусили, и молодой человѣкъ, пообѣщавъ завтра же прописать документы, любезно, но уже безъ всякой строгости, указалъ доктору Тиріони, гдѣ находится клубъ и гдѣ типографія—единственная во всемъ городѣ.

Но въ залѣ стало извѣстно о пріѣздѣ магика. Когда онъ уходилъ, офицерикъ въ фуражкѣ на затылкѣ и съ испачканной мѣломъ физіономіей, остановилъ его.

— Послушайте, докторъ... Господа! Угостимъ его въ складчину! Эй! Двѣ шипучаго! Какъ васъ... Тиріони? продѣлайте что-нибудь... Эйнъ, цвейнъ, дрей! Ахъ, пожалуйста!

Его окружили другіе офицеры, какъ разъ окончившіе партію въ «алягеръ». Они брали его за руку и хлопали по плечу.

— Вы меня застали врасплохъ, мило-

стивые государи,—говорилъ магикъ, кланяясь и вѣжливо засучивая рукава.—Попрошу васъ дать мнѣ нѣсколько серебряныхъ монетъ.

Ему дали семь двугривенныхъ. Онъ держалъ ихъ на ладони, чтобъ всѣ видѣли деньги. Потомъ закрылъ ладонь, и когда открылъ ее—денегъ не стало. Такъ какъ всѣ пристально смотрѣли на его руки, остававшіяся неподвижными, то это исчезновеніе показалось изумительнымъ, чуднымъ, и офицеры громко апплодировали.

— Господа!—началъ докторъ Тиріони:— я понимаю, что какъ ни мала исчезнувшая сумма, все же вамъ ее жаль. Поищемъ пропавшихъ денегъ и, можетъ быть, найдемъ ихъ. Тамъ на столѣ, возлѣ почтеннаго хозяина, я замѣчаю на тарелкѣ десятокъ яицъ. Въ которомъ изъ нихъ угодно вамъ, чтобъ очутились монеты?

Офицеры стали говорить: «Въ этомъ!» «Нѣтъ, въ этомъ!» Они подозрѣвали стачку между докторомъ Тиріони и хозяиномъ. Наконецъ, они выбрали яйцо, тщательно осмотрѣли его, и положили, по просьбѣ

магика, на билліардъ. Магикъ еще больше засучилъ рукава, показалъ пустыя руки и, взявъ яйцо, разбилъ. На зеленое сукно посыпалось серебро.

Молодые люди пожимали плечами. Тотъ офицеръ, у котораго лицо было выпачкано мѣломъ, распилъ съ Тиріони бутылку донскаго и просилъ объяснить, какъ онъ дѣлаетъ этотъ фокусъ. Тиріони таинственно увѣрялъ, что все зависитъ отъ ловкости рукъ. Но ему не вѣрили.

Онъ ушелъ поздно въ свой номеръ. Сальная свѣчка догорѣла и чадила. Марилька лежала возлѣ успокоившагося ребенка, хрипло дышавшаго, и спала, закинувъ голову. Докторъ Тиріони наклонился къ ней и поцѣловалъ ее въ плечо.

Потомъ онъ добылъ новую свѣчку и до полночи провозился надъ составленіемъ афиши.

III

Ребенокъ всю ночь стоналъ, по временамъ жалобно кричалъ: «Мама!» и магикъ сквозь сонъ слышалъ, какъ вставала Мари́лька, зажигала огонь и разогрѣвала на спиртовой лампочкѣ молоко. Но магику хотѣлось спать, въ головѣ шумѣло, да и не его было дѣло помогать женѣ ходить за ребенкомъ. Онъ завернулся въ коверъ, потому что въ номерѣ было холодно. Когда магикъ проснулся, мутный день ужъ глядѣлъ въ окно.

Магикъ выпилъ рюмку водки и растолкалъ Марильку, спавшую крѣпкимъ утреннимъ сномъ. Сеничка тоже проснулся. Личико у него было желтое, какъ воскъ, и онъ широко раскрытыми глазами смотрѣлъ на отца. Отецъ съежилъ худыя бритыя щеки, чтобъ занять ребенка, и какъ-то странно кивнулъ своимъ длиннымъ носомъ. Мальчикъ испугался.

Марилька напустилась на мужа; онъ спросилъ съ чувствомъ:

— Развѣ я не отецъ, что мнѣ нельзя подойти къ нему?

— Сеня боится тебя, когда боленъ.— сказала Марилька.

— Пора его отучить отъ этого,—сурово возразилъ магикъ и хотѣлъ взять сына на руки.

Но Марилька не позволила. Еще у ней сонъ не совсѣмъ прошелъ, и она сердилась. Она была въ коротенькой красной юбкѣ; бѣлые, какъ ленъ, волосы распустились по голымъ плечамъ. Она «лѣзла въ глаза», какъ выражался докторъ Тиріони. А такъ какъ онъ этого не любилъ, то, закусивъ губу, ударилъ ее. Марилька стала рыдать, онъ ударилъ ее въ другой разъ. Магикъ добился своего и пронесъ сына по комнатѣ, послѣ чего отдалъ его рыдающей женѣ.

Такъ началось утро доктора Тиріони.

Онъ носилъ на тѣлѣ фуфайку: бѣлье замѣняли ему рукавчики и воротничекъ, которые непосредственно пришивались къ этой одеждѣ. Когда онъ надѣлъ порыжѣлый бархатный пиджакъ, обшитый широкой

*

тесьмой, узкія голубоватыя брюки, ботфорты съ раструбами и бѣлый вязаный шарфикъ, представлявшій счастливый контрастъ съ чернымъ цвѣтомъ его кудрей и алымъ носомъ, то, дѣйствительно, имѣлъ внушительный видъ магика, престидижитатора, доктора, профессора, антиспирита, демонолога, командора и кавалера — таковы были титулы, которые онъ давалъ себѣ на афишѣ.

Марилька успокоилась; эта женщина не тратила много времени на слезы. Она умыла ребенка теплой водицей, накормила его и, цѣлуя тонкія ручки своего Сени, находила въ любви къ нему утѣшеніе, котораго не давала ей жизнь.

Съ удивительной быстротой приготовила Марилька чай, пришила пуговицу къ пальто, почистила его, разобрала вещи, вынула изъ коробокъ и разставила въ порядкѣ на комодѣ и подоконникѣ немногіе магическіе аппараты, къ которымъ прибѣгалъ докторъ Тиріони—волшебное ведро, золотую звѣзду, магнетическій станокъ, канделябры, — подмела полъ, одѣлась, сѣла

возлѣ ребенка и, не поднимая опухшихъ глазъ на мужа, принялась вязать носки.

Магикъ долго смотрѣлъ на нее, играя пальцами. Ему было жаль ее. Но онъ ждалъ, что она первая заговоритъ въ примирительномъ духѣ. Она виновата, потому что вывела его изъ себя; и было бы естественно, если бы она попросила прощенія. Но она молчала. Докторъ Тиріони, надѣвъ сѣрый цилиндръ, вышелъ изъ номера, скорбный и негодующій.

Накрапывалъ дождикъ. Справившись еще разъ, гдѣ клубъ, магикъ пошелъ туда. Клубъ—это бѣлый домъ, съ фонаремъ надъ входомъ. Сторожъ былъ уже пьянъ, но пока могъ еще объясняться: онъ разсказалъ магику длинную исторію, изъ которой явствовало, что буфетчикъ въ клубѣ первое лицо и женатъ на какой-то майорской дочери, которая содержитъ недалеко отъ клуба заведеніе, «куда также хорошіе господа ѣздятъ и бла-а-дарятъ»!!

Буфетчикъ, мужчина съ пухлымъ лицомъ и скромной улыбочкой, пилъ кофе, когда вошелъ докторъ Тиріони. Кофе го-

стю онъ не предложилъ, а только взглянулъ на его красный носъ. Онъ видимо былъ радъ, что клубная зала будетъ занята, потому что это хорошо для буфета. Показавъ ее доктору Тиріони и взявъ на себя похлопотать предъ старшинами о томъ, чтобъ плата за нее была «божеская», буфетчикъ поставилъ передъ нимъ графинчикъ водки, и они выпили по одной и по другой. Онъ улыбался, производилъ пріятное впечатлѣніе всей своей холеной фигурой; и былъ того мнѣнія, что Тиріони получитъ съ вечера чистыхъ семьдесятъ пять рублей, «на худой конецъ». Магикъ охотно вѣрилъ, и они разстались пріятелями.

Погода стала хуже, и дулъ рѣзкій вѣтеръ. Магикъ шелъ, нахлобучивъ цилиндръ, и забылъ о ссорѣ съ женой. Онъ потиралъ отъ холода руки и думалъ о томъ, что еще недавно у него была недурная шубка съ скунсовымъ воротникомъ.

По пути въ типографію, магикъ зашелъ въ полицейское управленіе. Было уже часовъ одиннадцать.

Въ корридорѣ толпились мужики. Цыганъ, у котораго кровь запеклась въ густыхъ, какъ войлокъ, волосахъ, лежалъ плашмя на полу и стоналъ. Евреи о чемъ-то оживленно шептались.

Докторъ Тиріони вошелъ въ канцелярію. Въ большой комнатѣ, съ низкимъ потолкомъ, съ загаженнымъ поломъ, сидѣли за черными столами молодые люди, сгорбившись, и строчили. Въ одномъ изъ нихъ магикъ узналъ вчерашняго господина въ нанковыхъ брюкахъ и со скучающимъ лицомъ.

— Вамъ что угодно?—сказалъ онъ, уставляясь на магика грустными глазами.

— Съ афишей... О разрѣшеніи дать въ городѣ магическое представленіе... началъ докторъ Тиріони.

Грустный человѣкъ молча указалъ перомъ на дверь съ надписью: «Присутствіе», и магикъ не безъ страха направился туда.

IV

Дверь отворилась, и онъ увидѣлъ продолговатую комнату, гдѣ свѣтъ, казалось, падалъ только на столъ, покрытый краснымъ сукномъ и украшенный раззолоченымъ зерцаломъ. За столомъ сидѣлъ исправникъ, тучный, какъ боровъ: бѣлыя, раздутыя щеки, маленькій съуженый лобъ. Молоденькій секретарь докладывалъ дѣло. Помощникъ исправника задумчиво смотрѣлъ въ окно.

Магикъ остановился у порога. Онъ ждалъ и молчалъ, когда обратятъ на него вниманіе.

Но время шло, и исправникъ ни разу не поднялъ на него глазъ. Онъ кашлянулъ—все равно, не замѣчаютъ!

По временамъ, исправникъ бралъ перо и подписывалъ бумаги, или обращался къ помощнику и дружелюбно толковалъ съ нимъ. А иногда просто зѣвалъ, раскрывая огромный черный ротъ, причемъ въ жирной мякоти щекъ совсѣмъ исчезали

его глаза и собиралась въ морщины кожа на стриженой головѣ.

Наконецъ, какъ бы нечаянно увидѣвъ длинную и печальную фигуру магика, исправникъ слегка повернулъ къ нему лицо и сиплымъ басомъ произнесъ:

— Вамъ что?

Докторъ Тиріони поклонился и подалъ писанную афишу. Исправникъ развернулъ ее, прочиталъ. Помощникъ исправника тоже заглянулъ въ нее.

— Ну?—промычалъ исправникъ, хмуря брови:—чего же вы хотите?

Магикъ объяснилъ, что проситъ разрѣшить напечатать афишу.

Исправникъ опять принялся читать ее.

— Документы заявлены?

— Такъ точно.

— Это что-жъ за докторъ Тиріони?

— Магическій псевдонимъ, г. исправникъ.

— А ваша настоящая фамилія?

— Павелъ Климентьевичъ Курицынъ.

Исправникъ погрузился въ афишу.

— Воля ваша — я такихъ званій не

могу позволить. Какой вы профессоръ! Покажите мнѣ дипломъ.

— Помилуйте, я ужъ честь имѣлъ объяснить...

— То-то! Все враки. Это, знаете, наглая эксплуатація! обратился исправникъ къ своему помощнику.—Не могу разрѣшить,—сказалъ онъ доктору Тиріони-Курицыну и вручилъ ему обратно афишу.

Магикъ засуетился. Онъ вынулъ нѣсколько печатныхъ афишъ въ удостовѣреніе, что вездѣ ему разрѣшали именоваться докторомъ Тиріони, извѣстнымъ профессоромъ, магнетизеромъ, энциклопедистомъ, почетнымъ членомъ спиритическаго общества въ Петербургѣ и проч., и проч.

— Вездѣ разрѣшали,—сказалъ исправникъ:—а у насъ не разрѣшаютъ,—и указалъ на дверь.

Магикъ вышелъ, униженный, сердитый и съ сознаніемъ, что чортъ возьми! голодная смерть довольно близка.

Онъ побрелъ въ гостинницу. Марилька все привела въ порядокъ, и грязная ка-

морка казалась чистенькой. Сеня лежалъ на постели.. Марилька стояла возлѣ него, скрестивъ руки.

— Павелъ Климентьичъ! произнесла она надорваннымъ шопотомъ.

— Ну?

— Боленъ нашъ ребёнокъ.

— Вижу, — сказалъ онъ, глянувъ на мальчика.

Магикъ теръ свои руки, согрѣвая ихъ дыханіемъ. Мальчикъ никого не узнавалъ, закатывалъ судорожно глазки, и тоненькіе пальчики его восковой ручки потихоньку шевелились.

— Утромъ онъ могъ ѣсть,—промолвила горестно Марилька, нагибаясь къ сыну.

Она стала рыдать, потомъ вдругъ умолкла и посмотрѣла на мужа. Ему сдѣлалось стыдно, и онъ началъ утѣшать ее, увѣряя, что Сеня поправится; но она опять разрыдалась.

Тогда магикъ пообѣщалъ женѣ послать за докторомъ.

Торопливо сообщивъ ей что̀ сказалъ ему исправникъ, онъ хватилъ изъ бутылки

глотокъ водки и переписалъ афишу. Онъ обнялъ жену, далъ ей честное слово, что мальчикъ скоро будетъ здоровъ, и поцѣловалъ его. Ручки у Сени были холодны, какъ ледъ.

Въ полицейскомъ управленіи онъ уже не засталъ исправника. Исправникъ жилъ недалеко и отправился домой завтракать. Магикъ бросился къ нему на квартиру.

Долго пришлось магику ждать въ передней. Лакей носилъ мимо него блюда и тарелки. Когда половинка двери отворялась, докторъ Тиріони видѣлъ на секунду край стола, за которымъ ѣлъ исправникъ; шея у толстяка была завязана салфеткой, и концы салфетки торчали на затылкѣ.

«Какъ ѣстъ!» восклицалъ мысленно докторъ Тиріони и думалъ о Марилькѣ и о своемъ больномъ ребенкѣ.

Всему бываетъ конецъ. Кончилъ завтракать и исправникъ и вышелъ въ переднюю.

— Вы опять?—произнесъ онъ и взялъ афишу у магика.

Но едва онъ развернулъ ее, какъ, не читая, отдалъ назадъ.

— Я васъ вышлю изъ города, если вы будете лѣзть ко мнѣ!—закричалъ онъ, наливаясь кровью.

— Помилуйте!..

— Молчать!

— Ваше *превосходительство*, мнѣ выѣхать не съ чѣмъ.

— Молчать!

Исправникъ облекся въ шинель, поданную лакеемъ, и ушелъ. Лакей сдѣлалъ магику знакъ. Глазки его хитро улыбались, и онъ шопотомъ сказалъ:

— Взятку хочетъ. Ему въ афишу хоть пять рублей заверните. Были тутъ такіе же, какъ вы—онъ съ нихъ всегда бралъ. А у васъ циркъ?

— Нѣтъ, я по другой части.

— А то ежели-бъ циркъ, такъ хорошо-бъ ему послѣ обѣда барышню молоденькую съ афишей прислать. Стоялъ у насъ циркъ Іозефа, каждый разъ барышню присылали. Ну, а впрочемъ, все же ему лошадь, кромѣ того, подарили.

— За что-же?

— Начальство! Лошадь ему понравилась, онъ сейчасъ примѣты велѣлъ подыскать, говоритъ: краденая. Ну, Іозефъ видитъ, надо отдать — взялъ и отдалъ. Очень только заскучалъ и недолго въ городѣ оставался.

Магикъ выслушалъ разсказъ и посмотрѣлъ на лакея.

— У меня денегъ нѣтъ,—сказалъ онъ.

Лакей промолчалъ, недовѣрчиво скосивъ масляные глазки на дорогіе ботфорты доктора Тиріони.

— Какъ хотите,—началъ онъ.—Пожалѣете потомъ...

Магикъ не зналъ что дѣлать. Онъ отправился за совѣтомъ къ клубному буфетчику. Дорогою ему пришла мысль послать телеграмму губернатору съ жалобой на исправника. Онъ вынулъ изъ кармана три рубля. Но эти деньги онъ положилъ въ афишу и, раздумавъ заходить въ клубъ,—погода сдѣлалась ужасная и вмѣстѣ съ дождемъ падалъ снѣгъ, — со всѣхъ ногъ бросился въ полицейское управленіе.

Онъ хотѣлъ начать съ угрозъ, устроить скандалъ исправнику; даже болѣе смѣлыя намѣренія одушевляли его; но когда исправникъ увидѣлъ его и произнесъ: «Опять??»— онъ протянулъ афишу съ смиреннымъ видомъ.

— Знаете, это верхъ нахальства!—сказалъ исправникъ.

Онъ сидѣлъ, какъ и въ тотъ разъ, за столомъ, и ящикъ былъ до половины выдвинутъ противъ него. Когда исправникъ развернулъ афишу, деньги упали въ ящикъ. Докторъ Тиріони, въ качествѣ спеціалиста, подивился искусству исправника. А исправникъ, какъ ни въ чемъ не бывало, пробѣжалъ афишу.

— Ну, хорошо! — произнесъ онъ, нахмурившись.—Такъ и быть! Вы говорите, выѣхать не съ чѣмъ — Богъ съ вами... Но только въ другой разъ съ *этимъ* не смѣйте являться.

Онъ подписалъ афишу.

V

Теперь надо было торопиться. У магика оставался рубль, но этотъ рубль на доктора. По счастью, докторъ оказался изъ молодыхъ и съ добрымъ сердцемъ. Увидѣвъ Тиріони-Курицына, онъ проникся жалостью къ этому слишкомъ по-лѣтнему и столь странно одѣтому профессору, обѣщалъ заѣхать и предупредилъ, что денегъ не возьметъ, а когда магикъ предложилъ ему билетъ на волшебное представленіе,— у него карманы были полны билетами, оставшимися отъ неудачнаго вечера въ Бердичевѣ — то хотѣлъ заплатить за билетъ. Но, какъ онъ ни настаивалъ, магикъ не взялъ платы. Доброта и ласковое обращеніе доктора растрогали его. Онъ повеселѣлъ и мужественно направился въ типографію.

Типографія помѣщалась въ подвальномъ этажѣ. Содержалъ ее еврей, старый человѣкъ. Желтый отъ пота мягкій воротникъ его рубахи обрамлялъ сухую на

длинной шеѣ голову. Борода у него была рѣденькая, козлиная, и одинъ глазъ прищуренъ. Онъ низко поклонился магику и попросилъ его садиться.

— Что̀ надо милому пану?

Магикъ объяснилъ.

— Хорошо. Все можно сдѣлать. А на когда панъ хочетъ, чтобъ было готово?

— Завтра надо будетъ съ утра расклеить афиши.

— Ой!

Еврей взялъ афишу и сталъ вымѣрять и высчитывать, сколько пойдетъ шрифту.

— Такъ скоро нельзя, дорогой мой панъ! сказалъ онъ съ сладкой улыбкой.—А панъ знаетъ, сколько то будетъ стоить?

Они стали торговаться.

Еврей согласился, наконецъ, заставить типографію работать ночью. Магикъ не зналъ, откуда онъ возьметъ завтра шесть рублей, но объ этомъ онъ и не безпокоился: утро вечера мудренѣе.

«Теперь къ музыкантамъ!»—Гдѣ живетъ капельмейстеръ Дувидъ Зурманъ?

Городъ населенъ евреями. Мѣстные

купцы славятся своимъ богатствомъ, и имя одного изъ нихъ гремитъ на всемъ Югѣ, какъ милліонера и предпріимчиваго фабриканта. Все же закоулокъ, куда попалъ докторъ Тиріони, поразилъ даже его своимъ нищенскимъ видомъ. Во дворѣ, узкомъ и грязномъ, тянулась цѣлая улица, застроенная вростающими въ землю полуразвалившимися хижинами, амбарчиками, хлѣвами. Козы уныло жевали солому. Одна изъ нихъ съ неопрятной бѣлой шерстью стояла на крышѣ, подъ ивой; вѣтеръ и дождь трепали надъ нею гибкія вѣтви дерева.

Дувидъ Зурманъ сначала не понравился магику: безобразный рыжій еврей, въ черной бархатной ермолкѣ, съ большими руками, которыя были усѣяны желтыми веснушками, и съ мокрымъ ртомъ. Но когда онъ согласился взять за вечеръ восемь рублей (весь оркестръ состоялъ изъ четырехъ человѣкъ), причемъ деньги было необязательно отдавать впередъ, и далъ слово, что «только скажетъ своимъ жидкамъ, такъ тѣ станутъ по городу бѣ-

гать и больше пользы сдѣлаютъ, чѣмъ всѣ афиши», докторъ Тиріони съ чувствомъ пожалъ ему руку.

Но мытарства магика не кончились. На улицѣ его встрѣтилъ клубный буфетчикъ и, разведя руками, сообщилъ непріятную новость. Старшины каждый порознь соглашаются уступить клубную залу подъ магическій вечеръ; но рѣшеніе это можетъ вступить въ законную силу лишь по утвержденіи его собраніемъ. «Когда же собраніе?»—«А денекъ придется подождать». Магикъ уныло смотрѣлъ на сытую фигуру буфетчика въ бобровой шубкѣ и подъ зонтикомъ. Согнувъ колѣни и держа руки въ карманахъ своего куцаго пальто, Павелъ Климентьичъ дрожалъ отъ холода, и носъ его изъ краснаго сдѣлался синимъ.

— Придется поискать новой залы,— проговорилъ онъ съ отчаяньемъ.

Ему удалось застать смотрителя уѣзднаго училища. Когда онъ вошелъ въ переднюю, горничная испугалась и убѣжала. Дѣти высунули изъ дверей головы и тоже

*

удрали. Высунула голову толстая дама и, вскинувъ на магика круглые, желтые глаза, скрылась въ тревогѣ. Наконецъ, вышелъ самъ смотритель, молодой геморроидальный человѣкъ, сильно пахнувшій водкой. Разспросивъ гостя, онъ сухо объяснилъ ему, что «согласно циркуляра г. министра народнаго просвѣщенія», въ зданіяхъ учебныхъ заведеній «никоимъ образомъ» не могутъ быть терпимы спектакли.

Магикъ пошелъ къ предсѣдателю мироваго съѣзда. Если въ городѣ нѣтъ театра, то, въ крайнемъ случаѣ, бродячему артисту приходится давать представленія въ камерахъ мировыхъ судей. Ставни въ домѣ были закрыты. Магикъ вошелъ въ ворота. Собака сердито тявкнула на него изъ-подъ крыльца; припустилъ дождь. Тиріони вскочилъ въ стекляный корридорчикъ. Тутъ онъ увидѣлъ дверь, которая была не заперта, и очутился въ домѣ.

Было мрачно. Въ комнатахъ царилъ страшный безпорядокъ: гдѣ кровать съ скомканнымъ одѣяломъ, гдѣ холодный самоваръ и неубранная посуда. На диванѣ

лежала дѣвушка; увидѣвъ магика, она схватила со стула юбку и закрылась ею съ головой. Изъ слѣдующей комнаты доносился мѣрный атласный звукъ. Магикъ вошелъ. При догорающихъ свѣчахъ, въ синей табачной атмосферѣ, пропитанной пуншевымъ запахомъ, вокругъ большого стола сидѣли и стояли молодые и старые люди, кто безъ сюртука, кто въ одномъ бѣльѣ. Они точно замерли. Въ этомъ зловѣщемъ полусвѣтѣ, среди этого зловѣщаго молчанія, когда не смѣли ни кашлять, ни даже дышать, когда нервы у всѣхъ напряглись до высшей степени, точно въ комнатѣ — трудно-больной и вотъ-вотъ умретъ, и всѣ прислушиваются, чтобъ уловить его послѣдній, чуть слышный вздохъ, среди этой мучительной обстановки и этихъ застывшихъ отъ ожиданія лицъ, особенно блѣдной, мертвенно-зеленой фигурой казался высокій тонкій господинъ, съ пышными каштановыми волосами, очень свѣтлой бородкой и маленькимъ потухшимъ лицомъ. Жизнь сосредоточивалась только въ его глазахъ, свер-

кавшихъ стальнымъ блескомъ. Онъ глядѣлъ на карты, которыя проворно ложились передъ нимъ. Вдругъ взглядъ его погасъ, вздохъ облегченія вырвался у всѣхъ изъ груди, игроки задвигались, зашумѣли. Карта была бита. Банкометъ загребъ цѣлый ворохъ ассигнацій, а высокій господинъ повернулъ къ магику свое безжизненное лицо.

— А, очень хорошо! сказалъ онъ, шатаясь и силясь улыбнуться. Онъ не понималъ, о чемъ говоритъ магикъ.—Обратитесь къ письмоводителю... Ваше дѣло... Да какъ вы сюда попали?! Вамъ залу? Какую залу?! Подите къ чорту! Трифонъ! Вѣчно спитъ, каналья... Трифонъ!!!

Но магикъ не сталъ дожидаться Трифона. Онъ самъ ушелъ торопливымъ шагомъ, ругая себя и этого судью, превратившаго день въ ночь и выместавшаго свой проигрышъ на нищемъ.

Пришлось опять идти въ клубъ. Магикъ согласился подождать «денекъ». Буфетчикъ пожурилъ его за нетерпѣніе. Можетъ,

и два дня понадобится обождать — экая важность!

Смеркалось. Съ пустымъ желудкомъ, озябшій и не чуя ногъ отъ усталости, не на радость вернулся магикъ домой.

VI

Вечеромъ заѣхалъ докторъ. Онъ успокоилъ Марильку, велѣлъ класть на голову ребенка ледъ, а ножки окутать и согрѣвать бутылками съ кипяткомъ. Когда онъ прощался, рука его слишкомъ долго сжимала руку молодой женщины.

Но вся эта ночь и весь слѣдующій день прошли для магика и его жены въ мучительной тревогѣ. Ребенокъ умиралъ. Онъ страшно похудѣлъ и посинѣлъ. Онъ не кричалъ. Только по временамъ слабый стонъ срывался съ его застывающихъ губъ.

Чтобъ не глядѣть на ребенка и не видѣть убитаго лица Марильки, магикъ бро-

дилъ по городу. Въ типографіи онъ держалъ корректуру афиши, въ клубѣ пилъ съ буфетчикомъ, игралъ на билліардѣ.

Типографщикъ и капельмейстеръ раза два прибѣгали въ гостинницу и таинственно шептались съ хозяиномъ; тотъ утвердительно кивалъ головой. Докторъ Тиріони понялъ, что рѣчь идетъ о томъ, есть ли у него деньги. Онъ велъ себя, какъ фатъ, требовалъ вина, закусокъ, пирожнаго и приносилъ все это женѣ. Но она ни до чего не дотрогивалась.

Его долгъ въ гостинницѣ росъ, буфетчику онъ тоже задолжалъ. Платить было нечѣмъ. Но чѣмъ больше онъ должалъ, тѣмъ самоувѣреннѣе становился, и сами кредиторы стали, мало-по-малу, ухаживать за нимъ.

«Неудачный вечеръ, — думалъ онъ — и они разорвутъ меня на части». Онъ гналъ мысль о неудачѣ; только никакъ не могъ перестать думать о больномъ своемъ сынѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ родился Сеня, въ ярмарочномъ балаганѣ, между ученой лошадью и ученымъ осломъ, которыхъ онъ

потомъ продалъ въ Евпаторіи, его тяжелая магическая жизнь скрасилась чувствомъ, дотолѣ ему незнакомымъ. Онъ полюбилъ свое дитя и крѣпко привязался къ женѣ, къ которой уже было охладѣвалъ. Свое уваженіе къ ней онъ выразилъ тѣмъ, что сочетался съ нею церковнымъ бракомъ. Иногда, въ счастливую минуту, обнявъ Марильку, онъ слушалъ, какъ она въ полголоса, чтобъ не разбудить крошку, развиваетъ передъ нимъ планы будущаго: они станутъ беречь деньги, накопятъ пятьсотъ рублей и пріобрѣтутъ гдѣ нибудь въ окрестностяхъ Кіева или Харькова хуторокъ. Хатка ихъ будетъ бѣленькая, чистенькая, при ней садъ вишневый, и всѣ деревья усыпаны черными блестящими ягодами, а подсолнечникъ большой, какъ тарелка, желтѣетъ на огородѣ. У нихъ своя лошадь, Сеня ѣздитъ верхомъ. Магикъ съ увѣренностью говорилъ Марилькѣ, что пятьсотъ рублей будутъ, и она, кидая счастливый взглядъ на ребенка, цѣловала мужа, вся зардѣвшись...

— Сенька поправится! — произносилъ

магикъ отъ времени до времени, шопотомъ, хрустя пальцами, и тянулъ водку.

А Марилька молчала. Она глядѣла на сына, слезы медленно текли по ея щекамъ и падали крупными, свѣтлыми каплями на одѣяльце, которымъ былъ покрытъ Сеня.

Докторъ появлялся еще раза три. Его розовыя щеки лоснились отъ жира, а красныя губы привѣтливо улыбались подъ маленькими усиками. Онъ шутилъ, утѣшалъ Марильку, предлагалъ ей денегъ и однажды, въ отсутствіе мужа, поцѣловалъ ее.

Она локтемъ отстранила его. Магикъ скоро пришелъ, но она не сказала ему ничего; только съ этихъ поръ довѣріе ея къ доктору пропало.

Клубная зала, наконецъ, поступила въ распоряженіе магика, и афиши были напечатаны. Типографщикъ не хотѣлъ отдавать афишъ и требовалъ условленной платы. Доктору Тиріони стоило большихъ хлопотъ убѣдить его, что шесть рублей получитъ онъ изъ кассы въ день спектакля. Еврей

морщилъ лицо, поднималъ плечи, чмокалъ языкомъ и, въ концѣ-концовъ, сдался, выговоривъ себѣ, однако, седьмой рубль и два мѣста въ залѣ. Хозяинъ сталъ грубъ: тоже требовалъ денегъ. Капельмейстеръ прибѣжалъ въ третій разъ. Явилось множество мелкихъ расходовъ: надо было купить веревокъ, цвѣтнаго коленкора, двѣ колоды картъ, пять фунтовъ свѣчей, кофе для угощенія публики волшебнымъ напиткомъ, надо было заплатить человѣку за то, что онъ расклеилъ по городу афиши, вскорѣ смытыя дождемъ и сорванныя мальчишками...

Голова шла кругомъ у доктора Тиріони.

Его выручила жена буфѣтчика, майорская дочь, Розалія Валентиновна.

Заглянувъ въ долговую книгу и увидѣвъ, что за магикомъ числится 7 р. 35 к., Розалія Валентиновна приняла въ немъ живѣйшее участіе. О болѣзни сына магикъ слишкомъ часто говорилъ и даже ссылался на нее, какъ на обстоятельство, препятствующее ему аккуратно расплачиваться съ кредиторами. На хозяина онъ закри-

чалъ: «Что вы пристаете ко мнѣ, скажите пожалуйста!? У меня сынъ боленъ, можете ли вы это понять?» То-же самое, только въ вѣжливой формѣ, сказалъ онъ буфетчику. Розалія Валентиновна, бывшая при этомъ, грустно потрясла головой, и ея некрасивое лицо, съ черными кругами около глазъ, понравилось магику. «Что и говорить! свѣтъ не безъ добрыхъ людей!» подумалъ онъ и поцѣловалъ руку у майорской дочери. Въ тотъ же день Розалія Валентиновна пріѣхала къ Марилькѣ, всплеснула руками при взглядѣ на полумертваго ребенка, обняла съ горячимъ чувствомъ молодую женщину и стала закадычнымъ другомъ бѣдныхъ супруговъ.

Она пріобрѣла на свои деньги все, что надо было для магическаго вечера, и цифра долга буфетчику возросла до семнадцати рублей. Кромѣ того, Розалія Валентиновна прислала пару туго связанныхъ голубковъ и велѣла положить ихъ возлѣ Сени, потому что это самое дѣйствительное средство противъ «родимчика», которымъ, по ея мнѣнію, былъ боленъ мальчикъ. Ма-

рилька, разумѣется, сейчасъ все исполнила и, глядя на блѣдносинее личико ребенка и голубей, слабо трепетавшихъ бѣлыми крылами, ждала чуда.

VII

Утромъ въ день представленія докторъ Тиріони, надѣвъ фракъ, взятый напрокатъ у портного Мошки, поѣхалъ съ визитами по городу и посѣтилъ предводителя, акцизнаго надзирателя, учителей, графиню Чаплицкую, старенькую даму, въ лиловомъ парикѣ, богатую и скупую, воинскаго начальника, еще нѣсколькихъ господъ. Онъ продалъ билетовъ на восемь рублей и поторопился сдать деньги въ кассу. За кассой сидѣла Розалія Валентиновна. Она объявила магику, что торгуетъ хорошо, и онъ, заглянувъ въ ящикъ, потеръ руки.

Но съ двухъ часовъ приливъ денегъ прекратился. Требованія на билеты были, правда; но безъ платы. Полицейскій над-

зиратель прислалъ записочку съ просьбой «вручить подательницѣ два билета». Секретарь попросилъ, «если можно», доставить ему три билета. Исправникъ приказалъ черезъ разсыльнаго, на словахъ. оставить для него въ первомъ ряду два мѣста. Даже полицейскій писецъ съ грустными глазами и такимъ видомъ, о которомъ говорится «Богомъ убитый человѣкъ», и тотъ захотѣлъ «мѣстечка получше». Пришлось дать билеты типографщику, женѣ Дувида Зурмана, портному, хозяину гостинницы, какимъ-то барышнямъ, рекомендованнымъ Розаліей Валентиновной, брату буфетчика.

Погода весь день была такая, что магикъ постоянно переходилъ отъ страха къ надеждѣ. Съ утра было тепло, и солнце свѣтило. Потомъ вдругъ поднялся холодный вѣтеръ, а послѣ обѣда пошелъ дождь. Переставалъ онъ нѣсколько разъ, и снова начинался. Если дождь вечеромъ будетъ идти, то сборъ не выгоритъ. А тогда хоть въ петлю полѣзай.

Чтобъ не впадать въ уныніе, магикъ

пилъ и закусывалъ «солененькимъ», а буфетчикъ, котораго онъ угощалъ, закусывалъ сахаромъ.

Въ этотъ день всѣ кредиторы пресмыкались предъ докторомъ Тиріони. А онъ то смирялся и былъ любезенъ, то кричалъ, хватая себя за волосы, когда не всѣ стулья оказывались налицо, или рабочіе медлили сколачивать эстраду.

На расположеніе его духа вліяла также Марилька. Многіе фокусы безъ нея не могутъ идти: ни «зонтикъ волшебника», ни «звѣзда Мефистофеля», ни «танцующій платокъ», ни «превращеніе дамы въ курицу», а самое главное, пропадетъ то отдѣленіе вечера, которое въ афишѣ названо: «Сила магнетизма или спящая красавица». Напечатано это огромными буквами, и съ обѣихъ сторонъ на заманчивую строку указываютъ еще по двѣ пары рукъ...

Время шло, докторъ Тиріони все больше и больше волновался.

Наконецъ, онъ сѣлъ на извощика и поѣхалъ въ гостинницу.

— Марилька!—сказалъ онъ, входя:—

мы погибли... если ты не захочешь... Что мальчикъ? перебилъ онъ себя, понизивъ голосъ.

— Сенѣ лучше! — проговорила Марилька съ блѣдной улыбкой.

Магикъ потеръ руки и поцѣловалъ жену.

— Гора съ плечъ!.. Я зналъ, что онъ будетъ здоровъ... Я тебѣ говорилъ!

Онъ въ волненіи подошелъ къ постели.

— Голубки задохлись,—объясняла Марилька, указывая на голубей, неподвижно бѣлѣвшихъ возлѣ Сени:—и какъ только они задохлись, нашъ ребеночекъ почувствовалъ это и говоритъ: «Мама!»... такъ и говоритъ: «Ма-ма!»...

— Удивительно!—произнесъ магикъ и потрогалъ голубей.

Они окоченѣли. Сеня чуть слышно дышалъ и смотрѣлъ на отца мутнымъ взглядомъ. Пузырь со льдомъ лежалъ въ головахъ, подушка былъ мокрая, и хотя въ номерѣ было жарко, но холодомъ вѣяло отъ этого крошечнаго существа, съ вытянутыми ножками, съ длинными изсохшими ручками, которыя судорожно ловили одѣяло.

— Главное, что голубки задохлись,— говорила Марилька, придавая этому обстоятельству огромную важность. — Розалія Валентиновна сказала, что ежели голубки задохнутся, такъ это къ нимъ, значитъ, болѣзнь перешла, а изъ мальчика вышла.

Магикъ промолчалъ. Онъ наклонился надъ сыномъ и поцѣловалъ у него руку. Когда онъ поднялъ голову, Марилька увидѣла, что по его щекѣ катится слеза.

— Такъ вотъ, Марилька,—началъ онъ, отворачиваясь и стараясь глядѣть въ окно:—теперь Сенѣ лучше, и поѣдемъ со мною въ клубъ... А сюда я пришлю женщину отъ Розаліи Валентиновны, и она досмотритъ...

— Какую женщину?—вскричала Марилька.

— Да ты мнѣ, Марилечка, нужна для вечера...

— Убирайтесь!—сказала Марилька, поблѣднѣвъ.—Обойдетесь и безъ меня! Какъ это я брошу ребенка, хотѣла бы я знать? На чужія руки? Какіе вы варвары, ахъ,

какіе вы варвары, Павелъ Климентьичъ!!!— заключила она и разрыдалась.

Никогда магикъ не слышалъ отъ жены ничего подобнаго. Онъ былъ всегда грубъ, а она всегда ласкова. Прежде онъ избилъ бы ее. Но сегодня *что-то* не позволило ему поднять на нее руку. Онъ только вздохнулъ и, нахлобучивъ цилиндръ, вышелъ.

VIII

О своемъ горѣ магикъ разсказалъ Розаліи Валентиновнѣ. Ласковое выраженіе лица доброй женщины смѣнилось на минуту злымъ.

—Эки нѣжности!—сказала она въ сердцахъ.—Да неужели-жъ вы не можете безъ нея? Какъ-нибудь ужъ постарайтесь, Павелъ Климентьичъ! Не возвращать же билеты! Шутка-ли! сколько мы затратили!.. А барышню я вамъ найду... Вотъ муку приняла на себя! Ваничка! а Ваничка! обратилась она къ мужу:—пошли-ка ты

кого-нибудь за Пашкой... Пашка будетъ кстати! сказала она магику.—Золотая дѣвочка!

Черезъ нѣсколько минутъ явилась Пашка. Она была рыженькая и въ веснушкахъ. На ней было модное драповое пальто, бѣлый платочекъ, съѣхавшій на затылокъ, фильдекосовыя бураковаго цвѣта перчатки, а черные кругленькіе глазки бѣгали, какъ у звѣрка.

Розалія Валентиновна объяснила ей, что̀ отъ нея требуется.

— Выдумали! — закричала Пашка. — Ха-ха-ха!

Однако, она согласилась примѣрить корсетъ и пошла съ магикомъ въ маленькую уборную, находившуюся при залѣ. Пашка нисколько не стыдилась и хохотала, чувствуя прикосновеніе пальцевъ магика, когда онъ затягивалъ ремни. Носъ его налился кровью.

— Отлично,—сказалъ магикъ со вздохомъ облегченія и съ любезной улыбкой.

— Я васъ видѣла,—лукаво проговорила Пашка, поворачиваясь. Корсетъ сидѣлъ на

ней, точно вылитый, спускаясь, съ одной стороны, по бедру, до колѣна.

— Гдѣ вы меня видѣли?

— У судьи... Помните, вы шли, а я лежала на диванѣ.

— А!

Магикъ взялъ ее за руку и подвелъ къ станку. Станокъ состоялъ изъ массивнаго стальнаго шеста, вбитаго въ полъ эстрады. Магикъ пристегнулъ пряжки корсета, Пашка была приведена въ горизонтальное положеніе, поднята на воздухъ и, громко взвизгивая, красная отъ испуга, капризно трясла свободной ногой.

Магикъ улыбнулся. Общество Пашки спасло его на нѣсколько минутъ отъ тоскливыхъ мыслей... Онъ освободилъ ее и принялся за окончательныя приготовленія къ вечеру.

Смеркло.

Стѣны продолговатой залы были темныя, тоненькія колонны поддерживали по бокамъ потолокъ, съ котораго спускалась бронзовая люстра на двѣнадцать свѣчей. Вѣнскіе стулья тѣсными рядами стояли

по обѣимъ сторонамъ полотняной дорожки, которая вела на эстраду. Магикъ метался по залѣ, разставлялъ столы, прибивалъ коленкоръ, смотрѣлъ, какой эффектъ производятъ издали магическіе канделябры, забѣгалъ въ кассу и торговался съ публикой, потому что нѣкоторые, напримѣръ, думскій бухгалтеръ, требовали значительной скидки съ назначенныхъ цѣнъ за мѣста.

Когда ужъ стемнѣло и все было готово, магикъ побрился въ уборной и надѣлъ фрачную пару. Онъ принялъ торжественный видъ и сталъ говорить вполголоса.

Пришли музыканты: первая скрипка, вторая, кларнетъ, контрбасъ. Этотъ послѣдній инструментъ, находившійся въ распоряженіи слѣпого еврея съ бѣлой бородой и бѣлыми пейсами, отбрасывалъ огромную тѣнь, которая ползла по всей залѣ, загибалась и дрожала на потолкѣ. Первый скрипачъ былъ франтъ, хоть и въ длинноломъ кафтанѣ, и закурилъ папироску. Дувидъ Зурманъ спорилъ съ

другимъ музыкантомъ, у котораго было блѣдное лицо съ вздутыми красными губами.

Споръ становился все громче и громче, наконецъ, въ немъ принялъ участіе весь оркестръ Дувида Зурмана.

— Что такое, господа?—спросилъ магикъ, подбѣгая къ музыкантамъ.

— Эх-хъ! А! сволочь!—съ негодованіемъ заявилъ Зурманъ, указывая на музыкантовъ.—Денегъ впередъ хочутъ... А гдѣ я возьму?

Музыканты, въ свою очередь негодуя, стали укладывать скрипки.

— Позвольте, господинъ,—началъ Зурманъ:—не можете вы дать теперь мои деньги?

Магикъ долженъ былъ бѣжать въ кассу и принести деньги; музыканты успокоились.

Была зажжена люстра. Съ улицы можно было видѣть яркій свѣтъ въ клубной залѣ. Занавѣсъ изъ дешевенькаго ситца колебался посреди залы. Дождя не было, и публика стала собираться.

IX

По уходѣ мужа, Марилька подошла къ ребенку. Она пристально смотрѣла на Сеню. Нѣтъ силы, которая могла бы оторвать ее отъ милаго мальчика! Ужъ ему лучше, а сейчасъ онъ совсѣмъ станетъ здоровъ. Она напоитъ его молочкомъ, и онъ, какъ бывало, обниметъ ее, засыпая...

Она вылила спиртъ изъ бутылки въ камфорку, и стала грѣть молоко.

Марилька устала, все тѣло ея болѣло. Она не смыкала глазъ ни ночью, ни днемъ. Она похудѣла, и серебряное колечко не держалось больше на ея мизинцѣ.

По временамъ ей казалось, что она спитъ и ей снится, будто мальчикъ боленъ. Тогда сердце ея замирало отъ тоски, мучительное сомнѣніе тревожило ея умъ, она плакала и больно сжимала свои пальцы, чтобъ проснуться и увидѣть съ восторгомъ, какъ веселъ и здоровъ Сеня.

Но сонъ оказывался дѣйствительностью. Мальчикъ лежалъ, и судорожно подер-

гивалась восковая ручка бѣдняжки, и зловѣще хрипѣла его грудь. Марилька ласково заговаривала съ мальчикомъ. Но онъ молчалъ. Она плакала, звала его, просила его, чтобъ онъ скорѣе поправился. Онъ все молчалъ. Она наклонялась надъ нимъ, цѣловала его, прислушивалась къ его дыханію. Онъ молчалъ, все молчалъ!

Молоко вскипѣло и успѣло простыть. Марилька тоскливо взглянула на кострюльку. Мальчикъ много ѣлъ незадолго до болѣзни, въ Бердичевѣ. Сеня выпилъ тогда стаканъ молока, съѣлъ котлетку и еще просилъ... Марилька теперь пожалѣла, что не позволила ему больше ѣсть. Вспомнивъ, что Сенѣ нравилась ея бронзовая брошка съ сердоликомъ, и ему никогда не давали ее, она поспѣшно нашла брошку и положила къ нему на постель.

Въ дверь осторожно постучали. Вошелъ докторъ.

— Ну, что вашъ малютка?—спросилъ онъ, косясь на кровать и подавая молодой женщинѣ руку.

Она отвѣчала:

— Ему лучше...

У ней сердце билось такъ, что готово было, казалось, выпрыгнуть изъ груди. Любезности гуманнаго доктора оскорбляли ее. Но пусть онъ осмотритъ еще разъ Сеню. Она попросила доктора сѣсть, и стала передавать ему подробности, какъ задохлись голуби.

Докторъ взглянулъ на голубей, пожалъ плечами, пощупалъ пульсъ у мальчика, и его брови слегка нахмурились.

— Плохъ,—произнесъ онъ.

— Плохъ?—повторила Марилька, вздрогнувъ.

— Я зайду,—сказалъ онъ, жалѣя ее:— завтра... Можетъ быть... разумѣется... тутъ все зависитъ... отъ Бога!—заключилъ онъ.

Марилька улыбнулась. Но эта улыбка была страшная.

— Докторъ, вы говорили, что мальчикъ будетъ здоровъ...—начала она.

Онъ развелъ руками, порываясь уйти. Ему было совѣстно.

— Но вѣдь голуби же?—сказала Марилька.

Докторъ потупился и вздохнулъ.

Тогда Марилька въ отчаяніи упала къ его ногамъ, обняла его колѣни и униженно просила:

— Спасите его! Спасите его, докторъ!

— Послушайте, успокойтесь!—говорилъ онъ.—Успокойтесь, что дѣлать! У васъ еще будутъ дѣти..,

Онъ ушелъ, а она изступленно билась головой объ-полъ. Ручьи слезъ текли изъ ея глазъ. Марилька проклинала доктора, проклинала ремесло мужа, проклинала свою жизнь, проклинала Бога. Душа болѣла, и болѣла грудь, и каждое слово, каждый вопль, каждый вздохъ терзалъ ее, наполняя все ея существо горечью и неизъяснимой мукой.

Но вдругъ ей показалось, что тамъ, гдѣ лежитъ Сеня, что-то совершилось. Она мгновенно смолкла... Тишина наступила, ужасающая тишина... а на полъ звучнѣе прежняго падаютъ капли воды, сочась изъ пузыря со льдомъ... Марилька вскочила,

подбѣжала къ постели и не узнала своего ребенка. Неподвижно хмурились тонкія темныя бровки, ротикъ странно улыбался, крошечныя ручки застыли. Сеня умеръ.

X

Первое отдѣленіе магическаго вечера сошло благополучно. Зала была биткомъ набита. Всѣ кресла были заняты, многимъ зрителямъ пришлось стоять. Докторъ Тиріони смотрѣлъ на публику, какъ человѣкъ, который чувствуетъ себя неизмѣримо выше толпы. Въ маленькомъ обществѣ докторъ Тиріони робѣлъ, былъ неловокъ, неразговорчивъ; передъ большей публикой — никогда. Онъ зналъ, что публика заставляетъ самаго умнаго человѣка рукоплескать глупостямъ и восторгаться пустяками. Публика не критикуетъ. Вооруженный коротенькой *магической* палочкой, онъ стоялъ на эстрадѣ, улыбаясь, вертѣлъ подъ музыку носовой платокъ, растягивалъ его «до безконечности», какъ резинку, разби-

валъ надъ шляпой яйца и вынималъ изъ нея, взамѣнъ, букетъ цвѣтовъ, дюжину бонбоньерокъ, канарейку, которая улетала, одурѣлая, и ударялась въ окно. Онъ бросалъ въ воздухъ перчатки, стеклянные и металлическіе шарики, разные мелкіе предметы — кольца, табатерки, перочинные ножи, которые бралъ у кого-нибудь изъ публики, произнося: «Passez»—единственное французское слово, извѣстное ему,— и предметы исчезали. Затѣмъ онъ сходилъ съ эстрады и, при оглушительномъ хохотѣ, вынималъ перочинный ножикъ изъ уха гимназиста, кольцо изъ шиньона жены помощника исправника, шарики изъ пальцевъ смотрителя училища, даже къ самому исправнику посмѣлъ подойти и досталъ изъ его жгутовъ серебряный рубль. Ревѣли отъ восторга!

Тѣ фокусы или «номера», какъ выражался докторъ Тиріони, которые онъ не могъ показать безъ посторонней помощи, входили во второе отдѣленіе. Когда занавѣсъ упалъ, и на эстрадѣ стало темно, магикъ въ тревогѣ забѣгалъ по сценѣ.

Его вызывали, а онъ ломалъ пальцы. Въ лучшемъ случаѣ, придется «скомкать» отдѣленіе. Раскланявшись съ публикой и улыбнувшись ей длинной улыбкой направо и налѣво, онъ вернулся на эстраду и сталъ наскоро учить Пашку, гдѣ и когда дернуть за веревочку, подавить пружину, переставить предметъ.

— Понимаете-ли, когда я скажу: «Разъ два, а потомъ—трц! Passez»! вы сейчасъ рукой этакъ...

Но Пашка не понимала. Она была въ трико и въ бархатномъ корсажѣ, сверкавшемъ блестками. Лицо она себѣ неестественно набѣлила, брови начернила, круглые глазки ея тупо смотрѣли на магика.

— Да вѣдь поймите же, только дернуть... Ну, дергайте!

Пашка передразнила магика.

Онъ въ отчаяніи посмотрѣлъ на нее.

— Деревяшка! вырвалось у него.

Пашка обидѣлась.

— Убирайтесь! закричала она. — Что за дерзости! Вотъ стану я тутъ пачкаться!

Мнѣ мировой руки цѣлуетъ! А вы длинный дуракъ вотъ съ э-э-такимъ носомъ!

Она сдѣлала ему носъ.

Магикъ смирился и, опасаясь за «спящую красавицу», потому что теперь все зависитъ отъ каприза Пашки, бросился къ ней и любезно схватилъ ее за руку.

— Пожалуйста!

Дверь отворилась, и вошла Марилька.

Магикъ повернулъ къ ней измученное лицо. Ихъ глаза встрѣтились.

— Это что за женщина? спросила Марилька. — Пускай она уйдетъ и сейчасъ-же сниметъ мои вещи...

— Тсс!

— Важное кушанье! огрызнулась Пашка, отступая.

— Тсс!

Изъ залы донесся стукъ. Публика стучала палками, ногами, кричала: «Пора, пора!»

— Сеню бросила? — спросилъ магикъ. Одного?

Марилька едва удержалась на ногахъ. Переведя взглядъ на Пашку, мрачно раз-

дѣвавшуюся и ругавшую магика и ее, она произнесла, потупляясь:

— Ему *лучше*... онъ спитъ.

Лицо у ней было блѣднѣе, чѣмъ если бы она набѣлилась.

— Кто досмотритъ безъ тебя Сеню?

— Досмотрятъ.

— Одѣвайся! произнесъ онъ повеселѣвшимъ голосомъ.

Искоса онъ поглядывалъ на жену: съ ней произошла какая-то перемѣна. Пашка ушла со слезами—теперь ей самой хотѣлось «представлять». Марилька молча и быстро одѣлась. Магикъ радъ былъ, что отдѣлался отъ Пашки. Публика стучала такъ, что онъ скрипѣлъ зубами отъ досады.

— Выходи, Марилька, ради Бога!

Онъ самъ поднялъ занавѣсъ. Жидки играли персидскій маршъ.

Когда Марилька, мертвенно блѣдная, съ распущенными по плечамъ льняными волосами, показалась, одѣтая «пажемъ», въ черномъ камзолѣ, изъ-подъ котораго выходили длинныя въ свѣтло-кирпичномъ трико ноги, обутыя въ серебряныя ту-

фельки, зала привѣтствовала ее трескучими аплодисментами. Но Марилька не поклонилась. Широко раскрытые глаза ея безучастно глянули въ пространство, и она ждала, что прикажетъ ей дѣлать Павелъ Климентьичъ.

Онъ вышелъ изъ-за кулисы. Музыка перестала играть, докторъ Тиріони взялъ колоду картъ и, тасуя, обратился къ публикѣ съ рѣчью. Онъ старался говорить съ иностраннымъ акцентомъ и разсказывалъ о томъ, какъ персидскій шахъ «много былъ удивленъ» ловкостью рукъ его, доктора Тиріони. Пока онъ говорилъ, карты образовали огромный плоскій кругъ, который, съ легкимъ шумомъ, завертѣлся на его пальцѣ, быстро съуживаясь. Потомъ онъ роздалъ карты публикѣ, и черезъ нѣсколько минутъ онѣ появились на остріяхъ золотой звѣзды, блестѣвшей на темномъ фонѣ задней кулисы. Онъ приказалъ, и карты мгновенно выросли, принявъ размѣръ листа писчей бумаги: огромный бубновый тузъ, огромный валетъ пикъ, огромная десятка червей...

Докторъ Тиріони бралъ у дамъ платки, разрывалъ ихъ на длинныя узкія полоски и возвращалъ въ цѣломъ видѣ, прикрѣпленными къ распущенному зонтику; вдобавокъ они были выглажены и надушены. Первый рядъ креселъ онъ угостилъ кофеемъ; напитокъ закипѣлъ отъ пистолетнаго выстрѣла. Давно не видѣлъ городъ такого фокусника!

Марилька стояла въ сторонѣ. Иногда Павелъ Климентьичъ ронялъ коротенькое приказаніе, и она машинально исполняла его. Не одна пара глазъ внимательно слѣдила за этой тоненькой, худенькой женщиной съ неподвижнымъ лицомъ.

Въ «японскихъ играхъ», магикъ, поднявъ глаза къ потолку, бросалъ вверхъ металлическіе шарики; музыка играла; шарики быстро летѣли одинъ за другимъ, сверкая и образуя красивую линію. Въ заключеніе, онъ ловилъ головою бомбу.

Началось третье отдѣленіе. Докторъ Тиріони хотѣлъ разоблачить «шарлатанизмъ спиритизма», какъ гласила афиша. Онъ сѣлъ, заложивъ руки за спинку стула.

— Господа, кому угодно связать мнѣ руки?—спросилъ онъ.

Нашелся отставной морякъ, который умѣлъ вязать мертвые узлы. Онъ такъ связалъ магика, что тотъ побагровѣлъ. Но не успѣлъ морякъ отойти, какъ докторъ Тиріони показалъ руку, уже свободную отъ веревокъ. Ему рукоплескали, кричали «браво»! Онъ съ улыбкой наклонялъ голову и изысканно-вѣжливо прикладывалъ руку къ сердцу.

Спиритизмъ былъ посрамленъ.

— Тутъ все зависитъ отъ ловкости рукъ. Удивляться нечему. Но есть въ мірѣ вещи, дѣйствительно поражающія смертный умъ, началъ докторъ Тиріони, вставая и подходя къ Марилькѣ. Онъ взялъ ее за руку и продолжалъ:—Существуетъ животный магнетизмъ, и я прошу вашего снисходительнаго вниманія—взглянуть на эту прекрасную особу, полную силъ и здоровья... Сейчасъ она впадетъ въ сомнамбулическій сонъ, и вы, милостивые государыни и государи, сдѣлаетесь изумленными зрителями одного изъ чудеснѣйшихъ явленій таинственнаго храма науки...

На Марилькѣ теперь было длинное бѣлое платье. Въ лицѣ у нея не было, по-прежнему, ни кровинки. Она стояла неподвижно, и казалась не «особой, полной силъ и здоровья», а призракомъ.

Публика видѣла, какъ магикъ, давъ ей понюхать чего-то изъ пузырька (пузырекъ былъ пустой), схватилъ ее за талію, приподнялъ, и она судорожно выпрямилась. Онъ отошелъ, а она осталась висѣть на воздухѣ, въ горизонтальномъ положеніи. Онъ махнулъ палочкой, за кулисой что-то зашипѣло, и дрожащій голубой свѣтъ облилъ спящую красавицу. Публика молчала. Дамамъ стало страшно, хотя всѣ знали, что это фокусъ. Слишкомъ мертвенно было лицо спящей красавицы—оно было мертвеннѣе гипса. Глаза не моргали и, широко раскрытые, глядѣли тупымъ холоднымъ взглядомъ. Съ окоченѣвшихъ ногъ ниспадало платье до самаго пола неподвижными складками савана. Магикъ стоялъ поодаль, любуясь эффектомъ, и ждалъ взрыва рукоплесканій.

Бенгальскій огонь догоралъ.

*

Тяжелое молчаніе залы встревожило магика. Онъ пересталъ улыбаться. Занавѣсъ упалъ. Магикъ бросился къ женѣ.

— Марилька!

Она не отозвалась.

Онъ снялъ ее со станка. Марилька была неподвижна. Магикъ слышалъ шумъ, производимый публикой, которая выходила.

Въ отчаяніи глядѣлъ онъ на жену и тормошилъ ее.

— Что съ тобой, Марилька? кричалъ онъ, склоняясь надъ ней.—Марилька!!! Эй, кто тамъ! Розалія Валентиновна! Доктора!

Розалія Валентиновна считала деньги и была слишкомъ погружена въ это занятіе. Когда ей сказали, что ее зовутъ, она оторопѣла, махнула рукой и опять принялась считать, громко произнося:

— Шестьдесятъ и шесть... восемьдесятъ одинъ, а три—восемьдесятъ четыре... девяносто...

— Доктора!—кричалъ магикъ.

Явился докторъ. Онъ стремительно нагнулся къ Марилькѣ и сталъ слушать у ней сердце.

— Обморокъ... — проговорилъ докторъ:—не тревожьтесь...

Когда брызнули водой на ея лицо, она глубоко вздохнула. Первая фраза, которую произнесла Марилька, увидѣвъ доктора, была:

— Сеня умеръ!..

Магикъ вдрогнулъ.

— Вы ушли—и онъ умеръ,—продолжала Марилька.

Магикъ сталъ плакать. Марилька сидѣла на табуреткѣ, въ своемъ длинномъ платьѣ, съ волосами, распущенными по плечамъ, и молчала. Она чувствовала слабость въ рукахъ и ногахъ, свинцовую тяжесть въ головѣ. Глаза у ней были сухи.

Въ залѣ уже никого не было, и сквозь дыры ситцеваго занавѣса бросали на эстраду тусклый свѣтъ догорающія свѣчи бронзовой люстры.

XI

Два дня пилъ докторъ Тиріони. Онъ дулъ вино стаканами, и такимъ образомъ грусть его постепенно уменьшалась. Сеню похоронили безъ него. Магикъ сказалъ, что видъ гроба, опускаемаго въ землю, убьетъ его. Марилька сѣла на извощика вмѣстѣ съ Розаліей Валентиновной, взяла на колѣни гробикъ и поѣхала на кладбище. Розалія Валентиновна прикладывала платокъ къ глазамъ и, посматривая изъподъ него на Марильку, внутренно укоряла ее въ безчувственности: Марилька не говорила ничего о мальчикѣ, не плакала, не вздыхала и тупо глядѣла на розовый гробикъ, откуда по временамъ подымался тяжелый запахъ. Розалія Валентиновна затыкала носъ, и слезы текли обильнѣе по ея землистымъ, дряблымъ щекамъ. На кладбищѣ Розалію Валентиновну удивило, что Марилька ни разу «не перекрестила лба». Равнодушіе Марильки даже оскорбило ее. Сама она была

религіозна и строго наблюдала за аккуратнымъ посѣщеніемъ церкви по праздничнымъ днямъ барышнями, которыя жили въ содержимомъ ею домѣ.

Въ этотъ день погода была хорошая, и почти лѣтнее солнце освѣщало позументный крестъ на крышкѣ гробика. Когда все было кончено, Марилька постояла надъ ямой, быстро закидываемой могильщикомъ комьями сырой глины, и вернулась домой.

Павелъ Климентьичъ укладывалъ аппараты, но увидѣвъ жену, приказалъ, чтобъ она укладывала. Она машинально повиновалась. Самъ онъ тоскливо глядѣлъ въ окно, ругалъ за глаза Розалію Валентиновну, укравшую добрую половину сбора, и скучалъ тою лѣнивою скукой, какою скучаютъ нищіе и актеры, когда имъ приходится сидѣть дома. Воспоминаніе о ребенкѣ мучило его, хотя плакать онъ уже пересталъ. Теперь потеря не казалась ему такой огромной, какъ два дня тому назадъ.

Они выѣхали изъ города послѣ обѣда.

Было такъ тепло, что во многихъ домахъ открыли окна. Въ одномъ изъ оконъ сидѣлъ докторъ. Магикъ поклонился ему. Докторъ, узнавъ Марильку, отскочилъ отъ окна.

Потянулись дни за днями. Прошло два года. Случалось доктору Тиріони голодать, случалось и пировать. Двадцать разъ закладывалъ магикъ свой чемоданъ, и рѣдко выкупалъ его. Обыкновенно, при деньгахъ, все дѣлалось новое. Этотъ нищій не зналъ деньгамъ счета. Онъ колесилъ по югу Россіи, давалъ представленія въ театрахъ, въ частныхъ залахъ, даже на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, на пароходахъ. Когда ему надоѣдали степи, онъ появлялся во Владикавказѣ; переваливался черезъ горы, покрытыя льдомъ и снѣгомъ, выпускалъ въ Тифлисѣ саженныя афиши, пилъ вино изъ козьихъ мѣховъ, объѣдался виноградомъ, ходилъ въ шолковыхъ рубахахъ.

Потомъ его тянуло дальше, и онъ «работалъ» въ Батумѣ, въ Сухумъ-Кале. Сердце его замирало при видѣ черныхъ

нефтяныхъ болотъ, или грозно навпсшихъ надъ дорогою скалъ, которыя вотъ-вотъ сорвутся и раздавятъ поѣздъ. Скорпіоны и сороконожки приводили его въ ужасъ. Пальмы, олеандры и темносинее небо заставляли улыбаться.

Вдругъ, онъ покидалъ Малую Азію, давалъ представленія въ Керчи, въ Евпаторіи, или останавливался въ Тамани, купался въ морѣ. Онъ сладко спалъ подъ журчанье бахчисарайскихъ фонтановъ, угощалъ въ Одессѣ водкой и пивомъ газетныхъ рецензентовъ, пробирался въ чистенькіе города Царства Польскаго, посматривалъ на бѣлолицыхъ полекъ, и велъ себя, словно полякъ—вѣжливо, но съ «гоноромъ»: даже полиціймейстерамъ подавалъ руку. Въ мѣстечкахъ-же сѣверо-западнаго края, гдѣ можно было утонуть въ грязи, онъ чувствовалъ себя приниженнымъ и трепеталъ передъ каждымъ урядникомъ. Онъ нигдѣ не могъ жить долго. Онъ привыкъ странствовать, и ему нравилась эта цыганская доля, полная приключеній и тревогъ. Осѣдлая жизнь убила бы его.

какъ убиваетъ стоячая вода рѣчную рыбу. Сегодня онъ въ вагонѣ, завтра на пароходѣ, затѣмъ на перекладныхъ, а черезъ недѣлю или черезъ двѣ—на верблюдахъ, съ провожатымъ въ мохнатой папахѣ, у котораго кинжалъ въ зубахъ и яркіе, какъ у волка, глаза.

И всюду ѣздила съ нимъ Марилька. Она была ему нужна, и онъ любилъ ее. Правда, онъ былъ легкомысленный человѣкъ, и мечталъ иногда о другихъ красивыхъ женщинахъ, даже о Пашкѣ; но, съ одной стороны, красный носъ—недостатокъ этотъ дѣлался особенно замѣтенъ, благодаря величинѣ органа—мѣшалъ ему покорять сердца; а съ другой—докторъ Тиріони уже старѣлъ, и предпріимчивость его по части покоренія женскихъ сердецъ начинала ограничиваться однѣми мечтами. Жена была необходима.

У нихъ не было дѣтей. О Сенѣ они вслухъ никогда не вспоминали. Докторъ Тиріони, вздыхая, разсказывалъ о немъ чужимъ людямъ, но при женѣ—молчалъ. Иногда, «сорвавъ» сборъ въ двѣсти или

триста рублей, онъ подумывалъ о томъ, чтобъ спрятать что-нибудь на черный день. День, два онъ былъ благоразуменъ. «Нельзя жить на авось; придетъ старость, захочется отдохнуть, и тогда свой уголъ пригодится», разсуждалъ онъ. Но приходили гости, начиналась игра на билліардѣ, въ карты, стоялъ пиръ горой, и деньги спускались всѣ до копѣйки.

Со времени смерти Сени, Марилька страшно измѣнилась. Она никогда не улыбалась и никогда не плакала. Однажды магикъ замахнулся, чтобъ ударить ее. Марилька повернула къ нему лицо, и глаза ея смотрѣли безъ страха и безъ гнѣва. Онъ опустилъ руку, ему стало стыдно. Онъ понялъ, какая бездна горя таится въ этой несчастной душѣ. Марилька забывала ѣсть, и хотя попрежнему была дѣятельна, но передвигалась и работала, какъ автоматъ. Часто ночью магикъ, проснувшись, видѣлъ, какъ неподвижно сидитъ она на постели, уронивъ руки, облитая луннымъ свѣтомъ бѣлая, какъ статуя.

Однимъ изъ самыхъ пламенныхъ желаній ея было увидѣть Сеню во снѣ. Она говорила себѣ, что живетъ только въ ожиданіи этого счастья. Но ни разу не снился ей Сеня. Сны у ней были черные. Тянулись какіе-то безконечные запутанные коридоры, и тѣни безъ очерка носились по нимъ. А она бѣжала среди этой безформенной толпы, по этому лабиринту, гонимая неопредѣленнымъ страхомъ, или въ тоскѣ ломая руки.

Съ ней часто случались обмороки. Ей стоило пристально посмотрѣть на одну точку, и она впадала въ полузабытье. Каждый разъ, какъ она изображала «Спящую красавицу», у ней бывали припадки, которые доктора называли *каталепсіей*.

XII

Стояло жаркое лѣто. Докторъ Тиріони давалъ представленія въ садахъ—въ Екатеринославѣ, въ Черкасахъ, въ Кременчугѣ. Сборы были плохіе. Приходилось

закладывать вещи, чтобъ расплатиться въ гостиницѣ, и ѣхать дальше. По дорогѣ изъ Козельца въ Черниговъ пассажиры должны были выйти изъ дилижанса: сломалось колесо. Въ числѣ пассажировъ былъ и Павелъ Климентьичъ съ Марилькой. Онъ подалъ ей руку, и они до станціи шли пѣшкомъ.

Но молодая женщина была слаба. Красная крыша станціи виднѣлась впереди изъ за блѣднозеленыхъ ивъ. Марилькѣ захотѣлось отдохнуть подъ грушиной, которая бросала прохладную тѣнь на траву. Павелъ Климентьичъ самъ усталъ. Они разостлали платокъ и прилегли.

Серебристыя облака плыли въ синемъ небѣ. Шоссе уходило въ даль, прямое какъ лучъ. Вѣтра почти не было, но пыль неслась по дорогѣ лѣнивыми вихрями.

Въ травѣ, возлѣ кучки щебня, что-то зашевелилось. Въ то время, какъ Павелъ Климентьичъ, ловилъ у себя на лицѣ докучнаго овода, Марилька съ возроставшимъ любопытствомъ смотрѣла на небольшую птичку. Птичка, въ свою очередь,

глядѣла на Марильку однимъ глазомъ, что̀ придавало ей хитрый видъ. Птичка, нисколько не испугалась, когда Марилька протянула къ ней руку; она стала смѣшно прыгать на тоненькой, какъ проволока, ножкѣ; другая ножка у ней была исковерканная. Эта ласковая хроменькая птичка въ первый разъ заставила Марильку улыбнуться. Нахохлившись, птичка вдругъ закричала:

— Шпачка крмить! Крмить шпачка! Крмить! Крмить!

У молодой женщины сердце забилось отъ испуга и отъ какого-то неопредѣленнаго суевѣрнаго чувства. Она взяла скворца на руку, а онъ сталъ ударять по ея ладони короткими подрѣзанными крылышками и все кричалъ:

— Шпачка крмить! Крмить шпачка! крмить!

Марилька съ восторгомъ посмотрѣла на мужа. Тотъ уже давно обратилъ вниманіе на птичку. Онъ широко улыбнулся, нѣжно погладилъ скворца, и спросилъ:

— Дать шпачку мушку?

— Шпачка кормить! — повторялъ скворецъ.

— Можетъ быть, это Сенина душа,— сказалъ серьёзно магикъ.—Ишь какъ ласкается!

Поймавъ на носу овода, онъ протянулъ его птичкѣ, и она расклевала и съѣла насѣкомое.

Марилька дрожала, точно въ лихорадкѣ. Глаза ея сверкали, полные радостныхъ слезъ. Она цѣловала птичку, не сводила съ нея взгляда, и въ круглыхъ, черныхъ глазкахъ шпачка, блиставшихъ, какъ двѣ гранатинки, она видѣла искру человѣческой мысли.

— О, шпачòкъ! Малюточка!

Она тысячу разъ заставляла его говорить. Розовыя пятна выступили на ея блѣдномъ лицѣ, въ ослабленныхъ членахъ она почувствовала бодрость, грудь дышала легко.

На станціи былъ запасной дилижансъ, обломавшійся въ прошлый разъ, но теперь исправленный. Онъ стоялъ передъ крыльцомъ; закладывали лошадей. Пассажиры

скептически посматривали на пузатый желтый кузовъ, пробовали руками, и дилижансъ тяжело качался на рессорахъ.

— Ну, да какъ-нибудь доѣдемъ!

— Богъ дастъ, доѣдемъ! — говорилъ кондукторъ.—Садитесь, господа!

Марилька забилась въ уголъ съ своимъ шпачкомъ. Павелъ Климентьичъ сѣлъ на козлахъ: онъ любилъ смотрѣть, какъ бѣгутъ лошади. Остальная публика закусывала и не торопилась. Жара была удушающая.

Дѣтскій плачъ доносился до Марильки. Мальчикъ утиралъ кулаками слезы и сидѣлъ на крылечкѣ.

— Что, братъ, потерялъ птичку?—сказалъ чей-то голосъ.

— По-те-ряялъ!..

— Чего же плакать? Надо быть мужчиной... Ступай на кухню, возьми соли и посыпь шпачку на хвостъ... Навѣрно, поймаешь!

Мальчикъ замолкъ. Онъ куда-то ушелъ, должно быть, за солью. Но скоро онъ опять появился.

— А гдѣ же шпачокъ?—крикнулъ мальчикъ въ отчаяніи и залился новыми слезами.

Марилька трепетала. Ей было жаль мальчика, но у ней самой подступали слезы къ горлу при мысли, что она можетъ разстаться съ птичкой, и мало-по-малу жалость уступила мѣсто раздраженію противъ мальчика. Онъ казался ей глупымъ плаксой, уродливымъ, злымъ. Когда пассажиры усѣлись, и дилижансъ, наконецъ, тронулся, она вздохнула съ облегченіемъ и тихонько поцѣловала скворца, глянувъ на всѣхъ радостными глазами.

Передъ вечеромъ они пріѣхали въ Черниговъ.

Магикъ остановился въ гостиницѣ средней руки.

— Тутъ, братецъ, спокойно?—съ важностью спросилъ онъ у полового.

— Спокойно,—отвѣчалъ половой.—Но только рядомъ барышня.

Онъ двусмысленно улыбнулся.

— А!

Магикъ приказалъ подать обѣдъ съ виномъ и кофе. Все было подано, и Павелъ

Климентьичъ сытно поѣлъ и выпилъ. Марилька ѣла мало и усердно кормила шпачка.

Въ Черниговѣ докторъ Тиріони засидѣлся. Представленія были не всегда удачны. Явился соперникъ, который глоталъ шпаги. Докторъ Тиріони смотрѣлъ на конкуррента съ презрѣніемъ; то было низшее искусство. Но публикѣ нравилось, когда несчастный вытаскивалъ изъ горла коротенькій клинокъ, и на тупомъ желѣзѣ виднѣлись слѣды крови. Сборы особенно стали плохи, когда заболѣла Марилька.

Марилька стала все чаще и чаще засыпать. Согнувъ руку, она ужъ не могла ее разогнуть. Опустивъ вѣки, она долго не могла ихъ поднять. Странное оцѣпенѣніе съ каждымъ днемъ сильнѣе охватывало ее. Воля ея умирала.

Но когда она не спала, въ ея ясныхъ глазахъ читалось чувство какого-то удовлетворенія. По цѣлымъ часамъ просиживала она на постели, лаская скворца, который страшно растолстѣлъ и выучился цѣловаться, какъ голубь.

Ей все казалось, что кругомъ сумерки.

Свѣчка, зажженная вечеромъ, представлялась ей горящей гдѣ-то безконечно-далеко, тусклымъ пятномъ. Очертанія предметовъ расплывались. Но она слышала малѣйшій шумъ—даже сквозь сонъ. И по шуму она заключала о внѣшнемъ мірѣ.

Однажды ей почудилось, что Пашка, о которой иногда шутя вспоминалъ ея мужъ, тутъ за стѣной, и у ней Павелъ Климентьичъ. Они шепчутся, и передъ ними вино, которое они дружески распиваютъ. Марилька вздрогнула и проснулась. Но шопотъ продолжался... Странный шопотъ...

Съ этихъ поръ Марилька почувствовала отвращеніе къ мужу. Она старалась не глядѣть на него, а когда онъ прикасался къ ней, она впадала въ глубокій обморокъ. Она лежала тогда на спинѣ, блѣдная, какъ воскъ, почти мертвая, вытянувъ ноги и сложивъ на груди руки; на худенькомъ плечѣ ея, нахохлившись, неподвижный, какъ и она, сидѣлъ скворецъ и странно смотрѣлъ на Павла Климентьича, зажмуривъ одинъ глазъ.

Марилька была убѣждена, что мужъ

гнетится ею. Она ѣла все меньше и меньше. Платья, башмаки—все было цѣло. Она ничего почти не носила и радовалась, что Павелъ Климентьичъ на нее не тратится.

Черниговскіе доктора не понимали ея болѣзни. Одному изъ нихъ показалось, что сонъ молодой женщины притворный. Докторъ прижегъ ей локоть папироской и запустилъ въ руку булавку. Марилька застонала сквозь сонъ. Докторъ хитро улыбнулся въ свою великолѣпную рыжую бороду и ушелъ, ничего не прописавъ.

Марилькѣ не казалось, что она больна. Міръ, который она создала въ самой себѣ, былъ лучше міра, который она знала до сихъ поръ, и ей снились чудные сны!

Она видѣла себя свободной, красивой, нарядной дѣвушкой, которая гордится своей чистотой. То она идетъ по полю, которое волнуется, золотистое, при розовомъ свѣтѣ зари, то сидитъ въ саду и поетъ пѣсню. Ей снилась мать. Ей снилась вся ея жизнь, но не такая, какъ на самомъ дѣлѣ, полная слезъ, мерзкихъ оскорбленій, горя, а иная...

Жизнь, которою она хотѣла бы жить, которою, можетъ быть, живутъ другія, взысканныя судьбою счастливицы! И все ей снился тотъ хуторокъ, о которомъ прежде она такъ мечтала съ Павломъ Климентьичемъ, бѣлый, уютный, окруженный вишневыми деревцами и посолнечниками.

Сумерки кругомъ становились все гуще. Марилька перестала различать день и ночь. Однажды, освободившись отъ оцѣпенѣнія, она почти ощупью нашла на подоконникѣ чашку съ манной кашей и, дѣлая страшныя усилія, чтобъ не уронить ее, покормила скворца. Павла Климентьича въ комнатѣ не было. Въ отворенную форточку вскочилъ большой сѣрый котъ и, прижавшись брюхомъ къ землѣ, сталъ нѣжно смотрѣть на скворца. Но Марилька не могла ни крикнуть, ни махнуть рукой. Она опять засыпала.

То былъ послѣдній сонъ Марильки.

Огромный поѣздъ приснился ей. Не было видно ни конца, ни начала этой цѣпи вагоновъ. Они медленно катились, съ мѣрнымъ гармоничнымъ лязгомъ, и всѣ пас-

толстые и съ жестокими лицами, смотрѣли на Марильку, одиноко стоящую на пустынной платформѣ. Тусклый свѣтъ падалъ сверху. Вдругъ она увидѣла въ вагонѣ третьяго класса, гдѣ былъ простой народъ, человѣка съ привѣтливой улыбкой. Марилька сейчасъ же узнала, что это Христосъ, потому что онъ былъ красавецъ, босой и одѣтъ, какъ нищій. На колѣняхъ у него сидѣлъ Сеня; мальчикъ былъ въ одной рубашечкѣ; онъ смѣялся и держалъ въ ручкахъ шпачка. Марилька вскрикнула, охваченная неизъяснимой радостью, и побѣжала по платформѣ.

Вагоны все двигались, исчезая въ густѣющемъ сумракѣ вѣчной ночи.

Октябрь 1883.

СОНЪ

По Кловскому спуску — это было въ Кіевѣ—часовъ въ пять, зимою, поднималась худая старуха. Рыжій, нѣкогда черный платокъ, покрывалъ ея голову и плечи; одѣта она была въ отрепанный салопъ. Старуха шла одиноко. На мѣстѣ заката расплывалась вечерняя заря широкимъ розовымъ пятномъ, и по дорогѣ отъ горъ ложились на снѣгъ синія тѣни.

Старуха возвращалась съ Подола, гдѣ продала старые сапоги мужа, и въ карманѣ у ней, въ крѣпко завязанномъ узелкѣ носоваго платка, лежало тридцать копѣекъ.

На эти тридцать копѣекъ она съ мужемъ и дочерью Настенькою встрѣтитъ праздникъ Рождества Христова.

Тишина лежала мертвая. Тополи тяну-

лись двумя рядами до Печерска, неподвижные и бѣлые отъ инея — точно призраки. И въ сизомъ небѣ загорались звѣзды.

Изъ оврага вышелъ человѣкъ. Старуха испугалась, ея рука невольно опустилась въ карманъ и крѣпко сжала деньги. Человѣкъ сдѣлалъ два шага и остановился.

Отъ мороза захватывало дыханіе, да и отъ страха. Глаза старухи вцпились въ человѣка. Она повернула къ нему лицо. Сердце у ней билось такъ, что она слышала его удары.

Тридцать копѣекъ пустыя деньги, но голодному человѣку—находка.

Съ какой смертельной тоской подвигалась старуха! Но вотъ человѣкъ ступилъ еще.

Ясцѣе выдѣлилась фигура чернобородаго молодца, въ мѣховой шапкѣ и въ хорошей шубкѣ... Ахъ, грѣхъ какой! Никакъ знакомый?

— Никита Васильевичъ, вы?

— Я, голубушка Прасковья Ниловна!

отвѣчалъ человѣкъ молодымъ пріятнымъ басомъ. Съ наступающимъ праздникомъ васъ!

— Васъ также... Да что вы, батюшка, людей пугаете?—начала вдругъ сердито старуха.

Никита Васильевичъ, мелочной торговецъ, по фамиліи Приспѣлкинъ, подошелъ ближе къ Прасковьѣ Ниловнѣ и подалъ руку, низко снявъ шапку. Онъ былъ родомъ изъ Москвы и любилъ тонкое обращеніе.

— Отнюдь не желалъ я пугать васъ, голубушка Прасковья Ниловна. Въ добромъ-ли вы здоровьѣ? И въ добромъ-ли здоровьѣ супругъ вашъ? И какъ поживаетъ Настасья Егоровна?

Въ жилахъ старухи текла дворянская кровь. У отца ея подъ Кишиневомъ когда-то былъ виноградникъ. Ей ничего не досталось, она противъ воли родительской обвѣнчалась съ военнымъ писаремъ, Егоромъ Ивановичемъ Свистуномъ, впавшимъ теперь, по случаю старости, въ безъисходную бѣдность. Онъ вышелъ въ отставку

съ званіемъ кандидата на классныя должности и получаетъ отъ казны восемь рублей въ мѣсяцъ пенсіи.

Она отвѣчала:

— Благодарствуйте. Славу Богу, живемъ, не жалуемся. А Настенька хорошѣетъ. Выдадимъ за благороднаго!

Приспѣлкинъ вздохнулъ и погладилъ бороду.

Онъ предложилъ Прасковьѣ Ниловнѣ, проводить ее до ихъ улицы. Прасковья Ниловна стала добрѣе. Она чувствовала, какъ расположенъ къ нимъ этотъ человѣкъ. Ей иногда казалось, что она видитъ его насквозь, знаетъ всѣ его помыслы. Они шли и разговаривали о томъ, какъ недѣлю тому назадъ на этомъ самомъ мѣстѣ ограбили ихъ сосѣдку, повивальную бабку.

Они вошли въ длинную темную улицу, гдѣ горѣли керасиновые фонари и дома были одноэтажные, покосившіеся, и все какіе-то мрачные и безмолвные, съ окнами тускло-желтыми, или черными, или красными, какъ кровь.

— Праздникъ небось встрѣчаютъ,—сказала Прасковья Ниловна.

— Встрѣчаютъ, — отвѣчалъ Приспѣлкинъ.—Звѣзды ужъ давно высыпали.

— Лавки-то не заперты?

— Я свою заперъ. А вамъ что надо?

— На пятачекъ сахару, да на пятачекъ чаю... Да вотъ-бы еще булочку. Да старику моему рыбки маринованной на пятачекъ, въ трактиръ-бы забѣжать. Да водочки крючекъ. А кутья у насъ есть. Ну, пожалуй, что и Настенька что-нибудь домой принесла. Вышивала она рубашку кондитеру. Рубликъ дастъ матери. Тогда-бы хорошо купить для завтрашняго дня колбаски, да еще гусятинки старику. Очень онъ любитъ гусятинку.

— Торопитесь, голубушка,— замѣтилъ мелочной торговецъ и сталъ прощаться. Теперь въ обратный путь, — прибавилъ онъ.

— Именно куда?—спросила Прасковья Ниловна, желая быть внимательной въ возмездіе за его любезность.

— Да такъ... родныхъ у меня нѣту...

Пойду на Крещатикъ, къ знакомому, авось кручину развѣю,—грустно отвѣчалъ Приспѣлкинъ.

Прасковья Ниловна продолжала:

— Въ семейный домъ?

— Нѣтъ, къ такому-жъ. какъ я... Не очень-то, правду сказать, и хочется.

— Такъ лучше къ намъ, на кутью!— гостепріимно воскликнула Прасковья Ниловна и прикусила языкъ. Она вспомнила, что угощать—нечѣмъ. И самимъ, навѣрно, не хватитъ! Но слово, что воробей: выпустила—не поймаешь. Приспѣлкинъ, къ тому-же, уже поблагодарилъ. Онъ обѣщалъ придти черезъ полчаса. Онъ только зайдетъ домой и пріодѣнется. Онъ не хочетъ, чтобъ гордая Настасья Егоровна осмѣяла его костюмъ, который онъ носитъ «по купечеству». У него есть «цивильное» платье.

— Какъ это случилось—ума не приложу!—говорила себѣ Прасковья Ниловна, дѣлая покупки.

Немного ихъ было, когда она пришла домой. Свистуны, или какъ предпочитала

выражаться Прасковья Ниловна, Свистуновы—жили въ мезонинчикѣ. Надо было подниматься по отвѣсной и узкой лѣсенкѣ, въ темнотѣ. Лѣсенка дрожала и скрипѣла; у Прасковьи Ниловны отъ страха подсѣкались ноги. Она вообще боялась темноты и боялась лѣстницъ. Наконецъ, дверь отворилась, и на нее пахнуло тепломъ. Старикъ хоть и былъ боленъ, но всѣ эти дни таскалъ щепки и сухой бурьянъ. Сѣнцы завалены топливомъ. Желѣзная печка, стоявшая въ углу на четырехъ кирпичахъ, накалилась до красна. Полъ еще съ утра чисто вымытъ, и надъ кроватью старика, въ розовомъ сумракѣ комнаты, рельефно выступала съ ковра, купленнаго въ лучшія времена, бѣлая лошадь и странно скалила неестественной величины зубы.

— Вотъ, Егоръ, купила всего, сказала Прасковья Ниловна и, положивъ свертки на столъ, стала грѣть руки возлѣ печки. А Настеньки нѣтъ?

— Не приходила, отвѣчалъ Свистунъ, весело глянувъ на покупки.

Онъ лежалъ на кровати. Прасковья Ни-

ловна съ сердечной болью смотрѣла на него. Этотъ старикъ, съ совиными глазами, съ крючковатымъ носомъ и большими оттопыренными ушами, напоминавшими собою уши летучей мыши, былъ когда то, по ея мнѣнію, красавцемъ. Теперь шея у него стала тоненькая, какъ у журавля, а животъ росъ, дѣлаясь все больше съ каждымъ днемъ. Хуже всего было то, что Свистунъ былъ безпеченъ. Въ послѣднее время въ немъ развилась непонятная веселость. Онъ голодалъ и все-таки смѣялся. И когда ему говорили, что у него водянка, онъ хлопалъ себя по животу коротенькими ручками, точно по барабану, и глупо улыбался.

— А табачку купила? спросилъ онъ.

— Еще чего захотѣлось?!

— Ну, и ладно. А гусятинки?

— Гусятинки! передразнила его жена.

— Ладно. Зачѣмъ сердиться!

Онъ сталъ что-то напѣвать и по временамъ заливался тихимъ разсыпчатымъ смѣхомъ, между тѣмъ какъ жена возилась съ самоваромъ и накрывала столъ.

— Ой, жжетъ! Ой жжетъ! началъ кричать старикъ.

— Что жжетъ? Гдѣ?

— Подъ ложечкой... А теперь сосетъ... да такъ щекотно... Ха-ха-ха-ха! Ай! Смерть какъ щекочетъ! Ха-ха-ха!

И онъ опять заливался. Прасковья Ниловна, накрывъ убогій столъ, угрюмо молчала, въ ожиданіи дочери и гостя.

У ней былъ свой сундукъ, гдѣ хранилось, кромѣ тряпья, все съѣстное, а у дочери — свой. Настенькинъ сундукъ, обитый жестью, замыкался двумя замками, наружнымъ и внутреннимъ. Въ этомъ сундукѣ было много добра. Тамъ хранились новыя шести-рублевыя ботинки, купленныя Настенькой на этой недѣлѣ. Она сказала, что въ стуколку деньги выиграла. Хранилось тамъ шелковое перекрашенное платье. Было полдюжины рубахъ съ кружевными «кокетками», было золотое съ бирюзою кольцо, зеркальце аплике, серьги съ брильянтиками. Она сказала, что серьги нашла. Были и еще разныя вещи. Старуха радовалась, что Настенька бережлива, но ее

обижала скупость дочери. Настенька никогда кусочка сахару ей не дастъ! Все собираетъ; кусковъ двадцать и теперь въ сундукѣ лежитъ. Слѣдовало бы проучить Настеньку. Взять да поѣсть безъ нея кутью. На Настенькинъ рубль надежды нѣтъ, и Прасковья Ниловна выразила ее только при чужомъ человѣкѣ, чтобъ знали, какая у ней добрая дочь.

Минутъ черезъ десять на лѣстницѣ послышался стукъ, и вошелъ мелочной торговецъ въ барашковой шубѣ и съ корзиной. Онъ снялъ шапку, помолился на образа и поклонился хозяевамъ, тряхнувъ подрѣзанными черными волосами.

— Что это вы съ корзиной?—спросила Прасковья Ниловна.

— Гусятинка! Поросеночекъ! Рыбка! Булочки!—закричалъ Свистунъ, поворачиваясь на брюхѣ, какъ на шарѣ; онъ радостно потиралъ руки.

Приспѣлкинъ подошелъ къ Прасковьѣ Ниловнѣ и склонилъ голову.

— Не взыщите за малое приношеніе...

Прасковья Ниловна сжала губы и протянула ему съ благодарностью руку.

Она хотѣла сначала отставить корзину въ уголъ, чтобъ показать, какъ мало они нуждаются. Но голодъ не тетка. Да и любопытно было, что тамъ такое, въ самомъ дѣлѣ. Въ кулечкахъ оказался изюмъ, черносливъ, сахаръ, миндаль, орѣшки. И кромѣ предметовъ, перечисленныхъ Свистуномъ, она достала изъ корзины вяленаго карпа, десятокъ сельдей, причемъ дворянскій носъ ея различилъ сейчасъ-же, что сельди хорошія, голландскія, первый сортъ. Наконецъ, блеснуло горлышко очищенной. Старуха все, что было постнаго, поставила на столъ, и трапеза предстояла обильная. Свистунъ, бесѣдуя съ Приспѣлкинымъ (который плохо слушалъ его, все поглядывая на дверь, не войдетъ-ли Настасья Егоровна), не удержался и потихоньку стащилъ кусокъ гусятинки. Отвернувшись къ стѣнкѣ, онъ вдругъ замолчалъ и сталъ жадно пожирать мясо.

Когда Прасковья Ниловна управилась,

Приспѣлкинъ спросилъ, вытирая потъ со лба пестрымъ платкомъ:

— Что-жъ, Настасья Егоровна?

— А который теперь часъ? сказала Прасковья Ниловна.

Приспѣлкинъ вынулъ изъ бархатнаго въ зеленыхъ мушкахъ жилета золотые часы.

— Скоро восемь.

Старуха нахмурилась. Приспѣлкинъ сталъ говорить, что, быть можетъ, подружки задержали барышню, но проницательная старуха видѣла всѣ его мысли. Торговецъ думаетъ, что тутъ кондитеръ виноватъ. И хотя старуха думаетъ какъ-разъ то-же самое, но она защищаетъ дочь. Бѣдная Настенька! Ужъ какъ она трудилась! Ночей не досыпала, вышивая сорочку! А заплатятъ-ли ей за трудъ!?

Приспѣлкинъ, играя пальцами, замѣтилъ, что Настасья Егоровна могла-бы жить въ довольствѣ, что не зачѣмъ ей такъ убиваться надъ кондитерскими рубашками. И Прасковья Ниловна внутренно соглашается [illegible]. И Настенька, да и она ни въ

чемъ не нуждались-бы, еслибъ Приспѣлкинъ женился на Настенькѣ. Онъ богачъ. Ишь какіе у него часы. Но вдругъ мысль, что онъ мужикъ необразованный, смущаетъ ее... И ей, во чтобы ни стало, хочется разсѣять всѣ подозрѣнія Приспѣлкина на счетъ кондитера. Возможно-ли, чтобы ея Настенька такъ унизилась...

Свистунъ сожралъ свою гусятинку, и у него опять жжетъ и щекочетъ подъ ложечкой. Онъ легъ на спину и вытянулъ ноги. И онъ такой блѣдный, животъ его такъ вздувается, такъ странно торчатъ его уши, что Прасковья Ниловна подходитъ къ нему въ ужасѣ и тормошитъ его. Онъ поворачиваетъ къ ней лицо и хохочетъ.

— Все ладно, все ладно! произноситъ онъ, по обыкновенію, весело.

Проходитъ еще полчаса и еще. Нельзя ужъ больше ждать. Гость уныло смотрѣлъ на принесенныя имъ закуски. Прасковья Ниловна зажгла лампадку, въ комнатѣ повеселѣло, и они сѣли за ужинъ.

*

Но, кромѣ Свистуна, никто не ѣлъ. Гость надулся и иногда сквозь зубы говорилъ: «Пора-бы, кажется!» Прасковья Ниловна горѣла отъ стыда. Послѣ ужина Свистунъ прыгнулъ въ постель и, тяжело дыша, положилъ обѣ руки подъ голову и старался заснуть, хлопая глазами. Онъ лежалъ теперь бокомъ и его ноги казались спичками. Это были босыя ноги, съ огромными мозолистыми ступнями; пальцы ногъ судорожно двигались.

— Пора-бы! громко произнесъ Никита Васильевичъ въ одиннадцать часовъ, свирѣпо глянулъ на дверь и всталъ.

Прасковья Ниловна была совсѣмъ унижена. Съ притворной улыбкой, путаясь во лжи, она стала объяснять Приспѣлкину, что Настенька—она теперь вспомнила только— приглашена на сочельникъ къ генеральшѣ Звѣрюгиной и, должно быть, ее тамъ оставили ночевать. Въ то-же время она видѣла, что мелочной торговецъ этому ни на волосъ не вѣритъ, и униженіе ея еще усугубилось.

Но тутъ дверь распахнулась, и вошла

Настенька, дѣвушка лѣтъ семнадцати, съ миловиднымъ неправильнымъ личикомъ и черными, какъ у матери, глазами. На ней было новое пальто, отдѣланное плюшемъ, и алая шляпка съ бѣлымъ перомъ.

— Фуй! Какъ оливой смердитъ! вскрикнула она и съ презрѣніемъ посмотрѣла на мелочнаго торговца.

Новое пальто и алая шляпка поразили Прасковью Ниловну.

— Что вы такъ глядите, маменька? Это мнѣ сегодня подарили... Ахъ, маменька, какъ у насъ скверно! На лѣсенкѣ чуть ногъ не сломала! Папенька въ водянкѣ прохлаждаются. Вмѣсто гостя— какой-то сюжетъ неподходящій... Хоть и въ сюртукѣ, а мужикъ мужикомъ... Сами вы—нищая голодная, голодная... Денегъ у васъ нѣтъ. Сыро, со стѣнъ течетъ, плѣсенью пахнетъ. Не сегодня-завтра папенька умретъ, пенсію уполовинятъ. На что жить будемъ? А вѣдь мнѣ хочется молодость свою чѣмъ-нибудь помянуть. Что мнѣ замужъ идти за него. Онъ бить меня будетъ. Ишь какъ смотритъ! Нѣтъ,

я полюбила душончика. У него заведеніе кондитерское, каждый день двадцать рублей чистой выручки. Есть съ чего подарки дѣлать. Женѣ не сдѣлаетъ, а мнѣ сдѣлаетъ. Вы пощупайте только—матерія какая, а платье-то какое... А часики! Да онъ меня, какъ куколку, въ одинъ мигъ одѣлъ—и башмачки, и чулочки, и подвязочки.

Оиа показала подвязки. Она болтала, точно пьяная, и задыхалась отъ радости. Никита Васильевичъ угрюмо надѣвалъ шубу и лицо его побагровѣло.

Прасковья Ниловна дрожала. Ей хотѣлось кинуться на дочь и оттаскать ее за волосы. Но Настенька сильнѣе, да и чужой человѣкъ былъ въ домѣ. Она поблѣднѣла. И больше всего ужасало ее, что дочь, поступивъ на содержаніе, броситъ ее и забудетъ. Она не сомнѣвалась въ этомъ.

Настенька продолжала:

— Скучно мнѣ, маменька, у васъ было, ахъ, какъ скучно! И наголодалась я, и холоду натерпѣлась! Ничему вы не вы-

учили меня, и сами ничѣго не дѣлали. Все на что-то надѣялись... Дождались! Теперь я вольная пташка!

Она поклонилась. Прасковья Ниловна закашлялась. Это былъ припадокъ ненависти къ дочери. Она постучала кулакомъ по кулаку, но языкъ у ней точно отнялся. И она не могла встать съ мѣста.

— Я, маменька, за сундукомъ пріѣхала! сказала, наконецъ, дочь какимъ-то торжествующимъ тономъ, показавшимся старухѣ особенно обиднымъ. Мы съ вами разстаемся! Мнѣ жить тутъ больше нечего!..

У Прасковьи Ниловны брызнули слезы. Она въ отчаяньи протянула къ дочери руки. Но въ это время Приспѣлкинъ, уходя, такъ страшно хлопнулъ дверью, что весь мезонинчикъ затрясся и въ комнатѣ стало темно.

... Отъ шума и отъ душевнаго волненія Прасковья Ниловна проснулась. Она проснулась въ своей богатой пуховой постелѣ, покрытая атласнымъ стеганымъ одѣяломъ. Въ спальнѣ было свѣтло, слышался праздничный трезвонъ колоколовъ.

Сонъ былъ такой «натуральный», что Прасковья Ниловна не сразу повѣрила окружающей ее дѣйствительности. Наконецъ, она убѣдилась. Ей столько-же лѣтъ, какъ той Прасковьѣ Ниловнѣ, но она еще не старуха. Она не высохла отъ голодной жизни. Напротивъ, у ней довольно полная грудь. Она еще belle-femme. И ея черныя глаза не безъ огня, когда она смотритъ на молодыхъ людей. Она вспомнила о мужѣ. Дѣйствительно, его фамилія—Свистунъ. Но этотъ Свистунъ статскій совѣтникъ и получаетъ пять тысячъ жалованья на одной службѣ, семь на другой, четыре на третьей. У него три дома. Онъ, правда, шарообразенъ, но не отъ водянки, а отъ того, что много ѣстъ. Наконецъ, дочь ихъ Настенька, премилая дѣвушка, окончившая недавно институтъ, любитъ брильянты и любитъ одѣваться, но она выходитъ замужъ и она невинна, какъ голубь...

Кондитеръ... Какой-то Приспѣлкинъ... старые сапоги... чердакъ... И приснится-же такое!!

Она въ негодованіи на себя повернулась на другой бокъ и хотѣла еще заснуть. Но не могла. Ее все что-то безпокоило.

Наконецъ, черезъ полчаса она протянула руку къ ночному столику, взяла колокольчикъ и позвонила.

— Послушай, Катя,—сказала она вошедшей дѣвушкѣ:—вотъ тебѣ ключъ, достань изъ комода кошелекъ.

Горничная достала.

Барыня велѣла подать затѣмъ конвертъ и, положивъ въ него 25-рублевую бумажку, запечатала.

— Отнеси это сейчасъ нашимъ жильцамъ, что во флигелѣ на чердакѣ... Они голодаютъ и за квартиру не платятъ. Мнѣ они сегодня всю ночь снились, прибавила она съ раздраженіемъ. Да не говори отъ кого!

И когда горничная ушла, она потянулась и подумала:

— Во всякомъ случаѣ, это меня не разсоритъ.

Декабрь, 1883.

У дѣтей на елкѣ

Дѣти въ нарядныхъ пестрыхъ платьицахъ и праздничныхъ курточкахъ застѣнчиво столпились въ залѣ. Я вижу бѣлокурыя маленькія лица, вижу черные и сѣрые глазки, съ наивнымъ любопытствомъ устремленные на красивую гордую елку, сверкающую мишурнымъ великолѣпіемъ. Бонна зажигаетъ свѣчки, и, точно пожаръ, вспыхиваетъ елка въ этой большой комнатѣ, гдѣ, кромѣ дѣтей, сидятъ поодаль взрослые—мужчины и дамы.

Отъ елки по паркету вытянулись легкія причудливыя тѣни, и на разноцвѣтную толпу дѣтей, точно на букетъ цвѣтовъ, разсыпавшійся въ безпорядкѣ, падаютъ яркіе лучи.

Я любуюсь дѣтьми. Нельзя не загля-

дѣться на этихъ милыхъ крошекъ, чистыхъ, какъ ангелы, съ невиннымъ прошедшимъ и съ радужнымъ будущимъ. Когда отцамъ цѣна грошъ, всѣ надежды возлагаешь на дѣтей. Въ самомъ дѣлѣ, не стоило-бы, да и нельзя было-бы жить, еслибъ не было дѣтей. Жизнь, точно рѣка. Она беретъ начало изъ безконечности и впадаетъ въ безконечность. И если теперь волны ея мутны, то, можетъ, современемъ грязь осядетъ и ихъ смѣнятъ прозрачныя, кристальныя струи...

Я думалъ эту думу, глядя на дѣтей. И меня особенно плѣняла трехлѣтняя крошка, съ коротко остриженными черными волосиками, съ голыми пухлыми ручками, съ голыми колѣнками. Она была въ бѣленькомъ платьицѣ, низко перевязанномъ лентой огненнаго цвѣта. Она посматривала на елку съ восторгомъ и недоумѣніемъ. Можетъ быть, она первый разъ видѣла елку. Но какъ только ей хотѣлось шумнымъ движеніемъ выразить свою радость, она въ страхѣ косилась на уголъ, гдѣ неподвижно стоялъ старикъ въ черномъ сюртукѣ

и съ гладко выбритымъ лицомъ. Я вскорѣ замѣтилъ, что всѣ дѣти боятся этого старика. Оттого они такъ застѣнчивы и такъ не по дѣтски приличны.

Когда дѣтямъ были розданы подарки, и гувернантка заиграла на фортепьяно, и дѣти стали танцовать, чинно и скучно, каждый разъ благодаря своихъ дамъ, усиленно шаркая ножкой и разговаривая между собою шопотомъ, я подозвалъ знакомую дѣвочку гимназистку и спросилъ:

— Скажите, кто этотъ старикъ?

Она покраснѣла, засмѣялась и хотѣла убѣжать, но я удержалъ ее за руку.

— Отчего-же вы не отвѣчаете?

— Это Старый Годъ, я его такъ прозвала! проговорила она чуть слышно, лукаво сверкнувъ своими карими глазками, и затѣмъ прибавила:—Потому что онъ самый старый здѣсь! Сейчасъ тотъ мальчикъ разсказалъ намъ, что Старый Годъ ужасно злой. И бѣдная Соня—она указала на крошечную дѣвочку, которая мнѣ такъ понравилась—чуть не заплакала отъ страха... А знаете, мнѣ пришла мысль наз-

вать ее Новымъ Годомъ... потому что она самая молоденькая!

Сказавъ это, гимназистка бросилась отъ меня со всѣхъ ногъ и, схвативъ Соню на руки, закружилась по комнатѣ. Старикъ нахмурилъ густыя сѣдыя брови, нижняя губа его отвисла. Соня увидѣла его и расплакалась. Дѣти, разыгравшіяся было, притихли.

Я подошелъ къ старику. Онъ тупо взглянулъ на меня и сказалъ:

— Веселятся!.. Глупыя! Поставь имъ елку, навѣшай того, сего, прочаго, и довольно... Юный возрастъ! Юный возрастъ!

— Дѣти какъ дѣти, произнесъ я, чувствуя себя почему-то неловко передъ этимъ глубокимъ старикомъ.

— Это ваша дѣвочка? съ кислой гримасой спросилъ онъ, указывая на гимназистку, издали посматривавшую на насъ не очень-то дружелюбно.

— Нѣтъ. У меня нѣтъ дѣтей.

— Счастливый человѣкъ вы, милостивый государь, проговорилъ старикъ.

Я взглянулъ на него съ изумленіемъ.

— А у васъ есть дѣти?

Старикъ отыскалъ глазами икону, висѣвшую въ противоположномъ углу, и набожно сказалъ:

— Благодареніе Господу Богу моему, не имѣлъ и не имѣю... И не буду имѣть! Я ненавижу дѣтей, убѣжденно произнесъ онъ.

— Откуда-жъ у васъ такая ненависть къ дѣтямъ? спросилъ я.

— Я, милостивый государь, вотъ ужъ двадцать лѣтъ директоромъ учебнаго заведенія и имѣлъ время возненавидѣть ихъ...

Онъ распространился въ описаніяхъ дѣтскихъ шалостей; губа его отвисала все больше и больше, и было непріятно смотрѣть на его брезгливое и жестокое лицо.

Когда онъ кончилъ, я сказалъ:

— А вѣдь они не ошиблись. Вы знаете, всѣ эти дѣти, вотъ эти милыя, хорошія дѣти, съ неиспорченными благоухающими сердцами, не любятъ васъ. Эту дѣвочку, вонъ видите, въ бѣленькомъ платьицѣ...

— Знаю я ее, скверная дѣвочка, проговорилъ старикъ.

— Такъ эту дѣвочку, продолжалъ я:— дѣти прозвали Новымъ Годомъ, а васъ Старымъ Годомъ. И такъ какъ старый годъ былъ отвратительный годъ, то изъ этого вы можете заключить...

Старикъ посмотрѣлъ на меня, нахмурившись.

— Повѣрьте, что ихъ наказывать надо. Сегодня елка, завтра розги. Я изумляюсь, милостивый государь, что вы находите въ нихъ милаго и благоуханнаго. А впрочемъ—честь имѣю быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою.

Онъ сухо и гнѣвно поклонился. Больше мы не разговаривали. Ровно въ двѣнадцать часовъ уѣхалъ этотъ старикъ. Моя гимназистка захлопала въ ладоши. Маленькихъ увезли раньше. Остались только дѣти лѣтъ по десяти, по двѣнадцати. Но Соня тоже осталась. И когда, среди внезапнаго оживленія, дѣти закружились съ громкимъ смѣхомъ около потухшей елки, крошечная дѣвочка вертѣлась тутъ-же, весело поѣдая

конфекты, бѣлая, какъ пушинка, въ красномъ колпакѣ, доставшемся ей въ подарокъ, и кричала:

— Я Новый Годъ! Я Новый Годъ!

Январь, 1884.

ТИПЫ ЦАРСКАГО САДА

Изъ альбома художника

И. Е. Рѣпину

I

ДВОРЯНСКАЯ ДОЧЬ

День выдался жаркій, хоть и апрѣльскій, и въ тепломъ пальто было тяжело бродить по откосамъ и крутизнамъ Царскаго сада, въ надеждѣ встрѣтить живописное мѣстечко и зачертить въ альбомъ. Живописныхъ мѣстечекъ тутъ, разумѣется, множество, и оттого для нашего брата, художника, такъ затруднителенъ выборъ: и направо дерево дуплистое, корявое, раскидистое, старое, такое, что, глядя на него,

душа радуется; и налѣво, чуднаго весенняго тона, и прямо, и куда ни кинешь глазомъ.

Полчаса проискалъ я чего-нибудь еще поживописнѣе и, наконецъ, спустился подъ гору. Огромная липа привлекла мое вниманіе. Эта липа, толщиною въ два обхвата по крайней мѣрѣ, роскошно разрослась и слегка наклонилась къ горѣ, точно поддерживала ея тяжесть, упираясь въ землю огромными полуобнаженными корнями, расходившимися на подобіе двухъ могучихъ ногъ. По глинистому руслу змѣился ручеекъ, и было бы преступленіемъ, еслибъ я не остановился на этой красавицѣ липѣ. Благо, недалеко лежалъ большой камень. Я сѣлъ на него, раскрылъ альбомъ и сталъ работать.

Корни липы, расходясь, образовывали нѣчто въ родѣ пещеры, но только неглубокой. Когда карандашъ мой дошелъ до нея, я замѣтилъ, что тѣнь въ ней черезчуръ пестра. Я всталъ и, къ удивленію своему, увидѣлъ, что тамъ была скамейка, на которой могъ-бы лечь человѣкъ, подо-

бравъ подъ себя ноги. Возлѣ скамейки стоялъ глиняный красный кувшинъ съ отбитой ручкой, и валялся букетъ пролѣсокъ.

Пещера была обитаема!

Я зналъ, впрочемъ, что Царскій садъ населенъ разной бездомной голытьбой; но я не думалъ, что населенъ онъ въ прямомъ смыслѣ слова. И мое недоумѣніе и удивленіе было скорѣе археологическаго характера: такъ удивился-бы археологъ, который, зная о доисторическихъ людяхъ только изъ книгъ и по музеямъ, вдругъ очутился бы передъ жилищемъ пещернаго человѣка.

Позади меня раздался трескъ сухаго сучка. Я обернулся: шла нищая, ужасная на видъ, въ ваточной кацавейкѣ, въ грязномъ тепломъ платкѣ, въ отрепанной, свѣтящейся отъ дыръ, ситцевой юпкѣ и резинныхъ стоптанныхъ калошахъ. Изъ глубины этого клубка тряпокъ свѣтилась пара узенькихъ человѣчьихъ глазъ и краснѣлъ острый нюхающій носъ.

— Здравствуйте, произнесла она, приближаясь.

*

— Здравствуйте, отвѣтилъ я.

Она хрипло засмѣялась.

— Вы что здѣсь дѣлаете, баринъ?

— Видите—рисую.

Новый взрывъ хриплаго смѣха.

— Для чего рисуете?

— Такъ надо.

— Такъ надо, повторила она и заглянула въ альбомъ.

— Сымите меня, баринъ, сказала она помолчавъ.

Нищая была очень типична, я приготовилъ новый листокъ альбома.

— Хорошо, садитесь, я нарисую васъ.

— Гдѣ садиться?

— Садитесь на эту скамеечку.

— Хи-хи-хи!

— Что вамъ смѣшно? Сидите смирно. Я заплачу вамъ.

Она усѣлась. Но не успѣлъ я обвести контуръ ея фигуры, какъ она опять заволновалась.

— Мнѣ, баринъ, выпить хочется за ваше здоровье... Баринъ, а баринъ, когда я была молоденькая, то одинъ прапорщикъ

мнѣ пять рублей далъ за то, что я снялась... въ полномъ своемъ видѣ. И тую карточку онъ при сердцѣ своемъ по гробъ жизни обѣщалъ носить... Мнѣ ежели, баринъ, дадите двугривенный, то я выпью... Ахъ, какъ выпью!

— Тише, пожалуйста. Вотъ отвѣтьте мнѣ лучше, здѣсь ночуютъ, въ этомъ дуплѣ?

— Хи-хи-хи!

— Вамъ трудно сказать, что-ли?

— Ночуютъ! всѣ ночуютъ! Кто первый пришелъ, тотъ и ночуетъ. Здѣсь свадьбы справляютъ! хи-хи!

— И вы?

— А какже!

— Вамъ лѣтъ сорокъ?

— Я не считала. Можетъ, я еще и молода. Меня унтеръ-офицеры очень обожаютъ. Я вѣдь не какая-нибудь. Я дворянская дочь, продолжала нищая. Они меня за благородство избираютъ. Тутъ молоденькихъ много шляется. Да кровь не та. Нѣтъ!

— Если вы дворянка, зачѣмъ вы называете меня бариномъ?

— Какъ-же васъ назвать? Ну, хорошо, буду говорить вамъ: господинъ фотографъ.

Она засмѣялась.

— Отпустите, ой отпустите душу на покаяніе! Пить хочется, смерть моя!

— Подождите немнóжко. Не вертитесь.

— И зачѣмъ вамъ мой патретъ—право, я не знаю,—съ кокетливой ужимкой начала она.

— Сами просили!

Она закрыла лицо рукой и сквозь пальцы жеманно смотрѣла на меня.

— Примите руку.

Въ отвѣтъ она стала смѣяться, тереть ладонью по носу и, наконецъ, легла.

— Ой,—смерть моя!

— Ни копѣйки не получите! сказалъ я и захлопнулъ было альбомъ.

Она мгновенно выпрямилась, скромно сѣла и не шевелилась.

— Сымайте уже, сымайте скорѣй! Это я такъ.

Я началъ рисовать.

— Глаза рисуете?

— Да.

Она широко раскрыла глаза.

— Что вы дѣлаете?

— Чтобъ лучше вышло. Когда глаза большіе, то красивѣе.

Она кокетничала!

— Скажите, вы постоянно въ саду? Круглое лѣто?

— А то-жъ! Да и зимою случается, когда къ Терещенкѣ, въ ночлежный домъ, не попадешь.

— Зимою въ саду?

— Новости какія! До кучи сберемся, мужчины и бабы, и грѣемся. Въ прошедшемъ году одна дѣвушка Богу душу отдала. Или мы приспали ее, или ужъ худо одѣта она была, а только такъ случилось. Проснулась я... братцы мои! Что это, ледъ такой у меня подъ бокомъ! Цапъ— ажъ то Машка закоченѣла...

Она пожевала мягкими, какъ у лошади подвижными губами.

— Красивая эта дѣвушка была, начала она вдумчиво. Тѣло бѣлое, а ни пятнышка. На меня была похожа.

— Вы никогда не пробовали служить?

— На что мнѣ служить? Хи-хи-хи! Невидаль! Да и гдѣ мѣсто найдешь? И кто меня возьметъ... такую...

— Какую?

— Дворянскую дочь, пояснила она. Непривычное дѣло мое!

— Но когда-нибудь и что-нибудь вы работали?

Она долго думала, какъ-бы вспоминала. И, наконецъ, рѣшительно сказала:

— Никогда! Я у своихъ родителей была первой дитей. А родители были богатые, въ казенномъ мѣстѣ готовая квартира съ отопленіемъ и прислугой и маменька каждый день на фортепьянахъ играли... Учили меня, правда, да что толку...

Она махнула рукой.

— Господинъ фотографъ! Великодушный мусье! вскричала она. Подступило! Сюда подступило! Пить! Позвольте хоть на крючокъ...

Я далъ ей двугривенный. Она вскочила съ быстротой молодой дѣвушки, и носъ ея еще сильнѣе покраснѣлъ отъ радости и отъ предвкушенія блаженства выпивки.

Но мимоходомъ она не забыла взглянуть на свой портретъ. Она ухмыльнулась, покачала головой, лукаво взглянула на меня и исчезла въ кустахъ.

До меня долго доносился ея хриплый смѣхъ.

II

ПЕТЬКА ГОЛЫЙ

... Предо мною стоялъ человѣкъ лѣтъ сорока восьми, невысокаго роста, мальчикъ по сложенію, съ кудлатой бороденкой песочнаго цвѣта, съ большой головой и съ огромнымъ, до ушей, тонкогубымъ ртомъ, придававшимъ всей непріятной образинѣ незнакомца что-то лягушечье. Совершенно круглые металическіе глазки прятались въ морщинистыхъ вѣкахъ, картузъ, съ разорваннымъ на двое бумажнымъ козырькомъ, ухарски сидѣлъ на макушкѣ, и красная кумачевая рубашка была разстегнута, обнажая бѣлую, безволосую

грудь. Поверхъ рубашки былъ надѣтъ пиджакъ щегольскаго покроя. Шелковая подкладка лохмами висѣла тамъ и сямъ. Ни одной пуговицы не сохранилось на пиджакѣ. Незнакомецъ стоялъ, заложивъ въ карманы пиджака руки и смотрѣлъ въ упоръ на меня. Панталоны его состояли изъ обрывковъ какой-то синей матеріи, должно быть китайки, грязной-прегрязной. Дыры были такъ громадны, что ноги казались голыми и бѣлѣлись на темнозеленомъ фонѣ Царскаго сада, точно двѣ березки, плохо одѣтыя скудной листвой. На ступняхъ-же красовались порыжѣлыя ботинки съ загнувшимися кверху носками, напоминая собою копыта извощичьей лошади.

— Что-жь, вамъ, господинъ, надо?— сказалъ, наконецъ, незнакомецъ, между тѣмъ какъ я пристально смотрѣлъ на него.

— Посидите или постойте. Я васъ нарисую...

— И за это, значитъ, заплатите? *Дурныя* деньги у васъ, что-ли?

— Не ваше дѣло.

Незнакомецъ снисходительно усмѣхнулся, тоже не спуская съ меня взгляда.

— Вы думаете, мнѣ совѣстно деньги съ васъ брать? Премного ошибаетесь. А я къ тому, что зачѣмъ вамъ понадобилась моя карточка! Вѣдь, на что-нибудь она вамъ годится?

Я долженъ былъ объяснить, что это вовсе не фотографія и что рисую я исключительно для себя.

— Фотографія съ руки, развѣ трудно понять!

Лягушечьи глаза его улыбнулись, онъ сказалъ:

— Ну, да ладно. Снимайте!

Онъ небрежно полулегъ на траву, облокотившись. Сначала его интересовало, что я дѣлаю. Затѣмъ лицо его приняло равнодушное выраженіе, и онъ, прищурившись, тупо смотрѣлъ вдаль.

Мнѣ хотѣлось вызвать его на разговоръ, и я нѣсколько разъ начиналъ бесѣдовать съ нимъ, но онъ отдѣлывался односложными отвѣтами, мычалъ и зѣвалъ.

— Я ужъ не перваго васъ срисовываю... началъ я.

— Всякій свою линію ведетъ, сентенціозно произнесъ онъ и сплюнулъ, продолжая глядѣть въ неопредѣленное пространство.

Лучи солнца отвѣсно били на насъ и такъ нагрѣли голову незнакомцу, что онъ мало-по-малу задремалъ. Клюнувъ носомъ, онъ просыпался и раскрывалъ глаза; но черезъ минуту снова засыпалъ. Я былъ радъ, когда портретъ пришелъ къ концу и сонливый незнакомецъ, получивъ деньги, удалился отъ меня.

Дня черезъ два, любуясь солнечнымъ закатомъ съ крутого берега Днѣпра, я опять увидѣлъ незнакомца. Онъ тоже стоялъ на горѣ и смотрѣлъ на Подолъ, тонувшій въ розовомъ туманѣ. Неужто и этотъ оборванецъ не лишенъ чувства природы? Мы, художники, иногда черезчуръ заносимся, воображая, что мы одни способны наслаждаться красотой. Оборванецъ, впрочемъ, не былъ уже оборванцемъ. На немъ была сѣрая пара и новый картузъ. Онъ

поклонился мнѣ привѣтливо, какъ старому знакомому. А когда я отвѣтилъ на его поклонъ, онъ въ радостномъ волненіи подошелъ ко мнѣ.

— Узнаете-ли вы, господинъ, Петьку Голаго? произнесъ онъ хвастливо и окинулъ себя довольнымъ взглядомъ.

Да, строго говоря, его трудно было узнать. Все на немъ было чисто, и только кумачевая рубаха по прежнему была разстегнута на груди. Онъ точно помолодѣлъ, и морщины на его загорѣломъ рябоватомъ лицѣ разгладились.

— Васъ Пѣткой Голымъ зовутъ? Да, вы измѣнились. Поступили на мѣсто, что ли?

Онъ разсмѣялся.

— Съ какой радости? Скоро двадцать пять лѣтъ, какъ я свободный человѣкъ. Никому не служу, самъ себѣ панъ.

— Вы изъ крѣпостныхъ?

— Да. Лаврскій штатный. А все въ прокъ мнѣ ваши денежки пошли! Изволите видѣть, какъ дали вы мнѣ позавчерась два пятиалтынныхъ, въ тую-же минуту сѣлъ я въ карты играть и въ тую-же минуту

всѣхъ обобралъ, то-есть до нитки, до послѣдняго гроша, даже платочекъ на шею и тотъ выигралъ. Но какъ, значитъ, не терплю стѣсненія гортани, то и бросилъ его... Очень вамъ благодаренъ, господинъ, за легкую руку.

Онъ приподнялъ фуражку.

— Обработалъ, обчистилъ, по міру пустилъ! вскричалъ онъ въ какомъ-то экстазѣ. Съ генеральскаго кучера богатѣйшую плисовую поддевку снялъ, а Федосѣя лавочника на семнадцать карбованцевъ нагрѣлъ! Да что—всѣхъ нагрѣлъ! Мѣди и серебра въ платокъ навязалъ! Почитай, всего рублей за тридцать хватилъ! Часы выигралъ!

Онъ показалъ мнѣ потертые серебряные часы и нѣсколько асигнацій.

— Гдѣ-же это вы... здѣсь, въ саду?

— А то-жъ! Вонъ и теперь дуются! Вонъ видите!

На полянкѣ, освѣщенной умирающими лучами солнца, лежала кучка людей, расположившись звѣздообразно, головой къ центру. Они молча и сосредоточенно играли въ карты.

— Теперь я на человѣка похожъ, продолжалъ Петька Голый. А то, что я былъ? Жуликъ, босякъ?! Самого себя стыдно было! Вѣрите, какъ вы стали рисовать, такая совѣсть заговорила, что чуть я васъ тогда ножомъ не пырнулъ. Но только ножа на ту пору не случилось, да и трусъ я— курицы обидѣть не могу. Вотъ и жидовъ когда били, всего только и попортилъ я, что мальчишкѣ ихнему скулу своротилъ, да еще евреечкѣ пальчикъ вывихнулъ. Потому что я до женскаго пола чрезвычайно какъ, могу сказать, охочъ. Теперь на мнѣ не краденое, съ позволенія сказать, а свое собственное — и шапочка, и штаники, и сюртучекъ. И при часикахъ я, и при капиталѣ. Вы какъ думаете? Я такого счастья, можетъ, уже десять лѣтъ жду, да все никакъ дождаться не могъ, и какъ оно привалило — рѣшительно не соображаю и до сихъ поръ полагаю, что это во снѣ...

Онъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на меня, на свои часы, на асигнаціи и широко улыбнулся.

— Нѣтъ! Не сонъ это! И за что это мнѣ, Господи! За то, что дéсятки лѣтъ голодалъ, холодалъ, угла, гдѣ голову преклонить, незналъ, а въ юности монастырскаго кнута въ избыткѣ даже отвѣдалъ и весь вѣкъ сиротой промаячилъ! Ну, да ужъ и справлю я праздникъ! Боже мой!

На секунду онъ зажмурилъ глаза.

— Первымъ дѣломъ, господинъ, возьму номеръ въ гостиницѣ, чтобъ все было прилично. Я какъ выигралъ деньги, то весь день еще не ѣлъ и не пилъ, и въ желудкѣ у меня, извините за грубость, соловьи щелкаютъ. Нарочно жду, чтобъ пріятнѣе кушанье показалось. Человѣкъ во фракѣ и бѣломъ жилетѣ будетъ у меня прислуживать и всѣ мои приказанія духомъ исполнять. «Эй, братецъ, подай этого»! «Эй, милый, принеси того»! Раздѣнь меня, братецъ»! Четыре рубля и пятьдесятъ копѣекъ опредѣлилъ я на одно это! А за три рубля Дуньку Плѣшивую возьму, да ея сестренку Таньку, да пусть пляшутъ и пятки мнѣ чешутъ, какъ настоящему

барину. Вина на пять цѣлковыхъ куплю. Да что Дунька Плѣшивая, или Танька! Экая невидаль! Я настоящую барышню приглашу съ Крещатика или изъ Шата. По стрункѣ ходи передо мной! Повинуйся мнѣ! Ухъ, мамочка!!

Онъ вошелъ въ азартъ и размахивалъ руками. Его глазки сверкали, какъ двѣ огненныя точки. Это былъ мечтатель, много лѣтъ ограничивавшійся только грезами о хорошемъ житьѣ-бытьѣ и, наконецъ, достигшій, нежданно-негаданно, возможности осуществить свой завѣтный идеалъ. Этотъ Петька ходитъ чуть не нагимъ, голодный и озлобленный, безплодно вожделѣющій, и вдругъ онъ одѣтъ, онъ въ «шапочкѣ» и «при часикахъ». У него голова шла кругомъ и, при малѣйшей фамильярности съ моей стороны, онъ заключилъ-бы меня въ объятія.

Солнце погрузилось за черту горизонта и долѣе оставаться въ Царскомъ саду было небезопасно: въ «населенности» его я убѣдился еще въ первую прогулку. Я направился къ выходу.

— Постойте, господинъ, озабоченно и просительно сказалъ Петька Голый. Что я васъ спрошу... Какъ отъ васъ мнѣ счастье...

Онъ посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ игроки неподвижно лежали вокругъ картъ, страстно затаивъ дыханіе и, должно быть, крѣпко напрягая зрѣніе: быстро смеркалось.

— И какъ вы доброй природы, продолжалъ Петька:—а между тѣмъ, я въ самомъ игроцкомъ ударѣ... И чтобъ ужъ кутить, такъ кутить: и Дуньку, и Таньку, и барышню, и чтобъ даже шарманка была... То не будете ли вы въ такой степени великодушны—не позычите-ли *) мнѣ еще хоть десять копѣекъ? Тутъ солдатикъ лежитъ, у него три красненькихъ въ ладонкѣ. Страсть хочется еще и этія деньги сорвать!

Онъ такъ сіялъ, онъ такъ былъ увѣренъ въ выигрышѣ, а съ другой стороны, мнѣ такъ хотѣлось поскорѣе уйти домой отъ этихъ подозрительныхъ фигуръ и отъ самаго Петьки Голаго, что я далъ ему десять копѣекъ.

---

*) Не дадите-ли взаймы.

Онъ безпечно засвисталъ и подошелъ къ группѣ картежниковъ. Кажется, его не сразу приняли, опасаясь его чертовскаго счастья.

На слѣдующій день, рано утромъ, я встрѣтилъ его снова въ Царскомъ саду. Онъ по прежнему былъ въ изношенномъ картузѣ съ раздвоеннымъ козырькомъ и ноги у него были голыя. Вчерашняго великолѣпія какъ не бывало. Лицо его поражало своимъ старческимъ видомъ, своимъ землистымъ цвѣтомъ, потухшими глазами, подъ которыми стояло по фонарю. Мнѣ показалось, что въ его бородѣ много сѣдины.

Замѣтивъ меня и мой вопросительный взглядъ, Петька Голый нахмурилъ брови и звѣрски закусилъ нижнюю губу. Онъ ничего не сказалъ. Но я догадался: мои деньги на этотъ разъ принесли несчастье.

*

III

ДУНЬКА ПЛЁШИВАЯ

Босяки, населяющіе Царскій садъ, не только знакомы между собою, но и почти всѣ большіе пріятели. Что-то въ родѣ артелей или кружковъ, существуетъ у нихъ. На голодный желудокъ, босякъ лежитъ подъ деревомъ и дремлетъ, лѣнивымъ глазомъ посматривая на прохожихъ. Но если ему удастся раздобыть копѣйку, онъ вдругъ оживляется. Онъ вскакиваетъ, торопливо шагаетъ по откосамъ, и его оживленіе такой благопріятный признакъ, что мигомъ вскакиваютъ и другіе босяки, столь-же лѣниво и безнадежно дремавшіе тамъ и сямъ въ саду. Вокругъ счастливца собирается кучка голодныхъ друзей, и кто-нибудь, одѣтый по-приличнѣе, снаряжается «въ городъ» за селедкой или колбасой, а также за полуштофомъ. Выпивъ и закусивъ, босякъ «полагаетъ себя» самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ и

объ одномъ только молитъ Бога, чтобы холода не наступили, чтобы дождей не было и чтобъ полиція не привязывалась.

— Житья нѣтъ благороднымъ людямъ, говоритъ босякъ. Повсемѣстный позоръ и прижимка! Помилуйте, господинъ, я живу, какъ человѣкъ Божій, днемъ сны вижу, а ночью соображеніями занимаюсь. Постель у меня — кулачекъ подъ головку, зонтикъ — лопухъ надъ головкой, служу очень даже усердно — деревья въ Царскомъ саду подпираю, безъ меня то-есть попадали-бы... И вдругъ откудова ни возьмись — полиція! Зачѣмъ? По какому твоему праву? Натурально, нашъ братъ ропщетъ.

Послѣ обѣда босякъ, находясь въ пріятномъ расположеніи духа, бродитъ по саду, забираясь въ самую глухую чащу. Не изъ желанія промыслить что-нибудь предпринимаетъ онъ эти прогулки, а просто ради развлеченія.

Добыча-же довольно постоянная заключается въ срываніи платковъ съ спящихъ въ саду мертвымъ сномъ богомолокъ и

шапокъ съ богомольцевъ. Иногда и поцѣннѣе вещь унесутъ. Подвиги эти сопровождаются смѣхомъ, шутками и прибаутками. Сначала жертва выслѣживается, затѣмъ изслѣдуется, нѣтъ-ли поблизости полицейскаго, наконецъ, жертва оцѣпляется. Платокъ или другой «призъ» передается изъ рукъ въ руки съ изумительной быстротой. И онъ уже проданъ и пропитъ, а бѣдная жертва все еще спитъ своимъ тяжелымъ странническимъ сномъ.

Босякъ «охочъ» до утонченныхъ удовольствій. Одинъ босякъ взбирался на деревья съ опасностью для своей жизни и оттуда смотрѣлъ, какъ дамы раздѣваются въ купальнѣ. Босякъ—мечтатель и любитъ райскія перспективы.

Но идеализмъ идеализмомъ, а реализма босякъ тоже не чуждъ. Любовью босякъ даже, можно сказать, пресыщенъ. Бездомныя старухи съ загорѣлыми, почти испеченными лицами, горничныя и кухарки безъ мѣстъ, босыя и подъ зонтиками, дѣвочки, закутанныя въ теплые платки и просящія у васъ Христа-ради, — это все

его любовницы. Только онъ ихъ не цѣнитъ. По его словамъ, всѣ они «вниманія не стоющія». Нѣкоторое исключеніе составляетъ развѣ Дунька Плѣшивая.

Главныя достоинства Дуньки — нравственныя. Разумѣется, я говорю здѣсь о нравственности съ босяцкой точки зрѣнія. Никто скорѣе Дуньки не сбѣгаетъ за колбасой, за полуштофомъ. Никто такъ во время не увидитъ полицейскаго. Она, какъ змѣя, вьется между кустами и деревьями, и «за ней» живется босякамъ Царскаго сада сравнительно спокойно.

Дунька одѣта кокетливо. Синяя шерстяная кофточка съ стеклярусомъ, красныя бусы, на головѣ бѣлый платочекъ, повязанный на манеръ капора — фургончикомъ, такъ что лицо ея всегда въ тѣни и оттуда смотрятъ темные, слегка сонные глаза. Дунька миловидная дѣвушка лѣтъ шестнадцати, съ мягкимъ вѣжливымъ голоскомъ; она знаетъ нѣсколько французскихъ фразъ, нерабочія руки ея черезчуръ тонки, благородной формы, и еслибъ не неизбѣжный синякъ подъ глазомъ и не

юпка, опустившаяся назади въ видѣ шлейфа, отъ постояннаго лазанья межъ кустами, то ее можно было бы принять за провинціальную барышню, не кончившую образованія по бѣдности родителей и, въ ожиданіи жениховъ, ведущую праздную жизнь, въ какомъ-нибудь заштатномъ городѣ Коропѣ или Березномъ.

Она не жеманилась, когда я заговорилъ съ нею, и охотно сѣла «сниматься». Должно быть, между босяками Царскаго сада уже распространилось, что я человѣкъ безобидный, и мои гривенники и пятиалтынные были внесены въ смѣту, болѣе или менѣе, постоянныхъ босяцкихъ доходовъ.

— Отчего васъ зовутъ Плѣшивою?— спросилъ я.

Она засмѣялась.

— Оттого, что имъ нечего дѣлать и они все-выдумываютъ на меня. На головѣ у меня волосъ—за три дня не выскубишь!

Она сняла платокъ и, въ самомъ дѣлѣ, обиліе волосъ было поразительное. Это были рыжеватые свѣтлые волоса, густыми

прядями выбивавшіеся изъ-подъ небрежно сложенныхъ на затылкѣ косъ.

— Видите, плѣшивая? — произнесла она съ гордостью. — Каждая захотѣла-бы такой плѣши! Но имъ натурально смѣшно, что волосъ много, и вотъ взяли и навпротивъ...

Она снова повязала платокъ.

— Есть у васъ родные?

— У меня тетя есть, и онѣ съ мужемъ. Но какъ Николай Семенычъ ко мнѣ все пристаютъ, то тетя возревновали и, прямо сказать, на улицу выгнали. Все это только буквально несправедливо. Порокъ и мараль—больше ничего! Николай Семенычъ сколько разъ въ саду встрѣтятъ и начинаютъ: «Дуничка, а Дуничка!» но я на нихъ плевать хотѣла, хоть озолоти меня! Я еще Бога не забыла и грѣха такого на душу не возьму. Я говорю, грѣшно вамъ, Николай Семенычъ, вы дядей мнѣ приходитесь. А они отвѣчаютъ: «Я, говоритъ, въ губернскомъ оправленіи служилъ и всѣ законы читалъ; и тамъ говорятъ, написано, что ежели

не родной дядя, то—ничего». Есть такой законъ?

— Такого—должно быть нѣтъ. Чтожъ, дядя теперь не служитъ?

— Запьянствовали, имъ и отказали отъ мѣста. На Соломенкѣ у нихъ свой домикъ—за тетей въ приданое взяли. И у насъ тоже былъ тамъ домикъ, и корова была, и садикъ. Папаша стрѣлочникомъ на желѣзной дорогѣ служили. Бывало всего, всего принесутъ! Вотъ этакихъ свѣчекъ стеляриновыхъ... Потомъ папаша стали грустить, взяли, утромъ пошли, да и кинулись подъ поѣздъ. Тогда въ газетахъ объ насъ писали. Приносятъ это папашу, а у него въ грудяхъ ямка и черной кровью все запеклось, а очами такъ грустно дивлятся, и ручки у нихъ поломаны. Потомъ взяли и померли...

— Вы любили отца?

— Какъ же не любить! Они меня баловали—не надо лучше. А мамаша, бывало, все бьютъ. Все меня учили, да, видно, мало—не такая бы я вышла. Мнѣ десять лѣтъ было, а меня на рѣчку съ бѣльемъ

зимою посылали. Ну, бѣлье растеряю, оттого, что руки смерзнутъ. Прихожу домой, ни жива, ни мертва, слезы глотаю, глядь—мамаша уже крючекъ допираютъ. «Гдѣ бѣлье»? «Такъ и такъ, мамаша... Милая маменька, не бейте, ахъ, не бейте меня»! Но они, натурально, отколотятъ меня, какъ нельзя лучше, и все выспятками, все выспятками *), а далѣе схватятъ за уши, за косы—у меня уже косы порядочныя были... Пока папаша не придутъ, все бьютъ. Ужъ у меня и голоса кричать не хватаетъ. А придутъ папаша, онѣ съ папашей свариться начнутъ, за папашу уцѣпятся, зачѣмъ балуетъ меня. И такъ до полночи... А далѣе спать лягутъ, и меня, и папашу цѣлуютъ, а сами горько-горько плачутъ...

— Когда папаша умеръ, вы домикъ продали?

— Нѣтъ, не сейчасъ. Намъ еще изъ казны денегъ выдали, а потомъ красивая такая барыня, съ хорошей муфтой, встрѣтила мамашу и меня, и сестру Таньку,

*) Ногами и каблуками.

разжалобилась и — дай ей Богъ многія лѣта!—въ газетахъ росписала о нашемъ несчастьи. Господа стали жертвовать и прожертвовали больше сотни рублей. Но только мамаша все пропили.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ мамаша видятъ, что мы уже ростемъ, сказали: «Пора учить Дуньку и Таньку». И отдали насъ въ ученье. Таньку къ модисткѣ на Крещатикъ, а меня на Подолъ въ корсетное заведеніе, къ мадамѣ. Напринималась я муки дома, а тутъ думала, духъ изъ меня выскочитъ! Мадама толстая и сердитая. Сейчасъ изъ подъ передника вытащитъ ремешекъ, этакой плоской на концѣ, прикажетъ дѣвушкамъ держать и какъ начнетъ лясkать! Потому что она любила, чтобъ все было акуратно. Комнаты у мадамы были маленькія, а дѣвушекъ много. Но тихо было, такъ что слышно, какъ муха пролетитъ. Ни пѣть, ни разговаривать громко нельзя. Сейчасъ: «Кушъ, канайль!» А мнѣ ужъ четырнадцать лѣтъ сполнилось. Меня мамаша хоть били, а только никогда не сѣкли. Работала я

добросовѣстно и — хоть грѣхъ сказать— водила насъ мадама чисто, какъ барышенъ, и бѣлье чистенькое, и платьице шерстяное—да и кормила, нельзя сказать, чтобъ скупо—а только роптала я и Богу молилась, какъ-бы онъ избавилъ меня отъ этой каторги. Вотъ разъ вшила я пружинку, да не въ тотъ ластикъ, а она: «Мизерабль»! Сцѣпила я зубы, дѣвушки молчатъ, вся я похолодѣла. Только въ тотъ день работы было много и думала я, что мадама забудетъ на меня. Нѣтъ, гадюка, стала наказывать Соньку, про меня вспомнила. Ну, тутъ на меня звѣрство нашло, стала я кричать, ругать ее скверными словами и, наконецъ, палецъ ей прокусила...

При воспоминаніи объ этомъ, Дунька разсмѣялась и даже точно захлебнулась отъ восторга.

— Насквозь прокусила! Кровь у нея такъ и побѣжала! Она: «Полицъ! Полицъ»! Да въ обморокъ. А я не будь дура —вижу, старшія хотятъ запирать меня въ чуланъ— драла! Иду по улицѣ, ногъ подъ собой не слышу. Только лавочникъ, гдѣ прикладъ

мы брали, встрѣлъ меня и говоритъ: «Куда вы, говоритъ, безъ шляпки, барышня»? Я спужалась, а онъ такъ ласково: «Заходите, говоритъ, барышня, ко мнѣ въ лавку, тамъ комнатка на чердакѣ есть. Я человѣкъ женатый, дурного вамъ не сдѣлаю. И окромѣ того, никто васъ не увидитъ. Я вамъ дамъ шляпку». Мнѣ раздумывать некогда было, я за нимъ, дура, пошла. «Что-жъ, думаю, пускай шляпку дастъ!» Вошли въ лавку, прикащики на меня этакъ сурьезно посмотрѣли и хозяину поклонились. Иду я дурепа дурепой, а какъ пришли на верхъ, то онъ спрашиваетъ: «Какого-бы вы, барышня, угощенія хотѣли»? «Шить», отвѣчаю. Онъ приказалъ лимонаду и коньяку принести. Все нутро у меня жгло, губы горѣли, и какъ припалась я, то вдругъ три стакана лимонаду выпила, а въ каждый стаканъ онъ коньяку подливалъ. Тутъ всего я рѣшилась. Памяти отшибло. А какъ очнулась я, то вижу, что темно уже, фонари горятъ, и иду я по Владимірской, въ шляпкѣ и перчаткахъ. Пощупала въ карманѣ — бу-

мажка лежитъ. Опять мнѣ пить захотѣлось и маменьку повидать. Думала, солгу ей, будто мадама отпустила меня и будто мнѣ нездоровится. Взяла извозчика—пріѣзжаю на Соломенку, а тамъ маменька лежатъ на столѣ. Вотъ вамъ.

Она замолчала.

— И что-жъ! продолжала она. Если-бъ насъ съ Танькой учили лучше, изъ насъ люди вышли-бы. И молоденькія, и лицомъ ничего себѣ. А мы отъ дѣла отбились, по садамъ шляемся. Я страсть, какъ водку люблю. Я запойщица. Я и по заведеніямъ пробовала жить. Не держатъ, оттого, что ужъ совсѣмъ свиньей дѣлаюсь. Въ ротъ мертвецу копѣйку клали и затѣмъ въ водкѣ полоскали и той водкой меня поили — не помогаетъ! Вотъ какая я, баринъ! Пропащая!

Она слегка вздохнула. Но по наружности ея нельзя было заключить, чтобъ она была глубоко огорчена своей судьбой.

— И давно вы пьете?

— Да вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ пить тогда въ лавкѣ захотѣлось. Не по-

стоянно пью — Боже сохрани!—а временами. Но только, говорятъ, это хуже!

Она задумалась.

— Я этого такъ боюсь! Что страму мнѣ тогда, глумятся надо мной, издѣваются! Я-бъ вамъ сказала еще, за что меня Плѣшивой прозвали, да мнѣ совѣстно...

Она густо покраснѣла.

— Нѣтъ, ужъ, не говорите, если совѣстно.

Она сидѣла, потупившись. Карандашъ бѣгалъ по бумагѣ и странная тяжелая тишина простерлась надъ садомъ. Воздухъ дремалъ, распаленный жгучимъ полуденнымъ солнцемъ. Я тщательно вырисовалъ портретъ бѣдной Дуньки, и когда я уходилъ изъ сада, мнѣ все казалось, что даже старыя деревья тронуты жалкой долей погибшей дѣвочки и вслѣдъ за нею участливо и грустно шепчутъ:

— Пропащая! Пропащая!

IV

ОПЯТЬ ПЕТЬКА ГОЛЫЙ

По временамъ, на босяковъ Царскаго сада чины полиціи производятъ правильныя облавы. Босяки ютятся по густо и дико заросшимъ склонамъ серединной котловины сада, гдѣ ростутъ фруктовыя деревья, и ютятся въ расщелинахъ приднѣпровскихъ бугровъ, зеленѣющихъ шиповникомъ и другими раскидистыми кустарниками, вплоть до Выдубецкихъ прибрежныхъ зарослей, и далѣе, подвигаясь лѣтомъ къ Китаеву. По крайней мѣрѣ, въ тамошнемъ лаврскомъ лѣсу я встрѣтилъ недавно Петьку Голаго. Онъ былъ пьянъ, но узналъ меня, снялъ картузъ и, держа его на отлетѣ, проговорилъ:

— Господину фотографу наше пріятное почтеніе!

Онъ былъ въ длинномъ армякѣ и напоминалъ теперь своею фигурою послушника.

— Ты чего здѣсь?

— А на дачѣ-съ. Въ городѣ лѣтній духъ пошелъ и такъ какъ многіе господа въ деревню выѣхали, то и я съ ними. Не соблаговолите-ли прожертвовать мѣднаго пятака бѣдному страннику?

Во время облавъ полиціи удается захватить душъ пятнадцать, двадцать. Не могу съ точностью ничего сказать, что съ ними дѣлаетъ она, но полагаю, что мѣра эта совершенно безполезна. Босяковъ въ Кіевѣ сотни и даже тысячи. Больше на пятнадцать душъ или меньше этихъ босяковъ въ данный моментъ — рѣшительно все едино. Безпрерывно общество выдѣляетъ изъ себя извѣстный процентъ босяковъ, все равно, какъ организмъ, если онъ боленъ, выдѣляетъ гной и покрывается язвами и струпьями. Внутренняго леченія ни одинъ современный соціологъ не въ состояніи прописать, и даже ни одинъ законодатель. Остаются наружныя средства, которыя на офиціальномъ языкѣ носятъ названіе «мѣръ» и «заботъ» (объ «общественной безопасности», «благочи-

ніи» и пр.). Полиція можетъ быть уподоблена въ этомъ случаѣ тому врачу, который, снимая гной съ одного участка язвы, оставляетъ на произволъ судьбы другіе участки. Мало этого: снявъ крошечную частицу гноя и подержавъ ее нѣкоторое время на кончикѣ скальпеля, врачъ, не зная, куда дѣть вредную матерію и что дѣлать съ нею, опять кладетъ ее на прежнее мѣсто. Говорится это не въ осужденіе полиціи, разумѣется; я указываю только на фактъ. Полиція безсильна по отношенію къ босякамъ, и нельзя требовать отъ нея невозможнаго. Водворенный на мѣсто жительства, босякъ сейчасъ-же возвращается туда, куда «влечетъ его невѣдомая сила». Босякъ живетъ въ Ростовѣ-на-Дону и, когда тамъ безкормица, или когда онъ захочетъ «поклониться святымъ мѣстамъ», ему нипочемъ пробраться въ Кіевъ. Онъ и въ Екатеринославѣ, и въ Одессѣ, и въ Черниговѣ— всюду онъ у себя дома. Въ этой бродячей жизни, исполненной приключеній и, главное, въ этомъ праздношатаніи для

босяка есть что-то притягательное, чарующее. Въ Ростовѣ-на-Дону онъ прячется отъ полиціи на кладбищѣ, въ «фамильныхъ» склепахъ мѣстныхъ хлѣботорговцевъ, въ Кіевѣ — въ расщелинахъ и провальяхъ приднѣпровскихъ горъ. Да едва-ли даже есть возможность водворить куда-нибудь босяка. Подержатъ, подержатъ и выпустятъ. Что съ нимъ, въ самомъ дѣлѣ, возиться!

На босяковъ многіе смотрятъ, какъ на воровъ и злодѣевъ. Конечно, всѣ они воришки. Но на крупную самостоятельную кражу босякъ неспособенъ. Онъ лѣнивъ и трусливъ. Онъ въ воровскомъ дѣлѣ можетъ исполнять только второстепенную роль—стражника, шпіона. Настоящій воръ презираетъ босяка. Онъ, болѣе или менѣе, хорошо обставленъ, имѣетъ квартиру, семью, одѣтъ, водитъ хлѣбъ-соль съ людьми. Босякъ — отверженное существо и, по странному свойству человѣческой натуры, гордится этимъ и, во всякомъ случаѣ, не стыдится своего босяцкаго состоянія. Если вора и грабителя

можно сравнить съ волкомъ, то босяка—съ гіеной.

— Начнись общественная смута, —сказалъ мнѣ въ видѣ предположенія одинъ писатель-публицистъ:—и эти ваши «типы Царскаго сада» могутъ сыграть ужасную роль...

Но и это ошибочно. Босякъ безсиленъ и ничтоженъ. Вотъ разсказъ Петьки Голаго о томъ, какъ онъ участвовалъ въ еврейскомъ погромѣ на Деміевкѣ.

— ... Сейчасъ это, Боже мой, сколько народу привалило! Откуда ни возьмись—кацапура лупитъ. Народу тысячи двѣ было—вотъ сколько! Сейчасъ, значитъ, стражу поставили—гляди въ оба, чтобъ войска не настигнули, а сами между прочимъ, тихимъ манеромъ, тихимъ манеромъ, на складъ Рабиновича кинулись и въ одинъ секундъ бочки выкатили, дна выбили—водки, я вамъ скажу, брызнуло даже невѣроятно много! Точно, я вамъ скажу, ужасный этакой дождь пошелъ и лужи тебѣ насыпало—хлебай сколько влезетъ, хоть топись! Надрызгались наши

всласть, а жиды и жидовки навзрыдъ рыдаютъ — въ однѣхъ рубашкахъ, какъ Адамы, по улицамъ бѣгаютъ. Ай, тателе, ай, вей! Что смѣху было! Рожу ему скорчишь—изъ него и духъ вонъ, притаился, ни живъ, ни мертвъ. Только вижу я, что пухъ, какъ снѣгъ, изъ оконъ такъ и летитъ. Ей-Богу, думалъ сначала, дымъ! Кацапура̀ кричитъ: «Не робѣй, ребята! не жалѣй!» Добра на улицахъ сколько—Боже мой! Что, думаю, зѣвать—поднялъ, глядь: намисто еврейское. Только дуракъ былъ, въ карманъ не положилъ. Подержалъ и тутъ-же бросилъ. Глядь—пальта, чудесныя пальта, штукъ пять, изъ лавки, и красный товаръ разный. Сталъ собирать, надѣлъ одно пальто, надѣлъ другое, надѣлъ штаники, тоже парочку одну и другую, а затѣмъ опять дуракомъ себя почувствовалъ и бросилъ. Думаю—пойду нашимъ помогать, все-же я христіанская душа. Глянулъ—содомъ, потѣха, гулъ, стукъ, ничего разобрать нельзя! Понапивались кругомъ, шатаются, кричатъ! Дѣти голыя, женщины! Мнѣ и смѣшно, и

страшно стало. Схватилъ я мыла, этакъ кусокъ порядочный... фунтовъ десять... Почемъ мыло теперь? вдругъ перебилъ онъ себя.

— Не знаю...

— Должно быть копѣекъ по двадцати. Не меньше тово! Схватилъ это я мыло и драла. Бѣгу—сами ноги несутъ. Бѣгу, ажъ тяжело мнѣ, ажъ духъ захватываетъ. И самъ не понимаю, чего я бѣгу, и теперь даже удивляюсь. Вотъ ужъ Деміевка кончается. Пуху всюду, Боже мой, сколько! Увидали меня двѣ евреечки и себѣ давай бѣжать. Бѣгутъ и кричатъ: «Ай, ай!» Но никто на насъ вниманія не можетъ обращать. Всѣ въ суматохѣ и страхѣ. Раза два я споткнулся на стулья, на горшокъ съ цвѣтами, разъ запутался въ цѣпкѣ отъ часовъ. Бѣжимъ и бѣжимъ. Одной евреечкѣ лѣтъ пятнадцать, а другая и того моложе. Только это я ужъ потомъ разобралъ. Прибѣжали на поле, съ поля повернули налѣво, бухъ въ оврагъ, да тамъ и застряли—потому грязь. Давай онѣ караб-

каться, а я вижу, что лафа — къ нимъ. Страхъ мой увдругъ прошелъ. Отведу, думаю, душу. Держу мыло въ рукахъ и гляжу на евреечекъ. Дрожатъ онѣ, побѣлѣли. Говорить я не могу, оттого, что дыханіе зашлось. Плечики у нихъ тоненькія, косы длинныя—даже очень соблазнительно. Знаками показалъ имъ—такъ молъ и такъ, а онѣ въ ревъ. Ну тогда я опять испугался, сцапалъ меньшенькую, свихнулъ ей пальчикъ со страху, да и былъ таковъ. Но какъ назадъ изъ оврага карабкался, то мыло уронилъ, и какъ вспомню, то весьма сожалѣю объ немъ. Ничѣмъ, вотъ ровно-же ничѣмъ не поживился я тогда!

Онъ задумчиво сталъ смотрѣть вдаль, можетъ быть высчитывая, сколько стоило мыло, а можетъ быть чувствуя странное платоническое влеченіе къ нему. Онъ былъ дикарь, и трудно понять процессъ дикой души.

V

ТАНЬКА ЦЫГАНОЧКА

Цыганочкой Танька прозвана за свой смуглый цвѣтъ лица. Ея молодые глаза смотрятъ на все изъ подъ черныхъ пушистыхъ рѣсницъ, точно два уголька; и когда она отвѣчаетъ вамъ, она держится одной рукой за дерево, а голой ногой, загорѣлой и почернѣвшей, описываетъ по землѣ полукругъ. Иногда она закладываетъ ее подъ икру другой ноги, и тогда напоминаетъ собою маленькую нахохлившуюся цаплю. У цапли на затылкѣ висятъ перья; у Таньки ихъ замѣняютъ концы грязнаго, грязнаго платка. И вся Танька, съ ногъ до головы, за исключеніемъ своего хорошенькаго цыганскаго личика, производитъ омерзительное впечатлѣніе. Она сморкается въ подолъ платья, которое давно ужъ превратилось въ лохмотья. За пазуху она спрячетъ булку, селедку, деньги, что подвернется подъ руку: грудь у ней постоянно

оттопыривается съ одной стороны. Ваточная кацавейка сидитъ на ней мѣшкомъ.

Танькѣ всего лѣтъ пятнадцать, хотя на видъ гораздо меньше. У ней тонкія руки, тонкія ноги, узкія плечи, она совсѣмъ ребенокъ. Черные, какъ смоль, сбитые, какъ войлокъ, волоса ея плоскими толстыми прядями лѣзутъ изъ подъ платка на лобъ, на глаза. Это раздражаетъ ее; она вдругъ выходитъ изъ себя, хватается за волосы, страшно теребитъ ихъ, проклинаетъ и, наконецъ, втискиваетъ непокорныя змѣи косы подъ платокъ. Причесывать свои волосы она и не думаетъ, и даже самая мысль о гребешкѣ едвали приходитъ ей на умъ.

Воспитаніе Танька получила на Крещатикѣ, въ одной швейной мастерской, куда была отдана по двѣнадцатому году. Она помнитъ, что тамъ сначала было скучно, но не лѣтомъ, когда работы было мало. Мадамъ уѣзжала въ Боярку или на Трухановъ островъ, а мастерицы принимали у себя прикащиковъ, офицеровъ, студентовъ. Кромѣ того, каждый день онѣ пользовались правомъ выходить на улицу и

гулять въ извѣстный часъ. Въ этотъ короткій часъ завязывались у нихъ романы, которые были также скоротечны. Сколько было прогулокъ, столько было романовъ. Когда ученицамъ кончался срокъ ученья, то весьма немногія рѣшались продолжать мастерство, такъ какъ жалованье давалось имъ самое крошечное, такое, на которое честно нельзя прожить, не голодая. Тѣ, которыя покрасивѣе, отправлялись въ Шато и тамъ находили необходимыя средства къ жизни.

Танька долго была на побѣгушкахъ у хозяйки, у старшихъ ученицъ, у мастерицъ. Она бѣгала въ лавочку за шелкомъ, за нитками, за пуговками, бѣгала въ булочную купить ватрушку для мадаминой дочки, бѣгала на Крещатикъ съ записочками, въ которыхъ ученицы безграмотными каракулями извѣщали своихъ случайныхъ обожателей о томъ, гдѣ и когда можно повидаться съ ними. Когда въ отсутствіе хозяйки и ея дочки, въ мастерскую, подъ предлогомъ заказа бѣлья, забирался молодой человѣкъ, большей частью,

съ истасканнымъ лицомъ и жиденькимъ бумажникомъ, Танька становилась на стражѣ у дверей и однимъ глазомъ смотрѣла на лѣстницу, а другимъ въ комнату. Вмѣстѣ съ младшими ученицами и такими же подростками, какъ она сама, она дѣлалась свидѣтельницей разныхъ грязныхъ сценъ. Потомъ, когда она стала немного старше, ученицы, уходившія гулять, брали ее съ собой «за компанію», потому что «вдвоемъ не такъ страшно». И опять чего не приходилось ей видѣть! Частенько мадамъ и ея дочка, ворчливое горбатое существо, били и драли Таньку. Она была вороватая, дрянная дѣвочка. Она научилась безсовѣстно лгать, клялась отцомъ и матерью, цѣловала полъ въ доказательство своей невинности и всетаки была виновата. Она стала замѣчать, что мужчины, не обращавшіе на нее прежде никакого вниманія, начали какъ-то особенно поглядывать на нее. Она «задрала носъ», стала грубить хозяйкѣ, взяла новое платье, которое шили въ мастерской на срокъ, и вмѣсто того, чтобъ отнести по назначенію, продала на

толкучкѣ за три рубля, купила конфектъ и, придя, легла спать, жалуясь на головную боль. Думали, что она простудилась, а она въ это время тихонько грызла конфекты, пока всего не съѣла. Желудокъ выдержалъ это пиршество. Но на другой день обнаружилось воровское дѣло Таньки. Танька клялась, плакала, цѣловала ноги хозяйкѣ, цѣловала полъ. Ее высѣкли и прогнали.

Такъ закончилось воспитаніе Таньки.

Въ Царскомъ саду, типами котораго я наполнилъ цѣлый альбомъ, я не встрѣчалъ болѣе распущеннаго созданія, чѣмъ эта дѣвочка. Она безпрестанно, кстати и некстати, бранилась.

— Меня никто не можетъ переругать, наивно хвастается она, чертя ногой полукругъ по землѣ. Я какъ заведусь, какъ заведусь, то даже мужчины притихнутъ— я всѣхъ переговорю... Они мнѣ слово, а я имъ двадцать.

— Бѣдовая у насъ Цыганочка! говорятъ босяки, любовно поглядывая на Таньку. Огонь дѣвчонка!!

Когда я попросилъ Таньку посидѣть, она предварительно посовѣтовалась съ безобразной старухой, которая долго ей что-то шептала.

Она все время сидѣла на косогорѣ, въ профиль, и грызла сѣмечки. Грудь у ней оттопыривалась особенно высоко и по временамъ она била по этой возвышенности ладонью и напѣвала:

— Ай! Ай! Бай-бай!

Взглядъ ея лукаво обнималъ меня и мой альбомъ; сверканіе желтоватаго выпуклаго бѣлка подъ длиннымъ шелкомъ рѣсницы дѣйствовало на меня непріятно. Я чувствовалъ, что имѣю дѣло съ чѣмъ то ужасно испорченнымъ, безнадежно погибшимъ, растоптаннымъ, истерзаннымъ, изуродованнымъ, но живымъ. Мало этого—я видѣлъ въ этой Танькѣ воплощеніе грѣха, въ которомъ мы всѣ повинны, и мнѣ стало стыдно. Конечно, большое утѣшеніе раздѣлять тяжесть вины съ какимъ-нибудь милліономъ людей, если не больше. Въ томъ, что Танька въ 15 лѣтъ сидитъ не на школьной скамьѣ, чистой и непорочной

голубкой, а нравственно и физически гніетъ здѣсь, ползая въ этой клоакѣ разврата, виноватъ я, разумѣется, ужасно мало. Въ самомъ дѣлѣ, какая это вина—милліонная доля вины! Если-бъ, напр., за эту вину, во всемъ ея составѣ, полагалась безсрочная каторга, то за милліонную долю ея слѣдуетъ и наказаніе соразмѣрное; и если-бъ стали судить меня, то присудили бы къ какой нибудь секундѣ каторги. Однако же, пока я рисовалъ Таньку и соображалъ это, мнѣ было неловко, и лукавый взглядъ ея просто злилъ меня. Онъ, точно острый ножъ, входилъ мнѣ въ сердце и будилъ самыя нелѣпыя, съ житейской точки зрѣнія, угрызенія совѣсти.

— Ай! Ай! Бай, милая, бай-бай! напѣвала Танька.

— У тебя ребенокъ?

— Да.

— Твой?

— А тожь! Привела *) дитинку...

— Чего-жъ онъ такой маленькій?

---

*) Родила.

— Вчера привела, отвѣчала она съ хохотомъ. Еще не успѣло вырости...

И снова, какъ колокольчикъ, зазвенѣлъ ея смѣхъ.

Этотъ «ребенокъ» оказался куклой. Куклу Танька нашла въ саду; вѣрнѣе же, стащила у дѣтей, которыхъ приводятъ сюда гулять. У куклы были льняные волосы, шелковое розовое платье, обшитое золотой бахромкой, крошечныя сережки. Вынувъ изъ-за пазухи, Танька стала крѣпко цѣловать ее, провела ее за руку по травѣ, велѣла ей поклониться мнѣ. Съ необычайною нѣжностью относилась она къ этой куклѣ и называла ее Лександриною. Она сама кланялась въ отвѣтъ на поклоны Лександрины и воздерживалась, въ присутствіи ея, отъ употребленія скверныхъ словъ.

— Она барышня, она сейчасъ покраснѣетъ и скажетъ: «Фуй!» объясняла Танька свое приличное поведеніе.

— Ночью она ходитъ гулять, говорила Танька, дѣлая серьезное лицо. Я сегодня сплю возлѣ тети Мавры, глядь, а Лексан-

дрина нишкомъ *) встала, одѣлась и пошла... Идетъ подъ липами, надъ кручей, и все плачетъ, и свои ручки ломаетъ. Мнѣ ужасъ какъ страшно стало, и я съ головой накрылась. А какъ въ другой разъ посмотрѣла, то уже Лександрина пришла на свое мѣсто, да такъ важко вздыхаетъ, что и я заплакала. И вотъ, Ей Богу же, нащупала я рукой лицо ея, а оно мокрое—мокрое отъ слезъ. А о чемъ она плакала — я вамъ того сказать не могу, оттого, что и сама не знаю.

— Танька, м—ди сюда! М — скорѣй! хрипло и въ носъ произнесла старуха, показываясь изъ кустовъ. М—солдатики идутъ!

Танька вскочила, зорко глянула вокругъ. Я никакъ не могъ увидѣть «солдатиковъ», но она ужъ ихъ разглядѣла. Сунувъ куклу за пазуху, она побѣжала на встрѣчу къ нимъ и по дорогѣ крикнула мнѣ со смѣхомъ:

— Это она обо мнѣ плакала!

*) Тайкомъ.

VI

ОТСТАВНОЙ ПОРТУПЕЙ-ЮНКЕРЪ

— Господинъ... если не ошибаюсь, господинъ художникъ! Мнѣ очень пріятно представиться вамъ... Честь имѣю именоваться — отставной портупей-юнкеръ Вадимъ Кочерга... Чаялъ быть генераломъ, а между тѣмъ что вышло!... Въ какомъ безподобномъ состояніи! Прошу извинить. По платью встрѣчаютъ — по уму провожаютъ. Вижу, г. художникъ, колеблетесь, не знаете, подать ли руку сей презрѣнной твари, или хладнокровно молвить ему: «Проваливай, братецъ, нѣтъ мелкихъ». О, сколько разъ слышалъ я сію горестную отповѣдь!... И такъ, что же вы? Удивлены? Не ожидали? Отставной портупей-юнкеръ, Вадимъ Кочерга, питавшій нѣкогда блестящія надежды и оныя подававшій, герой, проливавшій благородную кровь свою за глупыхъ братушекъ, видавшій виды и пресытившійся жизнью бельомъ, побѣди-

тель гордыхъ красавицъ и соблазнитель деревенскихъ дуръ, человѣкъ, которому было тѣсно во вселенной, кромѣ шутокъ, и что же?—нищій, «босякъ», который пугаетъ своимъ видомъ дамъ и даже горничныхъ, голодное и жалкое существо, l'homme qui rit, однимъ словомъ! И это все, замѣтьте, въ какихъ-нибудь пять лѣтъ! Удивлены? Не вѣрите? Хотите знать причину? Cherchez la femme, monsieur!

Онъ грузно опустился на траву и смотрѣлъ на меня, поддерживая обѣими руками голову и прищуривъ одинъ глазъ. Лицо его, желтое и обрюзглое, было необыкновенно нагло, манеры были самоувѣренныя, рѣшительныя. Я молчалъ—по возможности вѣжливо.

— Г. художникъ, вижу, я васъ начинаю интересовать. Признаюсь, люблю потолковать съ умнымъ человѣкомъ. Я, разумѣется, не обижаюсь на васъ за то, что вы не протянули мнѣ руки. Пять лѣтъ тому назадъ, я не протянулъ-бы руки вамъ — по глупой гордости, такъ

*

какъ я изъ себя барина корчилъ... Мы поэтому квиты. Но только вы мнѣ очень и даже очень симпатичны... Ого! Какія слова «босякъ» говоритъ! Удивлены небось? Я давно наблюдаю васъ. Вижу, ходитъ человѣкъ съ альбомомъ и все рисуетъ моихъ товарищей и товарокъ по несчастью... или, лучше сказать, по положенію... Такъ какъ быть босякомъ—это position... Неправда-ли, и это васъ поражаетъ? Et vous — parlez vous francais? Что касается до меня, то хотите, я цѣлый часъ буду говорить по-французски? Ну, хорошо, все равно, буду говорить по-русски. Я только хотѣлъ вамъ показать, каковъ я есьмь человѣкъ... что я не то, что тамъ Петька Голый какой-нибудь! Итакъ, ходите вы съ альбомомъ, и вижу—пальто на васъ недорогое, купленное въ магазинѣ, а не заказное... Неправда, отгадалъ? Я это все понимаю, и глазъ у меня вѣрный. А ежели пальто дешевое, да еще на художникѣ, то ужъ человѣкъ, навѣрно, порядочный. Каковъ демократъ Вадимъ Кочерга! Думаю, при

случаѣ, двугривенный, а не то и пятьдесятъ копѣекъ взаймы дастъ! Вѣдь, дадите? Вѣдь, согласитесь, что я не ошибся и одаренъ нѣкоторымъ даромъ предвидѣнія? Скажу вамъ больше: вотъ въ этомъ самомъ карманчикѣ лежитъ у васъ мелочь, назначенная для раздачи босякамъ, такъ, приблизительно, копѣекъ сорокъ. И, наконецъ, читаю въ сердцѣ вашемъ слѣдующее: «А чортъ съ нимъ, дамъ ему эти сорокъ копѣекъ, да кстати и нарисую его»... Ради Бога, не ставьте меня въ неловкое положеніе, скажите: угадалъли я?

— Пожалуй, угадали, я вамъ намѣренъ предложить двадцать копѣекъ.

— Помилуйте, это будетъ эксплоатація! Я рѣдкій типъ, не на каждомъ шагу встрѣтите Вадима Кочергу! Я сынъ статскаго совѣтника, я прожилъ на своемъ вѣку ровно сто тысячъ! Сообразите все это, cher... А впрочемъ, пользуйтесь. Двадцать копѣекъ въ настоящее безвременье представляютъ для меня капиталъ. Соглашаюсь съ тѣмъ большей охотой,

что продолжаю не сомнѣваться въ благородствѣ вашего сердца: увѣренъ, что, узнавъ меня покороче, вы не пожалѣете всей вашей мелочи. Ибо что такое мелочь? Условный денежный знакъ, мѣдь звенящая. Воистину говорю вамъ, что этотъ самый босякъ, на котораго вы смотрите теперь съ такимъ недовѣріемъ и естественнымъ опасеніемъ на счетъ цѣлости вашего носоваго платка, бросалъ ямщикамъ по десяти рублей на водку. Да что! Однажды въ клубѣ двадцатипятирублевой бумажкой папиросу закурилъ!... Становой какъ увидѣлъ, такъ, знаете, за пылающую бумажку ухватился, въ ладони притушилъ, да ужъ поздно... Мнѣ въ настоящее время такія деньги кажутся Богъ знаетъ какими, а тогда я плевалъ на тысячи. Зато вокругъ меня люди жили, всѣ мною пользовались, наживались. Мой лакей теперь отличный ресторанъ открылъ и на глаза меня не пускаетъ. Боится, скотъ, что я его скомпрометирую.

Онъ сухо засмѣялся и указалъ на свои «невыразимыя», всѣ въ дырьяхъ, и на

рубаху-косоворотку, надѣтую на манеръ блузы. Эта рубаха еле держалась, одно плечо было обнажено.

— Согласитесь сами, милостивый государь, что такая внѣшность должна дѣйствовать подавляющимъ образомъ на лакейское чувство. По вашему, какъ вы художникъ, въ моей фигурѣ бездна живописнаго, а лакей не видитъ въ ней ничего, кромѣ неприличнаго... У него теперь какой-нибудь прежній Вадимъ Кочерга на бильярдѣ играетъ или съ арфянками время проводитъ, и вдругъ, этакая фигура явится... Нельзя, нельзя, я это хорошо понимаю!

— И такъ, поручаю себя вашей гуманности, началъ онъ, помолчавъ и кивнувъ головой. А между тѣмъ, пока вы живописуете Вадима Кочергу въ его новомъ положеніи, позвольте дать исходъ моей словоохотливости и посвятить васъ въ тайны моего былого-прошлаго... Большое удовольствіе доставляетъ мнѣ, ежели я излагаю свои воспоминанія предъ развитымъ человѣкомъ. Здѣсь, среди этихъ

босяковъ, хоть и можно встрѣтить золотое сердце, но нѣтъ истинно-просвѣщенныхъ людей... Скажу вамъ прежде всего. что ничуть не почту себя обиженнымъ, коль скоро вы предадите гласности мои словесные мемуары. Неоднократно былъ судимъ и оттого привыкъ не бояться гласности. Даже уважаю оную, а не токмо боюсь.

— Едва-ли слѣдуетъ упоминать, въ какомъ я нынѣ обрѣтаюсь положеніи. Костюмъ мой—вы его видите. На ногахъ—сапоги, правда, крѣпкіе, но въ такихъ-ли сапогахъ приличествуетъ ходить благородному человѣку? Мое занятіе — презрѣнное прозябаніе, червеподобное ползаніе, тогда какъ я родился парить орломъ. Не забылъ грамоту и иногда пишу просьбы убогому люду. Но по врожденному острословію и такъ-какъ я теперь l'homme qui rit, то просьбы мои выходятъ нарочито забавными и съ нѣкоторыхъ поръ потерялъ я и эти заработки. Пробовалъ писать серьезно — не могу, что подѣлаешь! Призваніе! Юмористическій талантъ! Въ родѣ какъ-бы Лейкинъ!

Онъ замолчалъ и улыбался, собираясь съ мыслями. Черные зубы его двумя рядами выглядывали изъ-за растянутыхъ блѣдныхъ и тонкихъ, какъ лезвіе ножа, губъ.

— Съ другой стороны, не думайте, чтобъ я особенно тяготился своей теперешней position. Ничуть. Случилось это все постепенно. И когда лежишь подъ этакимъ деревомъ, глядишь въ синее небо, слушаешь, какъ рокочетъ городъ, то такъ легко становится на душѣ! Прежде я не понималъ, cher, Діогена, а теперь начинаю понимать старика. Я никому не долженъ, ибо и должнымъ быть не могу— такія у насъ права. А это большое удобство. У меня ничего нѣтъ, но и на все ваше я смотрю, какъ на непринадлежащее вамъ. И въ такой точкѣ зрѣнія есть тоже удобство. Напр., вы забыли на травѣ это пальто—шалишь, оно ужъ на моихъ плечахъ! Такое, повторяю, право, г. художникъ, обычное босяцкое право! Я отрѣзанный ломоть, такъ. Но сознаніе своей отрѣзанности отнюдь меня не огорчаетъ,

а напротивъ даетъ мнѣ утѣшеніе, которое я не иначе могу назвать, какъ философскимъ. Вамъ это непонятно, а между тѣмъ я, презрѣнная тварь, самъ съ презрѣніемъ гляжу на васъ и на весь родъ людской. Изъ-за чего суета жизни? Все прахомъ пойдетъ, вѣрьте мнѣ, г. художникъ. И ваши картины, и ваша честность, и добродѣтель вашей жены, и ваши идеалы—все это тлѣнъ и нуль. То-ли дѣло, облегченный, елико возможно, имѣя за собою десять лѣтъ сладкой жизни и горькаго опыта, иду я, нищій тѣломъ, но богатый духомъ, по тропамъ Царскаго сада, безпечно смотрю всѣмъ въ глаза, ничего не стыжусь, надъ всѣмъ возношусь! Я царь, я рабъ, я червь, я богъ... Да-съ, неимѣть обязанностей, никакихъ, нималѣйшихъ, ни общественныхъ, ни имущественныхъ, ни семейныхъ, да это блаженство! Ну, а права остаются.

— Пальто при случаѣ...

— Пальто при случаѣ, если плохо лежитъ, возьму, это вы вѣрно.

Онъ сдѣлалъ паузу и старался придать

своему лицу самое саркастическое выраженіе. Потомъ глаза его сверкнули, онъ нахмурился и ударилъ себя кулакомъ въ грудь.

— Какъ, меня ограбили, а я пальта не могу взять! Я *вамъ* сто тысячъ бросилъ, а вы меня въ тюрьму садите, если я ничтожную вещь возьму у васъ! Есть Богъ и онъ разсудитъ насъ!

Онъ трагическимъ жестомъ указалъ на небо. Я попросилъ его сидѣть спокойнѣе. Онъ мгновенно сталъ прежнимъ развязнымъ «бельомомъ».

— Вы извините меня, cher, на меня по временамъ находитъ изступленіе, оттого, что чувство справедливости во мнѣ возмущается. Вижу, что сильно уклонился въ сторону, и спѣшу перейти къ моимъ мемуарамъ. Предупреждаю, какъ я честный человѣкъ, что иногда я сильно присочиняю... Будто я генеральскій сынъ и до восемнадцати лѣтъ въ пансіонѣ благородныхъ дѣвицъ воспитывался, вмѣсто барышни... по особымъ соображеніямъ маманьи... Приэтомъ, разумѣется, накура-

лесилъ я будто-бы въ пансіонѣ уму непостижимо. Ничего этого не было на самомъ дѣлѣ: родитель мой былъ совѣтникомъ губернскаго правленія и дралъ съ живого и съ мертваго, а въ благородномъ пансіонѣ я отродясь не бывалъ. Это ужъ такая босяцкая привычка фантазировать. Ежели солгу, то сейчасъ кашляну—вы по этому можетъ замѣтить, что я неправду говорю...

— Я воспитывался въ гимназіи и дошелъ только до четвертаго класса. Вмѣстѣ съ князькомъ Г. мы потомъ пять лѣтъ въ видѣ футурусовъ при нѣжинскомъ лицеѣ окончательный экзаменъ держали. Но каждый разъ мы на первомъ же предметѣ проваливались и такъ съ горя напивались, что насъ холодной водой отливали. Наконецъ, князекъ поступилъ въ—скій полкъ, ну, и я съ нимъ, разумѣется. Побыли мы годъ въ полку—неинтересная жизнь, описывать не стоитъ. Черезъ годъ князекъ поѣхалъ и опредѣлился въ юнкерское училище, а я, вопреки волѣ родителей, отправился въ Сербію—воевать. Я тогда такъ разсуждалъ: сдѣлаюсь героемъ, прослав-

люсь, возьму штурмомъ крѣпость, велю распять десять тысячъ турокъ, плѣню самого султана... Вообще надежды были неумѣренныя. Вмѣсто же всего, пришлось преглупо въ шанцахъ лежать по цѣлымъ днямъ и трусливѣйшимъ манеромъ отъ турокъ бѣгать. А, наконецъ, того, и со срамомъ изъ Сербіи уходить. Правда, что получилъ я таковскій крестъ (кх!—ккх!!), но утѣшеніе небольшое. Какъ разъ родитель мой въ это время скончался — царство ему небесное! — и оставилъ мнѣ ни мало, ни много, какъ сто тысячъ рублей. Домà я тоже перевелъ въ деньги и началъ, знаете, кутить. Опять поступилъ въ юнкера, опять сошелся съ князькомъ Г., который тѣмъ временемъ успѣлъ уже произойти въ офицеры. Я на этого князька молился и, хоть онъ былъ захудалый, но, какъ истый хамъ и крапивное сѣмя, благоговѣлъ передъ нимъ и все, чего онъ ни захочетъ, предоставлялъ ему. У меня самъ полковникъ обѣдывалъ, офицеры безъ сюртуковъ плясали и другъ друга шампанскимъ обливали. Сколько мы барышенъ въ

городѣ развратили, и притомъ въ короткое время! Шло между тѣмъ дѣло къ войнѣ. «A la guerre comme à la guerre», говаривалъ мнѣ полковникъ:— «какъ въ походъ выступимъ, то послѣ перваго же дѣла мы васъ безъ экзамена къ первому чину представимъ». Говоритъ и все у меня пируетъ. Та зима мнѣ тысячъ въ двадцать стала. Приходитъ разъ князекъ. «Другъ мой, дай пять тысячъ. Сестра пріѣхала, надняхъ овдовѣла... Ты понимаешь... Дѣла нашего дома запутаны... Надо помочь... Отдамъ послѣ войны»... На войну всѣ тогда сильно надѣялись и ей радовались... «Хорошо», говорю. Онъ сейчасъ обнимать меня, цѣловать. «Пойдемъ, Кочерыжка (такъ онъ называлъ меня изъ интимности), пойдемъ, я представлю тебя сестрѣ». Идемъ. Сестра князька Оградова, въ гостиницѣ три номера заняла. Впустила насъ горничная, которую князекъ въ передней подъ подбородкомъ пощекоталъ, и сказалъ: «Доложи, что я съ лучшимъ другомъ своимъ по важному дѣлу явился». Ну, вотъ вошли, въ номерѣ ковры, накурено духами. Смотрю — дама

въ черномъ, въ черныхъ кружевахъ, божество, а не женщина! Я такихъ никогда не видѣлъ. Лобъ у ней бѣлый, какъ молоко, брови дугами, рѣсницы и глаза большіе, какъ звѣзды, и носикъ пряменькій... Да нѣтъ, не могу я передать вамъ ея лица! А улыбка! Отъ одной улыбки все мое нутро заиграло. Однимъ словомъ, влюбился я въ эту вдову.

Онъ замолчалъ и билъ травинкой по землѣ.

— Черезъ эту вдову вы и состояніе потеряли? спросилъ я.

— Черезъ нее. То-есть и черезъ нее, и не черезъ нее... Мнѣ хотѣлось ослѣпить ее, показать ей, что я Крезъ, и я вообразилъ, что могу купить ее. Отдалъ я князьку пять тысячъ, но онъ, не будь дуракъ, взялъ ихъ на свои надобности, а сестрѣ далъ только пятьсотъ рублей. Пошли наши въ походъ, а я увильнулъ—все ради Оградовой, чтобы никому безъ меня она не досталась. Князекъ самъ поручилъ мнѣ беречь ее и на дорогу взялъ у меня еще тысячу. Его подъ Никополемъ убили. Я

и говорю Аннѣ Спиридоновнѣ: «Анна Спиридоновна, вы теперь однѣ на свѣтѣ... Неужели нѣтъ у васъ потребности въ дружбѣ? И развѣ вы не замѣчаете, что во мнѣ дѣлается?» Она усмѣхнулась и ничего не сказала. Черезъ мѣсяцъ, получивъ отъ нея записку, съ просьбой о деньгахъ, пришелъ я къ ней и ужъ прямо поставилъ вопросъ. Такъ и такъ, я люблю васъ, будьте моей. А она такъ гордо посмотрѣла на меня, съ такимъ удивленіемъ, и деньги мнѣ возвратила. Взбѣсился я страшно и поклялся, что добьюсь своего. Хамъ, истинное крапивное сѣмя! Я довелъ ее до ужаснѣйшей бѣдности, два года преслѣдовалъ ее, скупалъ ея счеты и обязательства... Наконецъ, черезъ два уже года, когда она въ бонны къ купчихѣ поступила и я узналъ, что живется ей тамъ ухъ, какъ не сладко, предложилъ я ей десять тысячъ—все, что у меня оставалось!—за одну единственную ночь. Но и это подлое предложеніе отвергла она съ негодованіемъ. Тогда я съ ума сошелъ. Заплатилъ бородачамъ-лавочникамъ по ты-

сячѣ рублей за то, чтобы связать ихъ бородами, лицомъ къ лицу, и такъ на улицу вытолкалъ, накормивши передъ тѣмъ рвотнымъ, велѣлъ фонарные столбы вездѣ опрокинуть, избилъ квартальнаго, спустилъ въ оврагъ домикъ съ погибшими созданіями и схватилъ бѣлую горячку... Все орломъ себя воображалъ... Когда я очнулся, то у меня ужъ ничего не было.

— Такъ вотъ она жизнь Вадима Кочерги, отставного портупей-юнкера! заключилъ онъ, вставая и получая отъ меня мелочь. Сравните ее съ жизнью, которую онъ теперь ведетъ, и скажите, какая лучше. Чувствительно благодарю васъ!

VII

СОРОКОНОЖКА

Я собирался уѣзжать изъ Кіева. Чемоданъ былъ упакованъ, этюды, которые понужнѣе, свернуты въ трубку, кисти чисто-на-чисто вымыты, купленъ запасъ

бумаги, карандашей, красокъ. До поѣзда оставалось нѣсколько часовъ.

Зачерчивая типы Царскаго сада, я и не замѣтилъ, какъ мало-по-малу эту типы овладѣли моимъ воображеніемъ, стали группой на фонѣ приднѣпровскихъ песковъ и садовъ и сложились въ одну цѣльную картину, которая съ нѣкоторыхъ поръ не даетъ мнѣ покоя и просится на большое эфектное полотно. Мнѣ до смерти хочется изобразить этотъ странный народъ, этихъ цыганъ россійской цивилизаціи, парій, погрязшихъ въ невообразимыхъ и непроходимыхъ топяхъ порока, разврата, нищеты, ужасныхъ болѣзней и все-таки по временамъ проявляющихъ образъ Божій, «душу живу», вызывающихъ въ непредубѣжденномъ наблюдателѣ и чувство искренняго сожалѣнія, и симпатію. Ужъ я обдумалъ и свою картину. Мнѣ мерещится трущоба Царскаго сада, дикая, пустынная, съ большими унылыми деревьями. Конецъ ноября или начало дѣкабря. На голыхъ вѣтвяхъ лишь кое-гдѣ дрожитъ сухой листъ. Сѣрое, утреннее, изголубо-оловянное

небо, вдали замерзшій Днѣпръ и на горизонтѣ, верстъ на десять въ глубину, синѣютъ лѣса, сливаясь, наконецъ, съ небесами. Тамъ и сямъ на рѣкѣ торчатъ мачты застывшихъ на мѣстѣ барокъ; направо, наискосокъ, блѣдно-лиловой сѣтью протянутъ мостъ. Снѣга еще мало и рѣка блеститъ мѣстами тусклымъ блескомъ плохо-отполированнаго стекла. На первомъ планѣ, на сухихъ травинкахъ, бѣлѣетъ сѣдой иней. Онъ покрываетъ всю землю. Таковъ мой фонъ. Сама картина заключается въ слѣдующемъ. На сырой землѣ лежитъ мертвая дѣвушка въ лохмотьяхъ. Лицо у ней съ крупными чертами, нахмуренный лобъ; зрителя долженъ схватывать ужасъ при взглядѣ на эту фигуру. Это Машка, о которой мнѣ разсказывала Дворянская Дочь. Босяки стоятъ вокругъ. Вотъ здѣсь и сама Дворянская Дочь, въ кускахъ ваточнаго одѣяла, съ багровымъ безобразнымъ лицомъ, и Петька Голый, и Дунька Плѣшивая, и Кочерга, и Танька-Цыганочка съ «Лександриной» на рукахъ, и еще нѣсколько силуэтовъ поодаль. Всѣ молчатъ.

*

Всѣхъ захватило скорбное чувство, и они не могутъ оторвать глазъ отъ ужаснаго зрѣлища. На землѣ, возлѣ мертвой, валяются разныя лохмотья, и изъ-подъ одного изъ рубищъ глядитъ только-что проснувшійся мальчикъ, съ запухшимъ лицомъ, всклоченными волосами, съ недоумѣвающимъ взоромъ. Что случилось? Вчера, когда было такъ холодно, всѣ эти босяки легли, какъ животныя, въ одну кучу, чтобъ согрѣться, чтобъ спать было теплѣе. А сегодня? Онъ не знаетъ, что именно случилось, но чувствуетъ, что что-то неладно. Тревога проступаетъ на его лицѣ. Это братъ Машки, онъ похожъ на нее, какъ можетъ быть похожъ только братъ. Группу босяковъ я поставлю такъ, что блѣдные лучи зимняго разсвѣта не коснутся ихъ. Но вся Машка будетъ на свѣту, плохо одѣтая, съ твердыми контурами замерзшаго крѣпкаго тѣла; я отдѣлаю ее со всѣмъ мастерствомъ, которымъ только располагаю, потому-что она главное лицо моей картины, узелъ и центръ всей этой босяцкой трагедіи, этой душу надрывающей драмы.

Но гдѣ найти натурщика для брата Машки? Лицо это должно быть характерно и типично. Разумѣется, можно было-бы какъ-нибудь обойтись: взять перваго попавшагося мальчика и вдвинуть его въ картину, придавъ ему приличную случаю позу и экспресію. Однако, хоть это и водится между художниками и на картинахъ вы постоянно встрѣчаете одни и тѣ-же типы, то въ роли Дмитрія Донскаго, то въ роли какого-нибудь современнаго барина, но мнѣ такая манера не нравится. Художники моей школы не сочиняютъ и по шаблонамъ не пишутъ. Занимательнѣе и красивѣе дѣйствительной жизни ничего не придумаешь. А главное, и придумывать какъ-то совѣстно—точно ты безсиленъ и слѣпъ, или не въ состояніи ясно видѣть, какъ не видитъ, не слышитъ и не понимаетъ жизни заурядная толпа, равнодушно проходящая мимо интереснѣйшихъ явленій.

Я хотѣлъ остаться въ Кіевѣ еще на день или на два, чтобъ отыскать въ Царскомъ саду подходящаго мальчика. Я его ясно представлялъ себѣ; но мнѣ хотѣлось

увидѣть его и убѣдиться, что я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то сейчасъ-же во всѣхъ подробностяхъ исправить ошибку. Судьба благоволила ко мнѣ, и я нашелъ мальчика, какого мнѣ надо было, даже съ такими волосами, какіе требовались общею колористическою композиціею задуманной мною картины.

Это случилось сейчасъ-же, какъ только я вошелъ въ Царскій садъ и повернулъ налѣво, взобравшись на косогоръ, что за купеческимъ клубомъ.

Мальчикъ, по босяцкому обыкновенію, лежалъ на травѣ, подъ тѣнистымъ деревомъ, и глаза его, большіе и задумчивые, безцѣльно были устремлены вдаль, на Крещатикъ, который виднѣлся отсюда, пыльный и раскаленный, какъ горнъ.

— Здравствуй, милый.

— И вы здравствуйте.

— Какъ тебя зовутъ?

— На-що вамъ?

— Пойди сюда... не бойся... Да что ты! Скажи мнѣ, есть у тебя отецъ?

Я съ удивленіемъ увидѣлъ, какъ маль-

чикъ, лежавшій до того неподвижно и апатично, проявилъ вдругъ необычайную и на первый взглядъ ничѣмъ необъяснимую дѣятельность. Онъ вскочилъ, какъ ужаленный, и, словно бѣлка, съ непонятной скоростью сталъ карабкаться на дерево; раза два посмотрѣлъ онъ внизъ, на меня, съ испуганнымъ лицомъ, готовый расплакаться. Свѣтлые рыжеватые волоса гривой нависли на глаза и придавали ему видъ звѣрка; колѣни его и локти долго сверкали въ зеленой листвѣ дерева и, наконецъ, онъ исчезъ. Я видѣлъ только у самой вершины клена въ просвѣтѣ темно-зеленыхъ вѣтокъ алое пятно кумачной рубашки. Онъ притаился.

— Послушай! Чего ты испугался?

Отвѣта не было.

Я постоялъ, пожалъ плечами и хотѣлъ идти дальше; но изъ кустовъ вышелъ Кочерга, изящно поклонился и, въ качествѣ любезнаго бельома, нашелъ необходимымъ помочь мнѣ.

— Это, рекомендую, мой камердинеръ...

— Вашъ камердинеръ?

— Натурально, мой. Его зовутъ Сороконожкой. Эй, дурень, слѣзай! Панъ — добрый! Онъ тебѣ зла не сдѣлаетъ! Онъ не отъ батьки! Да ну, слѣзай, а то отдую! Престранное созданіе, доложу вамъ. Уже нѣсколько недѣль, какъ обратилъ я на него должное вниманіе, но только весьма трудно пріучить его къ отправленію свойственныхъ его званію и расторопности обязанностей. Онъ удралъ отъ своего родителя, который пречудеснѣйшій столяръ, но звѣрь и даже разъ повѣсилъ сына... Увѣряю васъ честью! Отъ этого онъ въ постоянномъ страхѣ и недоумѣніи, что его арестуютъ и водворятъ. А ужъ если водворятъ, то можете вообразить, какая лупка ожидаетъ молодца! Послѣ повѣшенія-то! Слѣзай, слѣзай! Баринъ денегъ дастъ! Посидишь немного, нарисуетъ тебя и дастъ. А деньги, доложу вамъ, ухъ какъ необходимы! Вы ему, пожалуйста, копѣекъ пятьдесятъ дайте. Мальчикъ замѣчательный и честности рѣдкой. Представьте, все, что ни получитъ, что ни стащитъ—несетъ ко мнѣ...

— Въ этомъ и состоятъ его обязанности?

— Ну, не скажите... Онъ чиститъ мнѣ платье.—Тутъ отставной портупей-юнкеръ указалъ на свою рубаху съ дыркой на плечѣ.—Чиститъ сапоги... Стелетъ мнѣ постель — изъ сѣна. Бѣгаетъ за водкой.

Между тѣмъ Сороконожка слѣзъ съ дерева и стоялъ поодаль, изъ-подлобья глядя на меня. Былъ это мальчикъ лѣтъ пятнадцати. Ему было чудно, что я нехватаю его, а мирно бесѣдую съ босякомъ, и онъ сталъ улыбаться.

— Ишь, шельма! Смѣется! началъ Кочерга и схватилъ Сороконожку за вихоръ. Ты чего струсилъ? Недостойный слуга! Садись и глазомъ не моргни, каналья! Не дыши!

— Присядь, присядь, сказалъ я, раскрывая альбомъ.

— Господинъ художникъ, послушайте, не можете-ли вы пока рискнуть пятиалтыннымъ?

Я исполнилъ просьбу Кочерги.

Онъ взялъ монету и спокойно опустилъ ее въ карманъ.

— Au révoir! Пропущу рюмашечку. А ты—смотри у меня! Если г. художникъ пожалуется, что ты неспокойно сидѣлъ—исколочу, изувѣчу! Уши обрѣжу, кишки выпущу и на руку намотаю!

— Что, онъ тебя бьетъ? — спросилъ я по уходѣ портупей-юнкера.

Сороконожка ухмыльнулся.

— Ни, ни разу не бивъ. Винъ усе шуткуе. Ему усе игрушки.

— И ты ему все отдаешь?

— Що усе?

— Что ни получишь. Вотъ я тебѣ дамъ денегъ теперь за то, что ты посидишь. Ты ему отдашь?

— А тожъ кому!?

— За что-же?

— Якъ за що? Винъ скаже: «А де гроши?», то я и виддамъ. Мени грошей не треба.

— А что-жъ ты ѣшь?

— Що уси идятъ, то и я.

— Босяки тебя кормятъ?

— А то-жъ.

Я торопливо набрасывалъ Сороконожку.

До поѣзда было не мало времени, но предстояло еще кое-что сдѣлать и мнѣ нельзя было засиживаться въ саду.

— Господинъ художникъ, а господинъ художникъ!

Я поднялъ голову. Опять стоялъ бельомъ. Онъ уже успѣлъ пропить пятиалтынный, что было видно по его раскраснѣвшемуся носу. Темное пятно на лѣвой скулѣ, не замѣченное мною раньше, бросилось мнѣ въ глаза.

— Что вамъ?

— Публика проголодалась.

— Какая публика?

— Звѣринецъ въ сборѣ! Вонъ тамъ на лужайкѣ, сейчасъ за каланчей... Они ожидаютъ. Я сказалъ имъ, какъ благородный дворянинъ, что угощу обѣдомъ... Дайте взаймы?! Завтра возвращу... честное слово!

— Мы съ вами едва-ли увидимся.

— Уѣзжаете? Въ самомъ дѣлѣ? Вотъ что... Жаль! Такъ тѣмъ болѣе, вы не должны скупиться! Нѣтъ, вы рубль дайте! Ужъ и вспоминать васъ будемъ... Дайте рубль безъ отдачи.

Я вынулъ мое тощее портмонэ и далъ Сороконожкѣ рубль съ тѣмъ, чтобъ онъ обратилъ его на пользу всей братіи. Бельомъ даже языкомъ прищелкнулъ. Онъ раскланялся со мною развязно и дурашливо, откинувъ далеко руку и закативъ глаза.

— Ахъ, вотъ еще къ вамъ просьба?! сказалъ онъ, возвращаясь въ попыхахъ, между тѣмъ какъ Сороконожка продолжалъ идти дальше, зажавъ въ рукѣ бумажку.

— Какая?

— Нѣтъ-ли съ вами красокъ?

— Зачѣмъ вамъ краски?

— Нѣтъ-ли тѣлесной краски?

Онъ таинственно и любезно смотрѣлъ на меня.

— Да зачѣмъ?

Въ отвѣтъ онъ поднялъ палецъ и указалъ на чернобагровое пятно подъ лѣвымъ глазомъ.

— Закрасить.

— Нѣтъ, красокъ съ собой нѣтъ. Странная идея! Все равно, такъ пройдетъ.

— Не хорошо-съ! возразилъ онъ. На Крещатикъ нельзя показаться.

— До свиданія!

— До свиданія! Счастливой дороги! Надо спѣшить къ своимъ!

Я вышелъ изъ сада и поднялся по Александровской улицѣ. Я прошелъ уже изрядное пространство, какъ услышалъ что кто-то бѣжитъ позади меня и кричитъ:

— Панъ, а панъ!

Я обернулся и увидѣлъ Сороконожку.

— Ножикъ загубили! кричалъ онъ, подавая мнѣ перочинный ножъ.

Мнѣ ужасно понравился этотъ мальчикъ.

— Послушай, поѣдемъ со мною. Ты будешь служить у меня. Я тебя грамотѣ обучу, одѣну...

— Добре...

— Я розыщу твоего отца и уговорю его отпустить тебя, дать тебѣ бумагу...

Мальчикъ насторожилъ ухо.

— Якъ? Щобъ до батька? Э, ни, не хочу!

— Да не до батька, а надо-жъ, чтобъ онъ тебя отпустилъ.

— Ни, якъ такъ, то не хочу!

— Да я батькѣ заплачу!

— Ни, вже не хочу!

Я взялъ его за руку, чтобъ уговорить его, но онъ въ страхѣ и тоскѣ посмотрѣлъ на меня, сильно рванулся и стрѣлой помчался назадъ.

1884.

ВѢРОЧКА

I

Тополькн — это дворянскій кварталъ въ ***, полурусскомъ, полупольскомъ городѣ. Воздухъ тутъ прекрасный, множество садовъ; мѣстность высокая и ровная. Тамъ, внизу, на Почаевскомъ проспектѣ, кипитъ торговля, снуетъ людъ, дѣловой и праздношатающійся, гремятъ экипажи, а здѣсь и домовъ-то немного, народу еще меньше. Дома особняки, большею частью одноэтажные, окруженные деревьями. На тѣнистыхъ улицахъ тихо, каменная мостовая поростаетъ травой, зеленой, какъ изумрудъ; и всюду царитъ приличная скука.

Въ одномъ изъ такихъ скучныхъ домовъ жилъ мой двоюродный дядя, Трималовъ.

Звали его Сергѣй Ипполитовичъ. Ему было около сорока пяти лѣтъ, и наружности онъ былъ представительной—высокій, съ большимъ горбатымъ носомъ, съ длинной красной шеей и темной съ просѣдью бородкой. Всегда я видѣлъ его въ сюртукѣ; онъ былъ причесанъ безукоризненно, съ проборомъ посрединѣ, и всегда на губахъ его играла не то благожелательная, не то насмѣшливая улыбка.

Я былъ студентомъ, и Сергѣй Ипполитовичъ обращался со мною потоварищески, однако, безъ фамильярности. Я жилъ у него во флигилѣ, который стоялъ въ великолѣпномъ липовомъ паркѣ. Отъ дяди я получалъ карманныя деньги въ неограниченномъ количествѣ. Онъ былъ мой опекунъ; мнѣ едва пошелъ двадцать первый годъ.

Дядя никогда не дѣлалъ мнѣ замѣчаній по поводу того, что деньги не держались у меня. Снисходительно улыбаясь, онъ бывало потреплетъ меня только по плечу, когда я, получивъ деньги перваго числа, являюсь за ними еще и десятаго, и пят-

надцатаго, и двадцать седьмаго — вообще какъ придется, смотря по надобности. Долженъ сказать, что хотя я напередъ былъ увѣренъ въ снисходительности Сергѣя Ипполитовича, но не безъ робости я входилъ въ его дорогой кабинетъ. Правда, эту робость я прикрывалъ, обыкновенно, напускной развязностью.

Я выразился: «дорогой» кабинетъ. Это не значитъ, что у дяди былъ кабинетъ, украшенный произведеніями искусства, рѣдкими вещами. Сергѣй Ипполитовичъ не любилъ, или, вѣрнѣе, не понималъ картинъ и предпочиталъ фотографіи. Ни одной художественной бронзы, ни одного куска мрамора не было въ домѣ. Но ему нравилась массивная мебель чернаго дерева, и его письменный столъ сверкалъ серебряными вещицами: драконообразными подсвѣчниками, чернильницей въ видѣ русской избы, башмачками, лаптями; даже серебряный калачъ красовался на столѣ. Въ кабинетѣ было много книгъ, въ богатыхъ переплетахъ, золотообрѣзныхъ. Въ углу висѣла огромная икона, вся въ се-

ребрѣ. Я до сихъ поръ не рѣшилъ, былъ ли дядя религіозенъ, или эта икона находилась тутъ благодаря его страсти къ серебру. Мнѣ кабинетъ Сергѣя Ипполитовича не нравился. Вопіющій блескъ этой роскоши смягчался только стариннымъ полинялымъ ковромъ, который занималъ весь полъ и былъ свѣтло-голубой въ темныхъ турецкихъ цвѣтахъ. Когда я входилъ къ дядѣ, онъ поднимался мнѣ навстрѣчу и дѣлалъ по этому ковру два неслышные вѣжливые шага.

Дядя былъ женатъ, но съ женой не жилъ. Я видѣлъ ее только въ моемъ дѣтствѣ. Меня тогда поразили ея толстыя красныя губы. Она была незаконная дочь князя Г. и цыганки. Вышла она замужъ за нѣкоего Исаева, бросила его, прижила съ адвокатомъ, который велъ ей дѣло о разводѣ, дѣвочку, Вѣрочку, вышла вторично за Сергѣя Ипполитовича и, наконецъ, поселилась въ Парижѣ, оставивъ свою дочь мужу. Она была вспыльчивая женщина, страдала отъ ничего-недѣланья, придиралась ко всѣмъ, и, помнится, послѣдняя

ссора ея съ дядей, положившая конецъ ихъ сожительству, произошла за завтракомъ, нѣкоторымъ образомъ изъ-за вы-ѣденнаго яйца. Дядя поднесъ яйцо къ носу, съ цѣлью удостовѣриться, не испорченное-ли оно. Это движеніе показалось Аннѣ Спиридоновнѣ неделикатнымъ и даже гнуснымъ. Оттолкнувъ тарелку, она тутъ-же, съ сверкающими глазами, объявила Сергѣю Ипполитовичу, что ненавидитъ его. Должно быть, дядя не имѣлъ причинъ не вѣрить ей; а можетъ и то, что въ теченіе семи лѣтъ онъ самъ охладѣлъ къ ней. Они разстались.

Вѣрочка росла въ домѣ дяди. Въ институтъ онъ ее не отдалъ. Сергѣй Ипполитовичъ говорилъ, что безъ Вѣрочки ему скучно будетъ. Воспитывали ее гувернантки. Онѣ часто мѣнялись, и иногда ихъ было по двѣ. По вечерамъ онъ игралъ съ гувернантками въ преферансъ; и такъ-какъ онѣ были обыкновенно хорошенькія—онъ не могъ видѣть некрасивыхъ и старыхъ лицъ,—то онъ ухаживалъ за ними. По этому поводу о дядѣ ходили иногда

странные слухи. Но я не стану повторять ихъ.

Я поселился у дяди окончательно съ пятаго класса гимназіи. Сначала со мной жили репетиторы; но потомъ я остался одинъ. Первый репетиторъ, неужившійся у насъ, былъ студентъ четвертаго курса, юристъ, малороссъ, по фамиліи Ткаченко. У него былъ низенькій лобъ, черныя, густыя брови, малоподвижная шея. Онъ не любилъ говорить по-русски. Вмѣсто «что» всегда употреблялъ «що». И на все у него были опредѣленные взгляды, которые онъ считалъ непогрѣшимыми.

Защищать свои убѣжденія онъ не умѣлъ. Онъ обижался (что выражалось въ сосредоточенномъ молчаніи), ежели ему возражали. На каждомъ шагу онъ выказывалъ презрѣніе къ «панамъ», насмѣшливо смотрѣлъ на серебряный калачъ въ кабинетѣ дяди, водилъ дружбу съ кучеромъ и садовникомъ и ненавидѣлъ Тополькн.

Сергѣй Ипполитовичъ нашелъ, что Ткаченко вредно вліяетъ на меня. Однажды дядя внезапно заглянулъ во флигель. Онъ

увидѣлъ меня въ малорусскомъ кафтанѣ. На мнѣ были широчайшія синія шаровары, станъ перевязанъ краснымъ поясомъ, грудь сорочки вышита. Я старался ходить немножко вразвалку, какъ нашъ садовникъ, и бесѣдовалъ съ Ткаченко о томъ, что судьбы Малороссіи—это особая статья, а судьбы Великороссіи — это тоже особая статья. Ткаченко лежалъ на диванѣ и, отъ времени до времени, искусно плевалъ сквозь зубы.

— Что за маскарадъ, мой другъ?—сказалъ дядя съ пріятной улыбкой.—Повернись! Нѣтъ, къ тебѣ нейдетъ. Да и какой ты малороссъ! Внукъ московскаго купца, сынъ русскаго генерала, Трималовъ! Раздѣнься, прошу тебя... Не забывай, что ты еще гимназистъ и обязанъ носить форму, присвоенную твоему званію, — прибавилъ онъ шутливо.—Г. Ткаченко, вы чрезвычайно обяжете меня, если удѣлите мнѣ пять минутъ для разговора... къ которому, впрочемъ, я ужъ давно готовлюсь.

Результатомъ этого разговора было то, что Ткаченко уложилъ свои книги, запи-

ски, накинулъ на плечи кобенякъ, молча пожалъ мнѣ руку и уѣхалъ. При разговорѣ я не присутствовалъ. Но хотя я былъ увѣренъ, что дядя грубости не сказалъ, однако меня оскорбило, что онъ обошелся съ Ткаченко, какъ со слугой. Только слугъ такъ прогоняютъ. И по блѣднымъ губамъ Ткаченко, нервно подергивавшимся, когда онъ прощался со мной, я догадался, какъ страдала гордость этого человѣка.

Я два дня не говорилъ съ Сергѣемъ Ипполитовичемъ. Но онъ не замѣтилъ моего гнѣва и за обѣдомъ ласково смотрѣлъ на меня своими блѣдно-карими, выцвѣтшими глазами. Тогда мнѣ пришло въ голову, что онъ любитъ меня и желаетъ мнѣ добра. Я пришелъ въ кабинетъ послѣ обѣда, и миръ былъ заключенъ.

Было у меня потомъ еще два репетитора: баричъ изъ бѣдныхъ, щепетильно наблюдавшій за свѣжестью своихъ немногочисленныхъ рубашекъ, щеголявшій перчатками отъ Бергонье, духами отъ Огюста и вслухъ зубрившій записки, и медикъ, отставной поручикъ артиллеріи, Соколовъ.

Соколовъ былъ гигантъ, съ обширнымъ лбомъ, съ дальнозоркими голубыми глазами. Мнѣ онъ нравился, какъ воплощеніе мужества и красоты, и при немъ я усердно учился и еще усерднѣе читалъ. Чтобъ услышать отъ него одобрительный отзывъ, я все готовъ былъ сдѣлать. Я покупалъ книги, у меня составилась цѣлая библіотека серьезныхъ сочиненій; я жадно глоталъ ихъ въ надеждѣ пріобрѣсти хоть часть свѣдѣній, которыми обладалъ Соколовъ. Я ревновалъ, когда приходили къ нему молодые люди, или когда онъ уходилъ на всю ночь изъ дома. «Другихъ онъ понимаетъ съ полуслова, — терзался я: — а со мной не говоритъ ни о чемъ, кромѣ «предметовъ». Меня онъ считаетъ мальчикомъ. Всю сегодняшнюю ночь онъ, можетъ быть, провелъ въ спорахъ, отъ которыхъ зависитъ участь прогресса. Но какого полезнаго помощника онъ могъ бы найти во мнѣ!»

Я, однако, боялся заявить ему объ этомъ прямо. Мнѣ казалось, онъ самъ долженъ догадаться. Я худѣлъ, блѣднѣлъ и въ

отсутствіе Соколова старался подражать ему: задумчиво глядѣлъ въ пространство, прямо смотрѣлъ всѣмъ въ глаза, закидывалъ съ легкимъ высокомѣріемъ голову назадъ и, бесѣдуя съ Вѣрочкой, которой было тогда лѣтъ тринадцать, поражалъ ея невѣжественный умъ массой цитатъ изъ Кетле, Прудона, Бюхнера; Спенсера, Лассаля, Маркса. Она съ удивленіемъ слушала меня.

Однажды ночью я и Соколовъ были разбужены въ нашемъ флигелѣ необычнымъ шумомъ... У Соколова пересмотрѣли всѣ вещи, взяли его и увезли. Когда дядя, въ мерлушечьемъ рединготѣ, прибѣжалъ во флигель, въ тревогѣ, онъ уже засталъ меня только одного. Я плакалъ.

Соколовъ былъ моимъ послѣднимъ наставникомъ. Сергѣй Ипполитовичъ испугался и хотѣлъ опредѣлить меня въ пансіонъ. Но я упросилъ его оставить меня дома. Рѣшено было обходиться безъ репетитора. Такъ началась моя самостоятельная жизнь.

Въ тотъ день, когда я поступилъ въ

университетъ, я чувствовалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Огромная сводчатая аудиторія, такъ непохожая на гимназическіе классы, казалась мнѣ храмомъ. Студентъ! какъ пріятно звучало это слово! Ликующій пріѣхалъ я домой. Я ждалъ торжества, праздника. Я думалъ, что встрѣчу веселыя лица. Но угрюмо молчала тѣнистая улица. Еще угрюмѣе казался Трималовскій домъ съ своими столѣтними тополями и потемнѣвшими львами по обѣимъ сторонамъ генеральскаго герба, съ обвалившейся штукатуркой. Я вошелъ въ ворота. Мертвые листья желтѣли на каменныхъ плитахъ двора. Тишина стояла кладбищная. Плакучія сосны и березы, перевѣсившіяся черезъ чугунную рѣшетку сада, лишь усиливали мрачность впечатлѣнія. Я вошелъ въ домъ, прошелъ оранжереей. Тяжелый ароматъ цвѣтовъ вдругъ ударилъ мнѣ въ голову. И когда я отворилъ дверь въ кабинетъ Сергѣя Ипполитовича, то увидѣлъ его вмѣстѣ съ Вѣрочкой. Она сидѣла у него на колѣняхъ, и онъ нѣжно проводилъ рукой по ея чер-

нымъ, матовымъ волосамъ. Блѣдно-золотистый свѣтъ падалъ на нее изъ окна, плотно завѣшеннаго кисеей, и изъ-подъ ея коротковатаго платья выставлялись красивыя ножки въ бѣлоснѣжныхъ чулкахъ.

Мнѣ понравилась эта сцена. Дядя, сухой и холодный, какимъ я представлялъ его себѣ, рисовался въ этой сценѣ нѣжнымъ и любящимъ. Я пожалѣлъ его въ его одиночествѣ. Ему скучно жить, разбито его сердце, и вотъ онъ привязывается къ дѣвочкѣ, которая, въ сущности, не можетъ назваться его дочерью и на каждомъ шагу напоминаетъ ему лишь о томъ, что съ его женой были счастливы другіе. Бѣдный дядя!

Я съ умиленіемъ подошелъ къ нему. Вѣрочка быстро подняла голову, посмотрѣла на меня влажнымъ взглядомъ своихъ безпокойныхъ черныхъ глазъ, отѣненныхъ длинными, острыми рѣсницами, и все ея смуглое личико выразило смущеніе и испугъ. Дядя спокойно посмотрѣлъ на меня. Вѣрочка сдѣлала движеніе, чтобы уйти, но онъ крѣпче обнялъ ее и, обратившись ко мнѣ, спросилъ:

— Поступилъ?

— Поступилъ, дядя!

— Надо денегъ?

— О... я не думалъ просить... я просто...

— Послѣ обѣда получишь,—сказалъ дядя.—Ну, Вѣрочка, дай Александру въ награду поцѣловать руку...

Я смѣясь приблизился къ Вѣрочкѣ. Дядя рѣдко шутилъ въ этихъ предѣлахъ. И самъ я былъ такъ радостно настроенъ, что искренно хотѣлъ расцѣловать и дядю, и Вѣрочку. Вѣрочка неловко протянула мнѣ руку, теплую, тревожную, и я поцѣловалъ ее въ ладонь. Она спрятала голову на груди дяди. Щеки у меня вспыхнули, я повертѣлся, сказалъ нѣсколько ненужныхъ фразъ, потрогалъ серебряный калачъ и ушелъ. Отчего я застыдился — не знаю. Но мнѣ бросилось въ глаза, что Вѣрочка— красавица и что она ужъ не маленькая.

II

Все на первыхъ порахъ въ университетѣ кажется интереснымъ. И гулъ шаговъ въ асфальтовыхъ корридорахъ, и профессоръ, читающій по тетрадкѣ, и профессоръ импровизующій, и вонь анатомическаго театра. Я поступилъ на естественный факультетъ, но меня тянули къ себѣ и лекціи приватъ-доцента, читающаго о среднихъ вѣкахъ, и вечернія бесѣды сверхштатнаго профессора о медицинѣ,— интересовала словесность, философія. Съ лекціи профессора, читавшаго о клѣточкѣ, я уходилъ на лекцію профессора, излагавшаго новую книгу Лекки, и, побывавъ въ химической лабораторіи, отправлялся слушать римское право. Я накупалъ книгъ, записокъ, пріобрѣталъ вещи, казавшіяся мнѣ по преимуществу студенческими, напримѣръ: бухарскій халатъ, трубку съ саженнымъ чубукомъ, гравюру, изображающую умирающаго гладіатора, черепъ, кастетъ, гипсовый бюстъ Шевченко, шах-

маты, чучело филина, рога лося. Я говорилъ обо всемъ авторитетно; укорялъ литературу въ неуваженіи къ молодежи, и зналъ, что приговоръ мой чего нибудь стоитъ. Я не читалъ Фета, но смѣялся надъ нимъ; говорилъ, что Гоголь великій писатель и былъ бы еще больше, если-бы писалъ по-малорусски; стихи и романы я презиралъ. Я, однако, пробовалъ писать, проводилъ мучительные часы надъ сонетами въ честь свободы. И когда сонеты въ честь свободы не удавались, описывалъ восходы и закаты солнца.

Я посѣщалъ товарищей, товарищи посѣщали меня. Довольно скоро создалась у меня репутація «честнаго малаго». Меня избрали казначеемъ секретной студенческой кассы. На сходкахъ я произносилъ рѣчи, въ которыхъ обыкновенно запутывался, потому что не былъ рожденъ ораторомъ.

Вечерами студенты собирались небольшими компаніями—гуляли и пѣли въ городскомъ саду, играли на билліардѣ въ Кафе-франсэ, пили пиво и ходили по одной

отдаленной грязной улицѣ изъ дома въ домъ. Эти дома имѣли печальный видъ, фонари зловѣще горѣли надъ входомъ, и одеревенѣлый таперъ колотилъ по желтымъ клавишамъ среди роя молчаливыхъ дѣвушекъ. Иногда я возвращался домой навеселѣ. На другой день у меня болѣла голова, за чаемъ Вѣрочка указывала на мои опухшія вѣки. Я зѣвалъ, говорилъ: —Да, кутнулъ... Было дѣло!—и чувствовалъ себя взрослымъ человѣкомъ.

Такъ прошелъ октябрь, ноябрь.

Земля была мерзлая и звонко стучала подъ ногами, когда бывало утромъ гуляешь по Тополькамъ. Я гулялъ съ собакой. Огромный молодой песъ, толстый, какъ баранъ, шелъ, оскаливъ черный ротъ, и умными глазами смотрѣлъ на меня. Пустынныя улицы дремали утреннимъ дворянскимъ сномъ. Снѣгъ еще не выпалъ. Отъ легкаго мороза пощипывало щеки. И когда я являлся къ чаю, раскраснѣвшійся и бодрый, Вѣрочка, мнѣ казалось, смотрѣла на меня дружелюбнѣе, чѣмъ обыкновенно.

Гувернантка Вѣрочки, m-lle Эмма, держалась въ отношеніи меня сухо-офиціальнаго тона. Это была дѣвушка лѣтъ двадцати, съ таліей, какъ на модной картинкѣ. съ такимъ-же моднымъ, красивымъ, но безжизненнымъ лицомъ; брови были дугой, вѣки—черезчуръ прозрачныя—опущены, и изъ-подъ верхней губы чуть-чуть выставлялось по клыку. Она не подавала мнѣ руки, допускала разговоры только о погодѣ. Я начиналъ скучать въ ея присутствіи чрезвычайно скоро. А когда приходилъ дядя, вставшій позднѣе, и вѣжливо пожималъ мнѣ руку, скука принимала опасные размѣры.

Случалось, я совсѣмъ не являлся къ утреннему чаю. Но тогда мнѣ цѣлый день было не по себѣ, чего-то недоставало. Приходить по утрамъ въ столовую, смотрѣть, какъ сидятъ вокругъ мельхіороваго самовара наши домашніе, а онъ шипитъ и бурлитъ,—видѣть Вѣрочку, ласкающую своей тоненькой, смуглой ручкой моего кудряваго Беппо, и иногда перекинуться съ ней двумя, тремя фразами, — глядѣть

какъ она ѣстъ, пьетъ, какъ невзначай поправитъ волоса граціознымъ движеніемъ руки, или вдругъ улыбнется и устремитъ на тебя протяжный, горячій взглядъ, который тутъ-же и потухнетъ, и уже въ немъ играетъ, повидимому, иное, но, пожалуй, такое-же неопредѣленное чувство—это сдѣлалось привычкой, безъ которой мнѣ было-бы трудно обойтись.

Постепенно я пришелъ къ заключенію, что веду слишкомъ разсѣянную жизнь, что мало сижу дома. Я пересталъ посѣщать студенческую столовую, уклонялся, по возможности, отъ попоекъ и отъ билліардной игры.

Когда Вѣрочка сидѣла за піанино, я переворачивалъ ей ноты. Въ театрѣ я дарилъ ей бонбоньерки съ конфектами, надѣвалъ на нее шубку. Передъ обѣдомъ, въ хорошую погоду, я никогда не пропускалъ случая сѣсть противъ Вѣрочки въ ландо и цѣлый часъ кататься съ нею по гремящему Почаевскому проспекту, залитому солнцемъ и сверкающему золотыми вывѣсками, зеркальными стеклами мага-

зиновъ, модными экипажами, пестрыми нарядами дамъ. Дядя сидѣлъ возлѣ Вѣрочки, въ бобровой шинели, и любезно кланялся рукой знакомымъ. Только встрѣчаясь съ генералъ-губернаторомъ, онъ брался за шляпу, и любезное выраженіе его лица смѣнялось почтительно-строгимъ. Вѣрочка даже въ шубкѣ казалась тоненькой, стройной, и изъ-подъ ея красивой шляпки всегда, бывало, вырвется прядь волосъ и бьетъ ее по смуглымъ щекамъ, а она смѣется... и я смѣюсь...

Былъ ясный день. Солнечный свѣтъ розовыми полосами косо ложился по паркету столовой, и деревья глядѣли въ окна. Мы только-что сѣли обѣдать. Всѣ были веселы. Даже m-lle Эмма улыбалась. Дядя прилично шутилъ. Лишь Павелъ прислуживалъ съ самой невозмутимой физіономіей, выбритый и важный.

Такъ-какъ я былъ либеральный молодой человѣкъ, то постепенно мнѣ удалось придать бесѣдѣ либеральный оттѣнокъ. Дядѣ не нравились либеральные разговоры. Онъ пересталъ шутить, безпокойно погля-

дывая на Вѣрочку. Но Вѣрочку интересовали подробности, которыя я передавалъ о мѣстной лаврѣ и лаврскихъ святыхъ. Студенты перваго курса питаютъ особенную наклонность къ колебанію вѣры въ чудеса.

Что-то задумчивое мелькало въ наивномъ взглядѣ ея горячихъ глазъ. Вѣрочка точно выросла. И я почувствовалъ, что сердце мое сильно бьется.

Въ январѣ ей должно было исполниться шестнадцать лѣтъ. Рѣшительно, она была красавица, съ тонкими чертами, съ благороднымъ разрѣзомъ удлиненныхъ глазъ. Румянца почти не было, но губы прелестнаго рта алѣли, какъ кораллъ... Лебединая шея, чудесный овалъ лица... И только носъ, прямой, какъ у античной статуи, былъ немного толстъ.

Я смотрѣлъ на Вѣрочку, радуясь, что она такая милая и славная. Даже руки ея, красноватыя и какъ-бы застѣнчивыя, нравились мнѣ невыразимо...

— Перестань, Александръ, сказалъ, наконецъ, дядя.—Религія—есть религія.

— Но, дядя, пусть онъ разскажетъ, какъ это дѣлаютъ...

— Нѣтъ, ужъ, Александръ, довольно съ тебя... не разсказывай... Помнишь— «аще кто соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, унѣ есть ему»...

— Помню. Но Вѣрочка развѣ дитя?

Послѣ обѣда я заперся въ своемъ флигелѣ. Я лежалъ на оттоманкѣ и курилъ трубку. Я думалъ о Вѣрочкѣ, но голова кружилась у меня отъ табачнаго дыма, и ничего опредѣленнаго не было въ этихъ мысляхъ. Скорѣе то были ощущенія, а не мысли. Блѣдный вечерній сумракъ лился въ итальянское окно, очертанія предметовъ исчезали въ тускломъ свѣтѣ. Надъ книжнымъ шкафомъ бѣлѣлся черепъ неподвижнымъ пятномъ. Рога лося выдѣлялись на свѣтломъ фонѣ обоевъ. Беппо шумно чесался въ углу, подъ бюстомъ Шевченко.

Подложивъ подъ голову гарусную подушку, я закрылъ глаза. Но едва я сталъ дремать, какъ увидѣлъ Вѣрочку. Она стояла, точно живая, точно наяву; я смотрѣлъ на нее, съ странной, сладостной

тоской, слышалъ какъ она дышитъ, что-то говоритъ, но что — я не могъ уловить. Все было такъ натурально, и только черныя стрѣлы ея рѣсницъ были неестественно длинны.

Я хотѣлъ обнять ее, но она выскользнула изъ рукъ и убѣжала. Я проснулся. Было совершенно темно. Въ комнатѣ похолоднѣло. Я лежалъ нѣкоторое время, не перемѣняя позы, съ смутной и, можно сказать, дурацкой надеждой, что, пожалуй, этотъ сонъ сейчасъ превратится въ дѣйствительность. Но послышался храпъ Беппо—мечта улетѣла, я всталъ и зажегъ свѣчку.

Я подошелъ къ письменному столу, съ твердымъ намѣреніемъ чѣмъ-нибудь заняться. Но заниматься я не былъ въ состояніи. Съ тоской взглянулъ я на книги и записки и отодвинулъ ихъ отъ себя. Легкій ознобъ пробѣжалъ по тѣлу, когда я вспомнилъ сонъ. Чтобъ разсѣяться, я долго ѣздилъ по городу, игралъ на биліардѣ, наконецъ, часовъ въ одиннадцать отправился въ театръ.

Главная пьеса уже была сыграна, и шелъ водевиль. Въ ложахъ суетились, одѣвались. Въ одной изъ нихъ стоялъ дядя и держалъ знакомую мнѣ шубку. Вѣрочка, въ модныхъ бѣлыхъ перчаткахъ, опиралась на бархатный барьеръ. Она глядѣла на сцену. Ей хотѣлось дослушать водевиль. М-lle Эмма держалась въ глубинѣ ложи. Я не спускалъ глазъ съ Вѣрочки и завидовалъ дядѣ: онъ поможетъ одѣться ей. Я дрожалъ. Я былъ въ восторгѣ, что вижу ее, что сейчасъ пожму ей руку. Я вбѣжалъ въ ложу. Вѣрочка уже одѣлась и вышла, объ руку... съ Сергѣемъ Ипполитовичемъ.

III

На Рождество Сергѣй Ипполитовичъ уѣхалъ съ Вѣрочкой и m-lle Эммой въ Петербургъ. Онъ не предложилъ мнѣ ѣхать вмѣстѣ, и въ послѣдніе дни я сталъ холодно относиться къ нему. Но онъ холода моего, по обыкновенію, не замѣчалъ.

Снѣгъ, наконецъ, вышалъ. Солнце сіяло, и сани скрипѣли, когда я поѣхалъ провожать Вѣрочку на вовзалъ. Разставаясь, она крѣпко пожала мнѣ руку, и первая поцѣловала меня, а затѣмъ шаловливо подставила обѣ щеки для моего поцѣлуя. Чтобъ скрыть волненіе, я болталъ и смѣялся, обращаясь, главнымъ образомъ, къ m-lle Эммѣ, которая въ отвѣтъ чопорно улыбалась.

Поѣздъ тронулся.

Я одиноко стоялъ на платформѣ. Странная досада закрадывалась въ мою душу. Болѣзненно сжималось сердце, и на минуту сіяніе снѣжнаго дня померкло въ набѣжавшей слезѣ.

— А я васъ ищу. Они уѣхали?... Какая жалость!

Это проговорила Ольга Сократовна Поволоцкая, наша сосѣдка. Ея бархатная ротонда вся была въ снѣжной пыли, и большое лицо съ полукружными густыми бровями раскраснѣлось отъ мороза.

— Да, вы опоздали,—сказалъ я съ притворной веселостью.

Но Ольгу Сократовну нельзя было надуть. Была она опытна и, по крайней мѣрѣ, по отношенію ко мнѣ, отличалась проницательностью, которая удивляла меня и сердила. Ей было около тридцати лѣтъ, и мужъ у ней былъ старый и какой-то незамѣтный, хотъ въ большихъ чинахъ. Она постоянно приставала ко мнѣ, вышучивала меня и называла Сашей, по праву стариннаго знакомства. Но ея брови и взглядъ ея красивыхъ сверкающихъ глазъ, бѣгающій и злой, не нравились мнѣ. Не нравилось мнѣ также, что она была выше меня ростомъ и что при ней я становился застѣнчивъ. Она подозрительно улыбнулась, когда я разсмѣялся, и, покачавъ головой, безцеремонно взяла меня за руку.

— Пойдемте. Эти письма надо положить въ общій конвертъ и послать Сергѣю Ипполитовичу poste-restante. А затѣмъ я заберу васъ къ себѣ. Я разгоню вашу тоску, бѣдный Саша, и накормлю васъ. Теперь я вашъ опекунъ. Помните, что вчера сказалъ дядя? Послушаніе и послушаніе!

Отправивъ письма, она велѣла сѣсть мнѣ въ сани. Мы полетѣли стрѣлой на толстыхъ черныхъ коняхъ, покрытыхъ пунсовой сѣткой. Тополи бѣлоснѣжными колоннами стояли по улицамъ, готическіе дома красивыми силуэтами выдѣлялись на лазури. Я ушелъ въ себя, плохо слышалъ, что говорила Поволоцкая, и всюду чудились мнѣ глаза, невинные и прекрасные, какъ двѣ звѣзды. Очаровательный городъ, въ своемъ новомъ зимнемъ нарядѣ, казался мнѣ печальнымъ, веселая и заигрывающая Ольга Сократовна—олицетвореніемъ тоски.

Скучный обѣдъ... скучные разговоры...

Нашъ городъ раздѣленъ на нѣсколько враждебныхъ лагерей—польскій, нѣмецкій, русскій, украинскій, еврейскій. Всѣ ненавидятъ другъ-друга. Аристократическіе Тополи выше такой ненависти, они сложились изъ разнородныхъ элементовъ, и національный антагонизмъ тутъ не имѣетъ мѣста. Но, заимствуя свой свѣтъ изъ генералъ-губернаторской канцеляріи, они присвоили себѣ право полицейскаго над-

зора за воинствующими партіями и строго выслѣживаютъ всякую интригу. Они въ оба смотрятъ за нравственностью даже отдѣльныхъ лицъ, имѣютъ своихъ шпіоновъ во всѣхъ лагеряхъ, въ университетѣ, въ духовной академіи, въ гимназіяхъ, и нигдѣ, какъ въ Тополькахъ, не поднимается столько крика противъ безвредныхъ увлеченій мѣстныхъ патріотовъ и такой травли всего, что не пахнетъ рутиной, не раболѣпствуетъ, что мыслитъ и чувствуетъ по-человѣчески.

Исключенія, разумѣется, есть. Но Поволоцкіе—исключенія не составляли.

За обѣдомъ было два кружка. Въ одномъ говорили о городскихъ дѣлахъ и ораторствовалъ профессоръ Флекензумпфъ, рыжій, съ вкрадчивыми манерами. Поволоцкій уныло слушалъ его и съ обиженнымъ выраженіемъ шевелилъ старческими бритыми губами. Раза два, однако, глаза его вспыхивали, и онъ, проницательно взглянувъ на собесѣдника, беззвучно смѣялся. Конечно, дѣло касалось какой-нибудь «интриги».

Средоточіемъ другаго кружка была Ольга Сократовна. Она старалась развлекать меня, заставляла пить и можетъ быть для того, чтобъ возбудить во мнѣ хоть маленькую ревность—у меня шумѣло въ головѣ, и я имѣлъ смѣлость допустить эту мысль,—послѣ обѣда стала особенно любезна съ другимъ гостемъ своимъ, докторомъ Мункинымъ. Мункинъ—молодой человѣкъ, съ огромными кудрями, съ лицомъ поэта, которое портила длинная улыбка, собиравшая кожу на его щекахъ во множество морщинъ. Улыбался онъ то-и-дѣло и показывалъ бѣлые зубы и часть десенъ. Говорилъ онъ немного, и эта отвратительная улыбка замѣняла у него иногда отвѣтъ на вопросъ. Мункинъ держалъ себя съ Ольгой Сократовной фамильярно, какъ, вѣроятно, со всѣми дамами. Онъ былъ дамскій докторъ, практика у него была обширная, но въ трудныхъ случаяхъ онъ въ искусство свое переставалъ вѣрить и отказывался лечить. О немъ ходили темные слухи... Впрочемъ, я мало зналъ его.

Мнѣ было не по себѣ. Мункинъ хва-

лилъ волоса Ольги Сократовны и причесасъ ее, какъ парикмахеръ. Онъ зналъ всѣ закоулки ея будуара, пошелъ и умылъ руки, какъ дома. Онъ точно не волосы причесалъ молодой дамѣ, а сдѣлалъ операцію.

И фамильярность Мункина, и странный огонекъ въ глазахъ Ольги Сократовны, безцеремонно устремленныхъ на меня, и разговоръ за обѣдомъ, и розовый свѣтъ фонаря, и какой-то влажный, тяжелый ароматъ, который отдѣляли въ будуарѣ ковры, мебель, драпировки,—все это производило на меня угнетающее впечатлѣніе. Мнѣ хотѣлось поскорѣй домой, залечь и думать о Вѣрочкѣ—только... Тутъ было душно.

Я ушелъ, но не прошло и часа, какъ горничная Поволоцкой прибѣжала ко мнѣ съ запиской. Ольга Сократовна звала провожать ее въ концертъ...

Мы поздно пріѣхали въ купеческое собраніе и заняли стулья. На эстрадѣ пѣла віолончель, и пожилой человѣкъ во фракѣ водилъ смычкомъ, а публика замирала отъ

косторга. Это былъ виртуозъ, европейская знаменитость. Звуки то страстно рыдали, то слышалась глубокомысленная фраза, повторявшаяся на всѣ лады разъ двадцать, точно вопросъ, ненаходящій отвѣта. Отъ этихъ выпуклыхъ, красивыхъ, могучихъ и вмѣстѣ нѣжныхъ звуковъ странная дрожь пробѣгала по мнѣ. Стулья стояли тѣсно, и иногда я чувствовалъ, какъ колѣно Ольги Сократовны прижималось къ моему. Очарованіе исчезало.

На обратномъ пути Поволоцкая замѣтила:

— Саша, вы все грустите. Перестаньте, мой другъ.

— Совсѣмъ я не грущу. Съ какой стати я буду грустить?

— Такой ужъ у васъ грустный темпераментъ... Жаль вамъ Вѣрочку?

— Вѣрочку? переспросилъ я. «Вотъ пристала».

— Или, можетъ, m-lle Эмму?

На Дѣвичьей горѣ сталъ дуть вѣтеръ прямо въ лицо. Я отвернулся, поднялъ воротникъ и молчалъ. Но Ольга Сократовна тоже воспользовалась вѣтромъ, чтобъ сѣсть

иначе, и я почувствовалъ на минуту теплоту ея дыханія и, при блескѣ газоваго фонаря, увидѣлъ двѣ темныя искры ея глазъ, съ тѣмъ же тревожнымъ выраженіемъ, какъ и годъ назадъ, когда она вдругъ поцѣловала меня. Я тогда обидѣлся. Теперь я отвѣтилъ ей нахмуреннымъ взглядомъ. Она расхохоталась.

— Мальчикъ! Разозлитесь, пожалуйста!

Я напряженно улыбнулся.

— Этакъ-то лучше. Такъ вы не ревнуете?

— Къ кому?

— Къ дядѣ...

Я промолчалъ.

— Уфъ, какой вѣтеръ! Давайте вашу руку.

Мы подъѣхали къ дому, я помогъ ей сойти; и какъ она ни убѣждала меня ужинать вмѣстѣ, я наотрѣзъ отказался.

IV

Павелъ, сонный, но величественный, снялъ съ меня пальто, и пока я входилъ

въ залу, онъ успѣлъ зажечь лампу. Какъ скучно, однако, въ этой залѣ...

Не дальше, какъ сегодня утромъ, слышался здѣсь Вѣрочкинъ смѣхъ. Солнце горѣло, и все ея молодое яркое лицо было залито теплымъ свѣтомъ. Мнѣ стоитъ закрыть глаза, и я вижу ее снова.

Но я все ее вижу съ дядей и m-lle Эммой. Ее стерегутъ, быть-можетъ, подозрѣваютъ мою страсть, а быть-можетъ...

Въ самомъ дѣлѣ, что это сказала Поволоцкая?..

Мнѣ сдѣлалось стыдно, я засмѣялся. Поволоцкая—кокетка, злая и чувственная. Ей просто хочется расшевелить меня, раздражить. Я терпѣть не могъ женщинъ, въ родѣ Ольги Сократовны, потому-что теоретически я ненавидѣлъ чувственность.

Эта Ольга Сократовна все подводитъ къ одному знаменателю. Высокая и чистая любовь, свѣжая и молодая, непонятна ей, и она цинически (сердито думалъ я) издѣвается надъ моимъ робкимъ, стыдливымъ чувствомъ, которое угадала во мнѣ съ свойственной ей проницательностью.

Но пусть она хлопочетъ какъ ей угодно, пусть клевещетъ исподтишка—не добьется она отъ меня ни словечка, и не выдамъ я ей своего секрета. Тѣмъ болѣе, что до послѣдняго момента я еще и самъ не отдавалъ себѣ отчета, что̀ это за секретъ такой. Онъ ютился въ самомъ сокровенномъ тайникѣ души моей... Я берегъ его, лелѣялъ, боялся облечь въ слово; потому что слово слишкомъ грубо для него...

Размышляя такимъ образомъ, вошелъ я въ дядинъ кабинетъ, гдѣ въ ея отсутствіе долженъ былъ спать. На турецкомъ диванѣ была приготовлена постель. Я отпустилъ Павла и часа три, если не больше, не могъ заснуть.

Мысленно я мчался за курьерскимъ поѣздомъ, уносившимъ Вѣрочку въ туманную даль. Полугрезы, полумечты обступали меня со всѣхъ сторонъ, и голова горѣла; среди невозмутимой тишины я слышалъ, какъ неровно бьется мое сердце, какъ стучитъ въ вискахъ. Губы пересохли.

Мнѣ не лежалось, не сидѣлось, и су-

нувъ ноги въ туфли, я сталъ ходить. Въ залѣ теперь было темно. Меня потянуло въ этотъ мракъ. А изъ залы потянуло въ Вѣрочкину комнату.

Я взялъ свѣчку и съ тоскливымъ и робкимъ чувствомъ вошелъ туда.

Въ этой комнатѣ были полукруглыя окна, лапчатые филодендроны пышно разрослись въ углу, за бархатнымъ диванчикомъ, и одѣяло на узенькой бѣлой съ позолотою кровати было огненно-красное.

Жадно смотрѣлъ я кругомъ. Въ качествѣ молодого естественника, я отрицалъ душу; но мнѣ казалось, однако, что часть Вѣрочкиной души носится здѣсь, — ароматъ, отдѣляемый туалетомъ, кружилъ мнѣ голову.

Однако, зачѣмъ я пришелъ сюда? Мнѣ показалось, что я пришелъ съ опредѣленною цѣлью и вдругъ забылъ, съ какою. Или и въ самомъ дѣлѣ только затѣмъ, чтобъ взглянуть на эту кокетливую постельку, подышать этимъ соннымъ пахучимъ воздухомъ?

Я разсѣянно поднялъ глаза на стѣны,

оклеенныя темными дорогими обоями. На нихъ висѣло много фотографій. Я ихъ зналъ, видѣлъ уже раньше. Но тѣмъ не менѣе я сталъ ихъ разсматривать, все также разсѣянно, небрежно, точно въ просонкахъ.

Вѣрочка должна была любить Сергѣя Ипполитовича, онъ былъ ея благодѣтелемъ, вторымъ отцомъ. Немудрено, что фотографіи эти представляли самую полную коллекцію его портретовъ, да, вѣроятно, и единственную. Вотъ онъ въ мундирѣ студента конца шестидесятыхъ годовъ. Вотъ онъ въ широкой соломенной шляпѣ и съ посредническимъ знакомъ. Былъ онъ и въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ. На одномъ портретѣ онъ въ шинели, на другомъ — во фракѣ, и въ рукахъ держитъ статуэтку или свертокъ бумаги—трудно разобрать. Даже надъ кроватью Вѣрочки виситъ въ бархатной рамѣ портретъ Сергѣя Ипполитовича, изъ самыхъ недавнихъ, съ ласковымъ и скептическимъ выраженіемъ благообразнаго лица. Портретъ былъ большой, и этой улыбки нѣтъ на тѣхъ фотографіяхъ.

«Отчего нѣтъ?» машинально задалъ я себѣ вопросъ. Постоявъ нѣсколько минутъ посреди комнаты, я также машинально вышелъ. Въ головѣ шумѣло, я шатался какъ пьяный, и это полусонное состояніе опять помѣшало мнѣ сообразить, зачѣмъ именно приходилъ я въ Вѣрочкину комнату, хоть смутно мнѣ продолжало казаться, что цѣль была и я достигъ ея, наконецъ.

Было три часа. Я крѣпко заснулъ и видѣлъ отвратительные тяжелые сны, которые тѣмъ, впрочемъ, хороши, что оставляютъ по себѣ лишь неясное воспоминаніе. Какая-то ужасная мысль, мерзкая, какъ преступленіе, всю ночь мучила меня. Должно быть, я стоналъ, плакалъ: подушка моя была въ слезахъ. Можетъ быть, сумасшедшимъ приходятъ идеи, отъ которыхъ они содрогаются, когда выздоравливаютъ, но хорошенько ихъ вспомнить не могутъ, потому что нормальный мозгъ совсѣмъ не то, что больной, и думаетъ иными образами и красками. Я проснулся дрожа, и радъ былъ, что разсѣялся бе-

зобразный туманъ дикихъ сновидѣній. День былъ солнечный, какъ и вчера, а на душѣ у меня было скверно. И когда, одѣвшись, я посмотрѣлъ на себя въ зеркало, мнѣ показалось, что я сильно похудѣлъ и поблѣднѣлъ за эту проклятую ночь.

Съ утра въ домѣ началась чистка и мойка, обычная передпраздничная возня. Я вышелъ и долго бродилъ по Тополькамъ. Мнѣ хотѣлось освѣжиться. Но напрасно любовался я съ Университетскаго Спуска чуднымъ пейзажемъ, въ которомъ яркія солнечныя краски и легкія, какъ лунный свѣтъ, тѣни, твердые контуры домовъ и тонущія въ розовой дымкѣ дали, бѣлизна снѣга и лиловыя пятна далекихъ садовъ, холодная лазурь неба и горячія искры на церковныхъ крестахъ,—все смѣшалось въ гармоничное цѣлое, въ разноцвѣтный туманъ. Тоска сосала мнѣ грудь.

Я вернулся въ свой флигель. Мелкіе, ничтожные факты всплыли въ моей памяти помимо воли. Вспомнилось все, что только могло вспомниться о Вѣрочкѣ... и вдругъ странная тревога овладѣла мною.

*

Сначала это была чисто-физическая тревога, безотчетная и безсознательная, и я быстро заходилъ по комнатѣ. Беппо вообразилъ, что я заигрываю съ нимъ, и съ лаемъ сталъ бѣгать взадъ и впередъ. Я ударилъ его. Беппо раздражалъ меня, я все никакъ не могъ сосредоточиться на чемъ-то. Беппо обидѣлся и замолкъ, а я продолжалъ ходить. Вспомнилъ я вчерашніе неопредѣленные намеки Поволоцкой... Можетъ быть, это и есть искомое что-то?

Я накинулъ пледъ и отправился въ домъ. Все было вычищено, вымыто. Ни пылинки. Въ комнатѣ Вѣрочки вещи были разставлены въ другомъ порядкѣ. Тонкій ароматъ духовъ, которые употребляла Вѣрочка, исчезъ. Стоялъ сырой, непріятный запахъ. Я взглянулъ на постель. Снимая со стѣны коверъ, сломали колечко въ портретѣ Сергѣя Ипполитовича. Этотъ портретъ, въ свѣтлозеленой бархатной рамѣ, лежалъ теперь на подушкѣ и прямо смотрѣлъ на меня насмѣшливымъ, счастливымъ взглядомъ. Я внезапно вознена-

видѣлъ его. У меня потемнѣло въ глазахъ, я схватилъ его и ударилъ объ полъ. Онъ попалъ на дорожку и не разбился. Тогда я раздавилъ его каблукомъ.

Павелъ, въ отворенную дверь, вѣжливо смотрѣлъ на эту сцену.

Вечеромъ я былъ уже далеко. Я ѣхалъ въ Петербургъ, меня трясла лихорадка, и я самъ не былъ хорошенько увѣренъ, въ здравомъ-ли я умѣ.

V

Станціи мелькали, хрипло свистѣлъ паровозъ. Поѣздъ летѣлъ на всѣхъ парахъ, и встрѣчные поѣзды проносились мимо, въ сумракѣ мглистаго вечера, точно какіе-то гремящіе метеоры. Но мнѣ казалось, что мы тихо ѣдемъ. На одной станціи поѣздъ простоялъ лишнія минуты. Я вышелъ изъ себя, ругалъ желѣзнодорожные порядки, хотѣлъ записать жалобу въ книгу,—н не успѣлъ: колокольчикъ забилъ, я со всѣхъ ногъ бросился въ вагонъ. Всю

ночь я не спалъ. Я ломалъ пальцы и глядѣлъ въ окно тоскующимъ взглядомъ на безконечный мракъ, разстилавшійся передо мною. Гдѣ-нибудь на горизонтѣ мерцалъ огонекъ—это усиливало мою тоску. Тоска и бѣшенство, безсильное бѣшенство и опять тоска. Отъ увѣренности я переходилъ къ сомнѣнію. Ясно поставить обвиненіе противъ Сергѣя Ипполитовича я боялся. Я не хотѣлъ осквернить опредѣленнымъ подозрѣніемъ образъ Вѣрочкинъ. Но она была такъ невинна, а Сергѣй Ипполитовичъ былъ такой опытный человѣкъ! Сергѣй Ипполитовичъ вѣчно съ ней. Онъ цѣлуетъ ее, держитъ у себя на колѣняхъ... Я кусалъ губы до крови.

Но потомъ я соображалъ хладнокровнѣе, взвѣшивалъ всевозможныя мелочи, вспоминалъ—и ничего не могъ построить въ улику имъ, ничего, что хотя-бы косвенно обвиняло ихъ. Дядя втрое старше Вѣрочки. Онъ, по справедливости, имѣетъ право на ея привязанность: относится къ ней какъ отецъ. Вѣдь, меня-же, еще не такъ давно, трогало это отношеніе! Я

могу очутиться въ смѣшномъ положеніи ревниваго мальчишки. Велика бѣда, что старикъ приласкаетъ дочь! Мнѣ дѣлалось стыдно, гнѣвное возбужденіе исчезало, и я съ недоумѣніемъ прислушивался къ мѣрному шуму поѣзда, съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на искры, бороздившія черный воздухъ. Я спрашивалъ себя: зачѣмъ я ѣду въ Петербургъ?

Въ отвѣтъ продолжало ныть сердце... Меня тянуло впередъ, къ нимъ, неудержимо. Доводы разсудка уступали напору чувства, которое шептало мнѣ, что я правъ. Эта безсознательная логика приводила нелѣпыя доказательства; они не были облечены даже въ опредѣленные словесные знаки, и тѣмъ не менѣе покоряли меня; не были убѣдительны, но били прямо по нервамъ.

Изъ-за дымчатыхъ тучъ глянулъ мѣсяцъ и освѣтилъ бѣлыя равнины блѣднымъ свѣтомъ, въ которомъ деревья казались быстро бѣгущими назадъ косматыми призраками. Раздвинулась даль. Потомъ опять насунулся мракъ. Пошелъ снѣгъ.

Въ вагонѣ было душно. Фонарь подъ зеленой шелковой ширмочкой бросалъ на лица спящихъ пассажировъ темно-желтый свѣтъ. Тамъ торчала острая бородка закинутой на бархатную спинку физіономіи франтика; тамъ толстая дама спала, раскрывъ круглый ротъ; дѣвушка свернулась клубочкомъ, плотно подобравъ платье подъ ноги. Мысль, что могутъ увидѣть ея ноги, должно быть, не даетъ ей покоя, и она, сквозь сонъ, постоянно протягиваетъ къ нимъ руку. И я усталъ. Это сонное царство заставляло и меня подумать объ отдыхѣ. Я даже примостился поудобнѣе, но не заснулъ.

Щека моя терлась о жесткій бархатъ высокаго кресла, и я лежалъ въ тоскливой истомѣ дорожной безсонницы, постоянно поддерживаемой мучительными думами.

Весьма возможно, что все это окажется напрасной тревогой. Эта исторія должна кончиться пустяками. Я скажу Вѣрочкѣ: «Я люблю тебя». Она отвѣтитъ: «И я тоже люблю тебя». Тогда я разскажу, какъ я

летѣлъ въ Петербургъ,—и мы разсмѣемся. Дядя будетъ слушать, и въ свою очередь расхохочется, затѣмъ потреплетъ меня по плечу и проговоритъ: «Ахъ, ты!» Я такъ живо представилъ себѣ лицо дяди, вымытое душистымъ мыломъ, съ изящно подстриженной бородкой и усами стрѣлкой, вѣжливое и умное, что подумалъ, ужъ не сплю-ли я. Но какъ-разъ противъ моихъ глазъ темнѣлъ бархатъ кресла, съ втянутою внутрь пуговицею; дрожалъ и стучалъ вагонъ. А пока я провѣрялъ свои впечатлѣнія, фигура Сергѣя Ипполитовича слегка расплылась, и я ужъ его воображалъ себѣ вдвоемъ съ Вѣрочкой: она съ мольбой протягиваетъ ко мнѣ руки, а онъ обнялъ ее точно фавнъ нимфу, и, хвастливо прищурившись, смотритъ на меня. Я вскочилъ, озираясь.

Въ вагонѣ тѣ-же лица. Тотъ-же непріятный свѣтъ падаетъ на нихъ. То-же безмолвіе и безобразіе тревожнаго сна на скорую руку. Франтикъ скорчился. Толстая дама качаетъ головой. Барышня обѣими руками придерживаетъ подолъ.

Опять я легъ и опять не заснулъ. Такъ продолжалось до разсвѣта, весь день, до слѣдующаго вечера и снова всю ночь— до новаго разсвѣта. Ужъ передъ самымъ Петербургомъ вздремнулъ я часа два. Сонъ былъ крѣпкій. Сначала я ничего не видѣлъ. Потомъ мнѣ приснилось, что я въ толпѣ мужиковъ, опасливо работаю локтями, бѣгу, но не могу протолкаться. Меня еще не замѣтили, но я знаю, что, если замѣтятъ, мнѣ не сдобровать, потому что я баринъ и учусь въ университетѣ. Протискиваясь впередъ, я слышу, какъ сговариваются они противъ меня. Я ослабѣлъ, у меня стали млѣть ноги отъ ужаса и ожиданія какой-то подлой пытки, которую придумала мнѣ эта разсудительная и сосредоточенно-ограниченная толпа. Вдругъ я увидѣлъ, что молодица въ сарафанѣ и съ зобомъ пристально смотритъ на меня. Я упалъ и сталъ просить пощады. Тогда шумъ голосовъ превратился въ воющій, пронзительный гвалтъ, въ чудовищный стонъ. Тысячи рукъ протянулись ко мнѣ... Молодица подбѣжала...

близко, близко... Я хотѣлъ схватить горсть земли и бросить молодицѣ въ глаза. Но пальцы скользили по влажной почвѣ, точно по бархату...

И когда, наконецъ, я, сонный и измученный, поднялъ голову, артельщикъ въ бѣломъ передникѣ стоялъ предо мною въ пустомъ вагонѣ, сѣрый день лился въ окно, и я съ трудомъ понялъ, что я въ Петербургѣ, на Варшавскомъ вокзалѣ. Багажа у меня не было, кромѣ небольшаго ручнаго сака; артельщикъ проводилъ меня до извощика.

Кажется, цѣлый часъ ѣхалъ я по безконечнымъ набережнымъ безконечныхъ каналовъ, мимо колоссальныхъ домовъ ничтожной архитектуры и тѣмъ не менѣе придающихъ общей картинѣ города величавый характеръ, мимо мостовъ, мимо церквей, которыя кажутся громадными только издали, мимо гостиныхъ дворовъ, занимающихъ цѣлые кварталы, — и все время чувствовалъ себя какъ впросонкахъ. Свинцовое небо низко нависло надъ столицей. Въ *** у насъ былъ отличный сан-

ный путь, а тутъ мостовую покрывалъ слой грязи, дѣятельно сгребаемой дворниками въ кучи. Въ эту грязь рѣдкими хлопьями падалъ мокрый снѣгъ. Прямыя, какъ лучи, улицы пересѣкали городъ, теряясь въ туманѣ.

Я былъ первый разъ въ Петербургѣ. Но я равнодушно смотрѣлъ кругомъ на каменныя громады, твердыми контурами выступающія изъ этого блѣднаго тумана,—мысль о Сергѣѣ Ипполитовичѣ и Вѣрочкѣ опять овладѣла мною. Дядя не любилъ гостиницъ. Адреса онъ не успѣлъ мнѣ прислать. Онъ долженъ былъ нанять гдѣ нибудь на Невскомъ проспектѣ меблированную квартиру, а можетъ быть, въ Большой Морской. Такъ онъ предполагалъ. Очутившись въ центрѣ города, среди блестящей сутолоки экипажей, я растерялся: куда-же ѣхать? Извощикъ вопросительно поворачивалъ ко мнѣ свое рыжее, бородатое лицо.

— Поѣзжай, братецъ, туда! сказалъ я, указавъ на подъѣздъ съ фонарями и съ золотой вывѣской подъ стекломъ: «Ме-

блированныя комнаты». «Все равно, думалъ я:—надо-же куда-нибудь приткнуться и сообразить на свободѣ, что мнѣ дѣлать».

Я взялъ первую комнату, которую мнѣ показали. Она выходила на улицу, гдѣ ужъ въ сѣрой мглѣ горѣли фонари. Окно было сплошное зеркальное стекло. Вся комната была въ темныхъ, должно быть, малиновыхъ драпировкахъ, на полу постланъ большой коверъ.

Оставшись одинъ, я, вмѣсто того, чтобъ соображать и начать дѣйствовать, прилегъ и вдругъ заснулъ. Проснулся я только на другой день.

Было морозное утро. Бѣлый отсвѣтъ снѣга падалъ на потолокъ, вмѣстѣ съ движущимися тѣнями людей и экипажей.

Вошелъ номерной—принесъ мнѣ чай и завтракъ. Два дня я не ѣлъ. Когда я насытился, бодрое чувство разлилось по моимъ жиламъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ я спокойнѣе и холоднѣе, чѣмъ во время дороги, взглянулъ на свое положеніе. «Во всякомъ случаѣ, надо ихъ отыскать,—рѣшилъ я.—Буду слѣдить за ними издали.

Если увижу, что еще можно ее спасти— спасу».

Стѣна, отдѣлявшая мой номеръ отъ сосѣдняго, была тонка: до меня иногда долетали оттуда обрывки женскихъ голосовъ, и разъ почудился не то смѣхъ, не то плачъ. Кто-то заигралъ на фортепіано. Игра была похожа на Вѣрочкину игру, и пьеса была ея любимая. У меня сильно забилось сердце. То, что о н и такъ близко, испугало меня...

— «Они?.. Неужели они?»

Я позвалъ лакея.

— Любезный... кто здѣсь... рядомъ... занимаетъ номеръ?

Лакей отвѣчалъ:

— А не могу знать-съ... Два дня, какъ пріѣхавши-съ... Не успѣли-съ о себѣ еще заявить-съ... Господа, видно, такъ себѣ-съ... Три комнаты сняли-съ... Кареты не берутъ... Баринъ, при ихъ дочь и гувернантка-съ... Одежа на нихъ очень хорошая-съ.

— Барышня этакая...—блондинка, брюнетка?

— Не очень замѣтилъ-съ... Ихняго пола тутъ большое множество-съ... Я же недавно женился-съ... Какъ-будто блондинка-съ,—прибавилъ онъ, припоминая.

— Не брюнетка-ли?

— Пожалуй, что брунетка-съ.

— А баринъ—съ бородкой? Сѣденькій? Этакъ, съ просѣдью?

— Нельзя сказать... Съ бородкой—вѣрно-съ. Лицо авантажное-съ.

— Ступайте, узнайте, пожалуйста, какъ его фамилія. Только не говорите, что кто-то интересуется. А такъ, стороной... Вотъ вамъ рубль.

— Мерси. Очень хорошо-съ. У насъ на доску всѣхъ записываютъ-съ. А ваша фамилія какъ будетъ-съ?

Я назвалъ себя.

По уходѣ слуги, явился посыльный и принесъ справку: статскаго совѣтника Сергѣя Ипполитовича Трималова на жительствѣ въ городѣ С.-Петербургѣ не оказалось. Теперь, когда я былъ почти увѣренъ, что о н и за стѣной, меня это не огорчило. Я вышелъ на лѣстницу и отыскалъ доску.

Мой номеръ былъ седьмой, рядомъ со мной—девятый. Въ девятомъ номерѣ жилъ Гримайловъ. Кровь бросилась мнѣ въ голову. Фамилія «Трималовъ» была, очевидно, искажена неграмотной рукой номернаго. Нельзя было въ этомъ сомнѣваться. Еще больше укрѣпился я въ этой мысли, когда, проходя черезъ часъ и взглянувъ на доску, увидѣлъ, что въ свободной клѣткѣ седьмаго номера уже стоитъ моя фамилія и написана такъ: «Горималовъ». Трималовъ не успѣлъ отдать документа, и вотъ почему о немъ еще нѣтъ свѣдѣнія въ адресномъ столѣ. Но случай поселилъ меня съ нимъ подъ одной кровлей.

Что-то будетъ!?...

VI

Если-бы два дня тому назадъ, или даже день, очутился я въ столь близкомъ сосѣдствѣ съ ними, я зналъ-бы, что надо дѣлать. Тогда я былъ полонъ рѣшимости,

и во мнѣ все кипѣло. Не могу сказать, чтобы именно я сдѣлалъ, но, во всякомъ случаѣ, не сидѣлъ-бы сложа руки. Но, хотя сердце мое билось сильнѣе, чѣмъ обыкновенно, однако, теперь не было уже той энергіи. Я, какъ шпіонъ, прикладывалъ ухо къ стѣнѣ, ловя каждый звукъ у нихъ. Вечеромъ ихъ долго не было дома, а когда они вернулись, то, должно быть, сейчасъ-же легли спать. Вѣроятно, они были въ оперѣ или въ собраніи, или катались: мнѣ показалось, что они пріѣхали на тройкѣ, которая нѣсколько минутъ побрякивала у меня подъ окномъ бубенчиками. Можетъ быть, они ѣздили въ какой-нибудь загородный трактиръ.

Когда гдѣ-то въ корридорѣ часы пробили два, я, съ сокрушеннымъ сердцемъ, легъ въ постель.

Если была тонка стѣна въ большой комнатѣ, то въ спаленкѣ она была совсѣмъ картонная. Спаленка эта соприкасалась, очевидно, съ такой-же спаленкой девятаго номера, потому-что я слышалъ, какъ тамъ кто-то легъ на кровать и нѣкоторое время

шумѣлъ бумагой,—читалъ газету. Когда раздался кашель, я вздрогнулъ. Кашель его! Я затаилъ дыханіе. Минутъ черезъ десять онъ сталъ что-то шептать. Право, я готовъ былъ подумать, онъ молится. Это былъ набожный, торопливый шопотъ. Затѣмъ онъ задулъ свѣчу и повернулся на кровати. Вскорѣ онъ захрапѣлъ. Я подождалъ. Все мирно, всюду невозмутимая тишина. Свѣчка моя догорала, и пламя, высоко вытягиваясь желтымъ языкомъ, вдругъ безсильно падало, блѣднѣя и синѣя...

На другой день шумъ голосовъ за перегородкой разбудилъ меня. Было уже не рано. Онъ сердито о чемъ-то говорилъ. Она плакала. Изрѣдка вмѣшивался голосъ гувернантки. Я едва успѣлъ одѣться, руки мои дрожали.

Вошелъ Иванъ и началъ говорить. Я ничего не понялъ—все мое вниманіе было сосредоточено на нихъ. Должно быть, онъ докладывалъ о моихъ сосѣдяхъ. Я механически уловилъ одну его фразу: «Жемчужную брошку-съ потеряли-съ... Вещь,

разумѣется, стоющая-съ»... и закричалъ ему негромко: «послѣ! послѣ!» Иванъ улыбнулся, сообразилъ, что я хочу подслушивать, и сталъ поодаль, пытливо глянувъ на перегородку, откуда несся попрежнему крупный разговоръ. Ничего нельзя было разобрать. Иванъ бѣсилъ меня своимъ присутствіемъ. Мнѣ было стыдно, и казалось, онъ мѣшаетъ слышать эти странные звуки, отъ неопредѣленнаго гула которыхъ горѣлъ мой мозгъ. Вдругъ явственно послышался ударъ рукой, точно по щекѣ, и за нимъ послѣдовалъ пронзительный крикъ дѣвушки. Удары стали повторяться, сопровождаясь злымъ, коротким ворчаніемъ его. Иванъ стоялъ на прежнемъ мѣстѣ и улыбался съ интересомъ. Я пролетѣлъ мимо него, вскочилъ въ сосѣдній номеръ; двери съ трескомъ растворялись передо мною. Я чувствовалъ себя звѣремъ. Глаза мои налились кровью, когда я бросился на него. Онъ отскочилъ въ испугѣ и смущеніи.

То былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, съ бѣленькой бородкой и вдавленнымъ но-

*

сомъ. Дѣвочка, которую онъ наказывалъ, была бѣлокурая, очень полная, можетъ-быть, лѣтъ четырнадцати, даже тринадцати. Гувернантка—розовая старушка, въ чепчикѣ.

Однимъ словомъ, ничего похожаго на нихъ!

Я смѣшался и остановился, какъ вкопанный. Старикъ, видя, что я растерялся, возвысилъ голосъ. Онъ началъ съ заявленія, что это его собственная дочь, которую самъ Богъ велѣлъ ему учить. Дочь всхлипывала. «Ее еще не такъ-бы надо было», сказалъ онъ. Тогда я ушелъ, красный и негодующій или пристыженный—не могу теперь опредѣлить.

Я долго не могъ успокоиться. У меня разболѣлась голова. На дворѣ быстро таялъ снѣгъ, сырой туманъ опять окуталъ столицу. Стиснувъ зубы, съ тоской стоялъ я у окна и смотрѣлъ на уличную сутолоку, чуждый ей, чуждый этому городу, куда занесла меня глупая ревность.

«Ну, и чего ревновать,—думалъ я.—Что она—любитъ или любила меня? Не

знаю! А она не знаетъ, что чувствую я къ ней... Имѣю-ли я поэтому хоть какое-нибудь право на нее? Глупое сердце! Можетъ, она и его не любитъ. Но если любитъ, значитъ, счастлива. Съ какой-же стати мнѣ вмѣшиваться? Вѣдь, не бьетъ онъ ее, какъ этотъ, не мучаетъ, а должно-быть не наглядится на нее?! Какъ-же это я вдругъ приду и возьму его за шиворотъ? А ее насильно, что-ли, влюблю въ себя?»

Я разозлился на себя. Однако, въ защиту свою привелъ, что онъ обольстилъ ее. Но и на это я сейчасъ-же съ яростью напалъ. «А то какже? Разумѣется, обольстилъ. Не обольстишь—не влюбишь. Вѣдь и я хотѣлъ и хочу ее обольстить. И оттого дядю возненавидѣлъ, что онъ уже, можетъ-быть, раньше это сдѣлалъ. Это постыдная, животная ненависть, недостойная человѣка...»

— Ахъ, Вѣрочка! вскричалъ я и закрылъ глаза рукой.

За стѣной было тихо. Кажется, тамъ ходили на цыпочкахъ. Но меня ужъ сосѣди не могли интересовать. Чтобъ за-

быться, я потребовалъ коньяку и кофе. Веселѣй не стало, я даже не опьянѣлъ. Тогда я взялъ лихача покататься.

Большая черная лошадь широко кидала стройными ногами, и повременамъ слышался ударъ подковы по обнаженной мостовой. Извощикъ съ узкими плечами и ваточнымъ тазомъ сидѣлъ, какъ кукла, покрикивая: «о!... гись!»—и мы мчались по Невскому, съ его безконечными магазинами и двухсаженными зеркальными окнами, по Большой Морской, похожей на нашъ Почаевскій проспектъ, по широкой и просторной Литейной, по Дворцовой и Англійской набережнымъ. Колоссальныя зданія, украшенныя статуями, хмуро глядѣли на пустынную, бѣлую Неву. Тотъ берегъ былъ почти непримѣтенъ, и только золотая игла Петропавловской крѣпости, гдѣ часы уныло играли четверти, пронизывала туманъ. Я видѣлъ Николаевскій мостъ. Темные бронзовые херувимы по четыремъ угламъ Исакія, казалось, вотъ-вотъ вспорхнутъ и уле-

тятъ, — они расплывались въ мглистомъ воздухѣ, точно призраки.

Я нарочно старался глядѣть по сторонамъ, на все обращалъ вниманіе, мнѣ хотѣлось занять мозгъ новыми впечатлѣніями. Но я все видѣлъ, многимъ, какъ будто, интересовался, и ни на минуту не забывалъ о нихъ.

Лошадь пошла шагомъ.

На Невскомъ фонари еще не горѣли. Въ бѣлесоватой дымкѣ погасающаго дня медленно двигались экипажи двумя потоками, одинъ направо, другой налѣво. Въ богатыхъ саняхъ и въ ландо сидѣли нарядныя дамы, офицеры въ шинеляхъ, франты въ цилиндрахъ.

Мой лихачъ долженъ былъ тихонько ѣхать за другими. Чья-то лошадь дышала у меня надъ головой, и я слышалъ французскія и нѣмецкія фразы, смѣхъ дѣтей и дѣвушекъ, басовыя ноты мужчинъ. Направо шелковый платокъ огненнымъ пятномъ краснѣлъ на черной мѣховой полости саней, занятыхъ двоими. Я пристально взглянулъ на дѣвушку, которая держала

его въ одной рукѣ. Дѣвушка обернулась, и наши взгляды встрѣтились.

— Саша! воскликнула она.

Это была Вѣрочка.

Сергѣй Ипполитовичъ тоже увидалъ меня. Онъ комически пожалъ плечами, безъ тѣни неудовольствія, и, покачавъ головой, улыбнулся мнѣ, какъ другъ или какъ джентльменъ.

Я поклонился имъ и, въ свою очередь, улыбнулся. Сердце мое страшно забилось. Я имъ... искренно обрадовался.

Сейчасъ-же я поѣхалъ къ нимъ. Сергѣй Ипполитовичъ поселился, какъ и говорилъ, въ Большой Морской. У него была прекрасная меблированная квартира. По крайней мѣрѣ, съ перваго взгляда она производила выгодное впечатлѣніе: всюду бронза, по угламъ мраморные бюсты. Сдавалъ ее какой-то докторъ, которому не повезла практика.

Сергѣй Ипполитовичъ, раздѣвшись и войдя въ залу, пожалъ мнѣ руку. Вѣрочка подставила нахолодѣлую на улицѣ щечку. Щечка была свѣжа, какъ майская роза ран-

нимъ роснымъ утромъ. Я поцѣловалъ и обнялъ Вѣрочку крѣпче, чѣмъ обыкновенно. Въ отвѣтъ она скользнула по мнѣ яркимъ, нѣсколько недоумѣвающимъ взглядомъ и исчезла въ слѣдующей комнатѣ — переодѣться.

Дядя усадилъ меня на диванчикѣ, въ бесѣдкѣ, устроенной изъ тощихъ олеандровъ и драценъ, и молчалъ. Мнѣ было неловко.

Стемнѣло. Съ улицы въ намерзлыя окна проникали лучи газа и быстро тонули въ яркомъ палевомъ свѣтѣ керосиновыхъ лампъ, горѣвшихъ въ залѣ. Я смотрѣлъ на дядю, при этомъ двойномъ свѣтѣ, и противоположныя чувства боролись во мнѣ.

— Соскучился въ ***? спросилъ, наконецъ, Сергѣй Ипполитовичъ, закуривая сигару. Мнѣ показалось, что онъ закурилъ ее въ замѣшательствѣ. Обыкновенно, онъ курилъ сигары только послѣ обѣда. Протянувъ мнѣ портсигаръ и не ожидая отвѣта, соскучился-ли я, онъ продолжалъ:— Здѣсь, разумѣется, веселѣе. Что ни говори—столица. Масса удобствъ. Ты ви-

далъ сегодня—великій князь ѣхалъ? Здѣсь все дешевле. Возьми квартиры. Гдѣ въ *** за восемь рублей въ сутки найдешь ты этакой... appartament?

— Такъ тебѣ тоже сюда захотѣлось? началъ онъ, пососавъ сигару. — Чудакъ! Надо было сказать—вмѣстѣ поѣхали-бы. Ты на Невскомъ? Давно? Два дня? Не было адреса? Гм! Это непорядокъ. Оно, впрочемъ, понятно. Теперь мы въ либеральномъ періодѣ. Либеральныя вѣянія!... А я замѣтилъ, что непорядокъ идетъ у насъ объруку съ либерализмомъ... Что-же новаго въ***? Ничего!?

— Ничего, рѣшительно ничего.

— Ольга Сократовна?

— Здорова, разумѣется. Не люблю я ее, дядя. Кажется, сплетница...

Глаза Сергѣя Ипполитовича сверкнули, и онъ пытливо и осторожно взглянулъ на меня, не поворачивая головы. Я покраснѣлъ.

— Ты хочешь сказать: дама, — замѣтилъ онъ съ улыбкой. — У дамъ вообще языкъ безъ костей. А когда онѣ ухажи-

ваютъ за молодыми людьми въ родѣ тебя, то пускаются на отчаянныя средства. Онѣ раздражаютъ воображеніе мальчиковъ: повѣрить имъ, такъ всѣ только и дѣлаютъ, что... О, да! Ольга Сократовна... Но, мой другъ, свѣтъ не клиномъ сошелся. И если тебя Ольга Сократовна такъ напугала, что ты удралъ отъ нея въ Петербургъ, то...

Онъ разсмѣялся сочнымъ, пѣвучимъ смѣхомъ, такимъ смѣхомъ, какимъ смѣялся, только говоря о женщинахъ, и слегка хлопнулъ меня по колѣнкѣ. Это было совсѣмъ по-дружески. Еслибъ не тревожный сверкающій взглядъ, опять въ полоборота брошенный на меня, взглядъ холодный и острый, я принялъ бы эту дружбу за чистую монету и не сомнѣвался бы, что дядя обрадовался моему неожиданному пріѣзду. Я инстинктивно приготовился къ отпору.

— Тутъ, въ Петербургѣ, по части женскаго пола—малина!—говорилъ дядя.—У меня есть пріятели, и они, если хочешь...

— Благодарю васъ, дядя, не надо,—сказалъ я.—У меня на это особые взгляды.

— Хе-хе!

Онъ выпустилъ струйку душистаго дыма и съ напряженной улыбкой смотрѣлъ на меня.

— Скажи-ка, что же Ольга Сократовна... о чемъ она говорила, о чемъ именно, что ты назвалъ ее сплетницей?... Любопытно.

— Она говорила... вообще.

— Вообще?

— Въ сущности, только намекала...

Взглядъ Сергѣя Ипполитовича пронизывалъ меня. Я замолчалъ, а у него не хватило смѣлости, что-ли, разспросить меня. Онъ такимъ образомъ долго сидѣлъ, и все курилъ сигару, пока отъ нея не остался крошечный окурокъ.

Потъ прошибъ меня. Мнѣ казалось, что дядя уже догадался, зачѣмъ я пріѣхалъ, а я усталъ, и такъ упали мои нервы, что меня страшила скорая развязка всей этой передряги. Но и страстное любопытство шевелилось въ моей душѣ, а потомъ проносилась мысль, что я самъ себя обманываю, что ничего такого на самомъ

дѣлѣ нѣтъ, что я въ крайне смѣшномъ положеніи. Когда позади меня раздался стукъ каблучковъ и шорохъ, я вздрогнулъ отъ радости—нашему томительному, неловкому молчанію наступилъ конецъ. Вѣрочка подошла къ намъ, нарядная, въ пестромъ, кокетливомъ платьѣ, съ красной камеліей въ волосахъ.

— Садись, Вѣрочка, сюда, между нами,— сказалъ дядя и слегка отодвинулся отъ меня, чтобъ опростать мѣсто.

VII

Вѣрочка повторила дядины вопросы о *** и я долженъ былъ дать тѣ-же отвѣты. Вѣрочка слегка зѣвнула, а дядя забарабанилъ по геридону.

— Пора-бы обѣдать,—проговорилъ дядя.

Вѣрочка встала и, подавивъ пуговку звонка у дверей, снова сѣла возлѣ меня, но такъ близко, что платьемъ накрыла мнѣ руку.

— У насъ, Саша, теперь все шиворотъ-

навыворотъ. Обѣдаемъ часомъ, а иногда и двумя позднѣе... Папа, сегодня на обѣдъ...

Она разсказала меню обѣда: сама заказывала. Сергѣй Ипполитовичъ полюбопытствовалъ, достанетъ-ли на меня; это онъ сквозь зубы процѣдилъ. Затѣмъ разговоръ оборвался. Вообще я былъ лишній, я стѣснялъ ихъ.

Я подумалъ, не уйти-ли. Но близость Вѣрочки... но легкое прикосновеніе этого платья... Нѣтъ, я не могъ двинуться и пошевелить рукой, потому что мнѣ пришло вдругъ въ голову, что Вѣрочка нарочно такъ сѣла и сейчасъ потихоньку пожметъ мнѣ руку. Я былъ какъ въ чаду.

— А гдѣ-же m-lle Эмма? —спросилъ я, хотя меня вовсе не интересовала эта деревянная особа, и вспомнилъ я объ ней единственно изъ приличія.

— M-lle Эмма? — начала Вѣрочка, обмѣнявшись съ дядей взглядомъ.—Она...

— Тутъ... у знакомыхъ... У ней есть родные...—нехотя пояснилъ дядя.

Вѣрочка умолкла и сидѣла потупившись.

— Значитъ, вы... вдвоемъ?

— Конечно, — совсѣмъ ужъ нехотя и даже пренебрежительно проговорилъ Сергѣй Ипполитовичъ.

Вѣрочка раскрыла вѣеръ и помахала имъ себѣ въ лицо.

— Но ты, Вѣрочка, скучаешь безъ m-lle Эммы?

— Не очень...

— Правда, въ Петербургѣ некогда скучать... И притомъ же m-lle Эмма, вѣроятно, пріѣзжаетъ...

— Нѣтъ...

— Какъ нѣтъ: пріѣзжаетъ, — сказалъ дядя.

Вѣрочка поправилась:

— Пріѣзжаетъ.

— Вотъ сегодня была, — продолжалъ дядя.

— Ахъ, да! дѣйствительно, была! Подарила мнѣ красныхъ камелій!—воскликнула Вѣрочка.

Рукѣ моей было довольно неловко, но я все еще надѣялся. Однако, надеждѣ на этотъ разъ не суждено было сбыться. Вошелъ человѣкъ и объявилъ, что поданъ обѣдъ.

За обѣдомъ я ѣлъ мало — кусокъ не шелъ въ горло. Ревниво слѣдилъ я за Вѣрочкой и Сергѣемъ Ипполитовичемъ. Она ни разу не посмотрѣла на него и была задумчива. Красивые глаза ея устремлялись въ неопредѣленную даль. Потомъ, вздрогнувъ, она принималась за прерванную ѣду. Сергѣй Ипполитовичъ повязалъ на шею салфетку, и въ его обликѣ, съ горбатымъ носомъ, съ неподвижнымъ багровымъ румянцемъ на скулѣ и чувственнымъ, выцвѣтшимъ глазомъ, въ которомъ мерцала искра разсчетливаго купеческаго ума, было что-то еврейское. Я страстно ненавидѣлъ его въ эту минуту, хоть онъ дѣлалъ самое невинное дѣло. Мнѣ казалось, что онъ ѣстъ отвратительно, что манеры у него, не смотря на все его джентльменство, гнусныя, и я радовался, что непохожъ на него.

— Ты будешь жить съ нами? спросила Вѣрочка.—Гдѣ ты остановился?

Я сказалъ.

— Ему съ нами неудобно, — проговорилъ дядя, прихлебывая изъ стакана красное вино.

Я съ умысломъ взглянулъ на дядю самымъ вопросительнымъ взглядомъ. Онъ осушилъ стаканъ и любезно предложилъ мнѣ вина.

— А мы сегодня, Саша, на балъ ѣдемъ, въ собраніе,—сообщила послѣ обѣда Вѣрочка, идя рядомъ со мной.—Ѣдемъ, ѣдемъ! Ахъ, какъ весело танцовать, Саша! Послушай, новая полька!

Она подбѣжала къ піанино.

— Polka Loris-Melikoff...

— Либеральная, мой другъ, полька,— сказалъ дядя, глубоко садясь въ кресло.— Ты будь внимателенъ!

Дядя былъ уже въ томъ возрастѣ, когда спать послѣ обѣда составляетъ «вторую натуру». Онъ этому занятію всегда посвящалъ полчаса, и я разсчитывалъ, что мнѣ удастся поговорить съ Вѣрочкой наединѣ.

Вѣрочкины руки бѣгали по клавишамъ, я стоялъ поодаль, дядя курилъ и не думалъ идти спать. Такое необыкновенное поведеніе Сергѣя Ипполитовича сердило меня, и должно быть лицо мое было очень

мрачно, потому что Вѣрочка, мелькомъ взглянувъ на меня, вдругъ бросила играть и спросила:

— Ты нездоровъ, Саша? Что съ тобою?

— Я совершенно здоровъ, отвѣчалъ я.

— Ты какъ-будто измѣнился... въ лицѣ...

— Ну, это временно... А вотъ ты, Вѣрочка, измѣнилась основательнѣе.

Произнеся это, я сѣлъ на диванчикъ, обставленный драценами, такъ что Сергѣй Ипполитовичъ не могъ меня видѣть; я закрылъ лицо руками. Вѣрочка смотрѣла въ мою сторону долгимъ, вдумчивымъ взглядомъ. Потомъ она медленно подошла ко мнѣ.

Молча стояла она, наклонивъ голову. Въ комнатѣ было тихо. Только на улицѣ не умолкалъ грохотъ экипажей, и отъ сотрясенія мостовой чуть-чуть дрожалъ полъ и нѣжно звенѣлъ шаръ на лампѣ.

Послышалось храпѣніе дяди. Вѣрочка наклонилась ко мнѣ, взяла за руки и прошептала:

— Ты плачешь?

Я обнялъ ее.

— Посиди со мной, посиди, Вѣрочка!

Она опустилась на диванчикъ и своимъ платкомъ отерла мнѣ глаза.

— О чемъ же ты?...

— Ты не очень измѣнилась, Вѣрочка?— спросилъ я, вмѣсто отвѣта.

— Какъ измѣнилась?—проговорила она застѣнчиво, и недоумѣвающій взглядъ ея остановился на мнѣ; затѣмъ она перевела его на себя.

— Я выросла,—сказала она наивно.— Черезъ мѣсяцъ мнѣ будетъ шестнадцать...

— Милое дитя!—произнесъ я съ увлеченіемъ и поцѣловалъ у ней руку.—Конечно, ты ангелъ!... Прости меня, что я смущаю тебя... Эти дурацкія слезы... Видишь, все нервы... Не спалъ двѣ ночи, и кромѣ того... однимъ словомъ, мнѣ показалось, что вы оба не особенно довольны тѣмъ, что я появился — какъ снѣгъ на голову...

— Напротивъ!

— Отлично, если такъ, и я ошибся... Но если...

— Саша, право, ты какой-то смѣшной! Тебя любятъ...

*

— Кто?

Она улыбнулась, влажный взглядъ ея очаровательныхъ глазъ загадочно скользнулъ по мнѣ, и я опять поцѣловалъ у ней руку.

— Дядя любитъ,—сказала она.

— А Вѣрочка не любитъ?

— Не знаю...

Она засмѣялась и нѣжно ударила меня рукой по губамъ.

— Какая трогательная полька. Не правда-ли? — промолвила она со смѣхомъ, послѣ паузы. —А ты знаешь, почему ты сталъ оплакивать меня? Милый Саша, все это надѣлала моя новая прическа... Это она меня измѣнила!

Въ самомъ дѣлѣ, волоса у Вѣрочки были зачесаны назадъ, и это не шло къ ней.

— Я причешусь, какъ прежде!

Она повернулась къ зеркалу, висѣвшему на стѣнѣ—сейчасъ-же надъ диванчикомъ, встала на колѣни и движеніемъ руки и головы распустила волосы. Они устремились на ея плечи и спину тяжелымъ потокомъ, упругіе и волнистые, и красная

камелія долго висѣла на нихъ, слабо цѣпляясь за черныя пряди, пока, дойдя, наконецъ, до ногъ, не упала на паркетъ. Я поднялъ ее. Вѣрочка взяла у меня гребешокъ, быстро расчесала волосы, сплела одну толстую косу и, соскочивъ съ дивана, сказала:

— Такъ хорошо? Нравится тебѣ?

— О, да!

Она протянула руку за цвѣткомъ, но я спряталъ его въ боковой карманъ. Вѣрочка лукаво посмотрѣла на меня изъ-подъ пальцевъ руки, которою въ смущеніи прикрыла глаза, какъ бы не замѣчая, что другую руку я осыпалъ поцѣлуями.

Такъ прошло минуты двѣ. Вдругъ Вѣрочка залилась задорнымъ, черезчуръ веселымъ смѣхомъ, вырвала руку, выскользнула какъ змѣйка, какъ птичка изъ моего объятія и, продолжая смѣяться, снова усѣлась за піанино. Она играла, и ея смѣхъ вторилъ хвастливымъ звукамъ модной польки.

Странная эта Вѣрочка. Я совсѣмъ не знаю ея. Ребенокъ она или дѣвушка? Рука

моя еще горѣла отъ прикосновенія ея руки, и мнѣ было стыдно и сладко. Я прижималъ камелію къ сердцу. Оно билось, все билось.

На полутонѣ Вѣрочка оборвала игру и возвратилась на прежнее мѣсто такъ же торопливо, какъ оставила его.

Грудь ея высоко поднималась и опускалась. А на рѣсницахъ дрожали слезы.

VIII

Дядя кашлянулъ. Я вздрогнулъ отъ безотчетнаго ужаса. Мрачно посмотрѣлъ я въ его сторону, и молодая дѣвушка, испугавшись или этого кашля, или моего взгляда, тоскливо промолвила:

— Проснулся... Ты проснулся, папа?

Торопливая улыбка мелькнула на ея лицѣ, она бросилась къ дядѣ.

Я поднялся.

— Я не спалъ, ma petite,—отвѣчалъ Сергѣй Ипполитовичъ зѣвнувъ.

Наступило молчаніе.

— Нельзя спать, когда надъ самымъ ухомъ эта полька...—продолжалъ онъ.

— Папа, вчера ты отлично спалъ подъ нее!

Онъ усмѣхнулся.

— Александръ! Фракъ у тебя есть?—вдругъ спросилъ онъ. И не дожидаясь отвѣта, пояснилъ:—О фракѣ я спрашиваю потому, что тогда... Вѣрочка взяла бы тебя въ собраніе... Не правда-ли, Вѣрочка?

Вѣрочка посмотрѣла на меня. Она сидѣла на ручкѣ того кресла, гдѣ полулежалъ Сергѣй Ипполитовичъ, и глаза ея были уже сухи.

— У меня нѣтъ съ собой ни фрака, ни сюртука,—отвѣтилъ я потупляясь.

— Жаль, мой другъ,—сказалъ дядя.—Собраніе—согласись самъ. Мнѣ не здоровится,—онъ потеръ колѣно и поморщился:—я съ удовольствіемъ остался-бы дома, а ты, въ самомъ дѣлѣ, поѣхалъ-бы съ Вѣрочкой...

Что-то въ родѣ благодарнаго чувства шевельнулось во мнѣ.

— Вы сѣли-бы въ карету,—продолжалъ

дядя, морщась еще сильнѣе: — и потомъ въ собраніи ты велъ-бы Вѣрочку подъ руку... Вообще берегъ-бы ее... Конечно, ты сдѣлалъ-бы это охотно,—я очень радъ, что ты искренно ее любишь...

На душѣ у меня свѣтлѣло.

— Натанцовавшись съ нею вволю, ты покормилъ-бы ее... Въ собраніи хорошій буфетъ, а Вѣрочка не прочь полакомиться... Всѣ любовались-бы на васъ и говорили: «вотъ парочка!»

— Дядя!—воскликнулъ я.

— Свѣтомъ ты привезъ-бы ее домой...

— Дядя!

— Но,—тутъ онъ сдѣлалъ остановку:— фрака у тебя нѣтъ. Вмѣсто фрака, какой-то фантастическій костюмъ: синяя жакетка, подъ жакеткой красная блуза. Ты не кавалеръ, ты на нигилиста похожъ. Куда-же тебѣ ѣхать въ собраніе!

Я понурилъ голову.

— Оно хоть и либеральное теперь время, а все-же... за кого Вѣрочку примутъ! Да и не пустятъ тебя!

«Фракъ сейчасъ можно купить!» поду-

малъ я, и тутъ-же вспомнилъ, что на это у меня не хватитъ денегъ.

— И къ тому-же,— продолжалъ дядя:— мнѣ самому захотѣлось ѣхать. Колѣно перестало...

Я ждалъ, что Вѣрочка грустно взглянетъ на меня; но она чмокнула дядю въ лобъ. Я покраснѣлъ и сказалъ:

— Въ самомъ дѣлѣ, Вѣрочкѣ я не пара... Я не танцоръ.

— Э! значитъ, будь даже у тебя фракъ, ты не повезъ-бы Вѣрочку въ собраніе! подхватилъ дядя.—А я, братъ, полагалъ, что ты ее любишь...

Онъ насмѣшливо взглянулъ на меня... Достаточно было этого взгляда, какъ-разъ какъ на томъ портретѣ, который я растопталъ, чтобы ненависть къ дядѣ проснулась во мнѣ снова.

Точно туча повисла надъ нами, и я ждалъ, что вотъ-вотъ грянетъ громъ, пронижетъ молнія напряженный электрическій воздухъ и кто-нибудь изъ насъ— или я, или дядя—падетъ, сраженный, униженный, оттертый. Возлѣ Вѣрочки намъ

двоимъ стало тѣсно. Видно было, что и дядя это понимаетъ. Да и Вѣрочка, хоть она не знала, что дѣлается во мнѣ, чуяла что-то тревожное. Глаза ея останавливались то на мнѣ, то на дядѣ, и нѣсколько разъ выбѣгала она изъ комнаты, сейчасъ-же опять возвращаясь, какъ-бы изъ опасенія, не случилось-ли уже между нами что-нибудь. Мы, однако, вели себя сдержанно. Дядя острилъ, но былъ усиленно любезенъ со мною; я отмалчивался, придумывая, чѣмъ-бы, въ свою очередь, допечь его.

За чаемъ, который разливала Вѣрочка въ узенькой столовой, я сказалъ:

— Дядя, какъ вы думаете, зачѣмъ я пріѣхалъ сюда?

Онъ пожалъ плечами.

— Я никогда не былъ оракуломъ и не умѣю отгадывать намѣреній молодыхъ людей.

— Ну, однако-же?

— Къ дѣлу, Александръ, къ дѣлу!

— Я пріѣхалъ повидаться съ вами,— проговорилъ я, откидываясь на спинку

стула и стараясь въ упоръ глядѣть на дядю.

— Благодарю тебя зя нѣжныя чувства...

Онъ бросилъ на меня нестерпимо острый, словно металлическій взглядъ; я не выдержалъ и потупился.

— Я пріѣхалъ,—началъ я дрогнувшимъ голосомъ:—попросить у васъ выдѣла моихъ капиталовъ и... и... отчета.

Онъ нахмурился.

— Выдѣла? Отчета?

— Да... Пора... Я ужъ совершеннолѣтній... Мнѣ не хотѣлось-бы зависѣть даже отъ васъ...

— Не смотря на всю любовь твою ко мнѣ,—докончилъ дядя.—Хорошо. Но какъ это ты вдругъ рѣшился? Въ такое время?... Впрочемъ, твое дѣло.

Онъ замолчалъ и энергично ломалъ сухарики, которые потомъ хрустѣли на его зубахъ, какъ песокъ. Пальцы его дрожали. А я ликовалъ.

Когда чай былъ отпитъ, онъ взялъ меня за талію и мягко проговорилъ:

— Если до тебя, мой другъ, дошли какіе-нибудь слухи, то, пожалуйста, вѣрь имъ только въ половину. Банкротство одесскихъ хлѣботорговцевъ и потомъ этого здѣшняго Кемница, конечно, не могло не покачнуть нашего баланса...

— Я ничего рѣшительно не слыхалъ, дядя,—отвѣчалъ я, чувствуя себя не совсѣмъ ловко въ его объятіи:—и не сомнѣваюсь въ цѣлости... мало сказать... въ неприкосновенности моего состоянія, честное слово! Но мнѣ скучно безъ денегъ. Я шагу не могу ступить безъ денегъ. Вотъ напр., ѣхать въ собраніе. Но у меня нѣтъ даже ста рублей, чтобъ фрачную пару купить.

— Только лакеи и мелкіе чиновники покупаютъ фракъ... Фракъ, мой другъ, всегда заказываютъ. Да и поздно теперь. Не придется-ли мой фракъ на тебя?

— Не надо. Онъ будетъ широкъ.

— Да, онъ будетъ широкъ.

Мы молча прошлись по залѣ.

— Такъ неужто-жъ ты изъ-за фрака поднялъ эту исторію?—вдругъ весело спросилъ онъ и остановился.

— Мнѣ, дѣйствительно, пришло это въ голову сейчасъ,—отвѣчалъ я, серьезно глядя на Сергѣя Ипполитовича.

Онъ раскосилъ глаза.

Остальную часть вечера, до отъѣзда ихъ въ собраніе, мы провели мирно. Вѣрочка долго одѣвалась и когда одѣлась, то съ страннымъ восторгомъ говорила о танцахъ. Но миръ былъ дѣланый. Черная туча не сходила съ нашего горизонта.

Они уѣхали, а я нѣсколько минутъ стоялъ на панели. Мнѣ все мерещилось, какъ Вѣрочка, приподнявъ платье, садится въ карету, поддерживаемая Сергѣемъ Ипполитовичемъ. Не сразу перешелъ я къ впечатлѣніямъ дѣйствительности. Наконецъ, тронулся я съ мѣста. То былъ морозъ, теперь накрапывалъ осенній дождикъ. Чмокала грязь подъ копытами, фонари горѣли, отражая въ мокромъ гранитѣ изжелта-сѣрый свѣтъ газовыхъ рожковъ. Люди шли, шли безъ конца.

Измокшій притащился я домой и растянулся на турецкомъ диванѣ. Я вспомнилъ, какъ ласкова была со мной Вѣрочка,

вспомнилъ ея слезы и поцѣлуй, который она дала дядѣ. Странныя мысли лѣзли мнѣ въ голову.

Самоваръ шипѣлъ. Застоявшійся воздухъ дремалъ въ тускло освѣщенной комнатѣ. Иванъ пришелъ со счетомъ и за паспортомъ. Весь долгій вечеръ я провелъ одинъ въ номерѣ. Опять слышалъ я сонату, исполняемую моей бѣдной маленькой сосѣдкой, и удивился, что могъ принять это тренканье за твердую игру Вѣрочки.

«Страсть ослѣпляетъ насъ», подумалъ я сентенціозно и заснулъ.

IX

Вчера было условлено, что я явлюсь въ Большую Морскую утромъ за пятьюстами рублей, которые мнѣ выдастъ дядя на разныя надобности и затѣмъ основательно поговоритъ со мною по поводу моего неожиданнаго требованія. Я всталъ рано, но, конечно, не ради денегъ, а ради Вѣрочки. Я былъ боленъ думами о ней, и

мнѣ хотѣлось поскорѣй видѣть ея глаза. Больше любви было и больше муки, а любовь возрасла со вчерашняго вечера. Глаза этой дѣвушки, какъ два мерцающіе черные алмаза, преслѣдовали меня неотступно, таинственные и чудные. И страсть, и любопытство тянули къ ней; и ужасъ опасенія, что она принадлежитъ другому, и надежда, что она будетъ моей. Я одѣлся, машинально взялъ газету и не могъ читать. По Невскому проспекту я бродилъ все утро и, полный нетерпѣнія и тоски, поминутно справлялся съ часами...

Я шелъ, глотая сырой, холодный туманъ поздняго петербургскаго утра. Жидкій стукъ колесъ и смѣшанный гулъ голосовъ пронизывали мглу. Предо мною и по бокамъ волновались тѣни людей и лошадей. Да и самые дома казались призрачными силуэтами какихъ-то колоссальныхъ созданій, подслѣповато и безстрастно глядящихъ на меня тысячами глазъ.

Когда я подумалъ, какъ одинокъ я въ этомъ чужомъ огромномъ городѣ, мнѣ жутко стало...

Туда, гдѣ теплится хоть искра участія! Скорѣй къ Вѣрочкѣ!

Я позвонилъ.

Горничная не сейчасъ отперла дверь.

— Что, Глаша, барышня?

— Еще спятъ.

— А баринъ?

— Да и баринъ...

Горничная была старая дѣва, изъ тѣхъ, что полнѣютъ съ годами, рябоватая, съ хитрыми, полуопущенными глазами. Сергѣй Ипполитовичъ очень благоволилъ къ ней.

— Теперь поздно! А дядя самъ назначилъ мнѣ...

— Такъ вы подождите, Александръ Платоновичъ, пусть они поспятъ.

Она повѣсила пальто и проводила меня въ залу.

— Должно-быть, поздненько вернулись,—началъ я.

— Въ пятомъ часу,—отвѣтила она тихо и исчезла.

«Ну, дядя не всегда ведетъ себя по-джентльменски, — заставляетъ ждать», —

думалъ я и жадно и ревниво глядѣлъ на дверь, гдѣ была Вѣрочкина комната.

Помню, дверь была маленькая, полированная, въ видѣ шкафчика, съ бѣлой фаянсовой, круглой, какъ яблоко, ручкой. Искра свѣта неподвижно бѣлѣлась на ручкѣ, и постепенно взглядъ мой сосредоточился на этой искрѣ. Вдругъ, она потухла, ручка повернулась, дверь безшумно подалась, и я увидѣлъ... дядю.

Онъ былъ въ бухарскомъ халатѣ и пестрыхъ сафьяновыхъ сапожкахъ. Смотрѣлъ онъ недружелюбно, лицо его какъ-то непріятно осунулось, на головѣ волосы лежали въ безпорядкѣ.

— Что ты такъ странно поглядѣлъ? началъ онъ. — Ты прошелъ ко мнѣ... по дѣлу... и чтожъ... ты не ожидалъ меня, что-ли?

Я не отвѣтилъ.

— Можетъ, думалъ, что я не сдержу обѣщанія? продолжалъ онъ.—Въ сущности, я имѣлъ-бы право не дать тебѣ ни копѣйки, пока формальности не сдѣланы... Тѣмъ болѣе, что своимъ неожиданнымъ

требованіемъ ты рѣжешь меня безъ ножа... Вынуть изъ оборота пятьдесятъ тысячъ — значитъ надолго расшатать состояніе, которое, вѣдь, не Богъ знаетъ какъ велико. До окончательнаго упорядоченія нашихъ отношеній позволительно было-бы не обращать вниманія на твои нужды. Мнѣ какое дѣло, что тебѣ понадобились пятьсотъ рублей. Заварилъ кашу, такъ и расхлебывай! Но я человѣкъ старыхъ убѣжденій, не то, что нынѣшняя молодежь, которая хвастается своими принципами, а на самомъ дѣлѣ ихъ отрицаетъ. Я далъ слово, и хоть сообразилъ потомъ, что поторопился, однако, остаюсь ему вѣренъ. Вотъ деньги.

Онъ протянулъ пачку ассигнацій. Я не взялъ.

— Поговоримъ сначала...

— О чемъ говорить!—произнесъ онъ съ досадой.—Между нами, Александръ, пробѣжала черная кошка. Съ нѣкоторыхъ поръ ты какъ-то странно глядишь на меня— и дерзко, и нагло, ты пріѣхалъ, чтобъ поссориться, отравить мнѣ жизнь этими

денежными дрязгами, о которыхъ удобнѣе всего было-бы говорить тамъ, въ ***, а не здѣсь, въ Петербургѣ. Да и праздники! Хоть наружно надо уважать традиціи православія!.. Что ты улыбаешься? Послушай, Александръ, я не люблю этого нигилизма...

Онъ зорко посмотрѣлъ на меня.

— Александръ, хоть ты и совершеннолѣтній, но нашему брату теперь все-таки приходится отвѣчать за васъ. Разъ ты получишь въ свое распоряженіе капиталъ,—ради Христа, не употреби его во зло... Тебя повѣсятъ, да и меня не погладятъ по головкѣ. Можетъ быть, я снова возьму службу, и для меня, разумѣется, важно, чтобы родня моя вела себя хорошо... Я до сихъ поръ не могу забыть, что генералъ-губернаторъ не подалъ мнѣ руки послѣ ареста этого проклятаго Соколова!...

— Дядя!

— Что, племянникъ? Эй, Александръ, предсказываю я тебѣ горькій конецъ! Я проснулся и все утро лежалъ и думалъ о

тебѣ! Не къ добру ты захотѣлъ самостоятельности. А помнишь, что сталось съ Неручинымъ? Выдѣлился, вотъ также какъ ты, и что-же? Отрицалъ и Бога, и православіе, и бракъ, жилъ съ кузинами...

— Дядя!

— Объ этомъ всѣ Тополькн говорили... Всѣ ужасались!...

— Неручина Соколовъ презиралъ...

— Какой авторитетъ! Молчи, ради Бога. Будетъ! Желаю тебѣ всего лучшаго отъ души. Я только предостерегаю тебя, въ силу права, переданнаго мнѣ твоей бѣдной покойной матерью. Понимаешь—есть предчувствія... Ну, да довольно! Если ты хочешь выдѣла сейчасъ—напрасный капризъ! Не время и не мѣсто. Въ концѣ-же января, въ началѣ февраля — другое дѣло. Тогда я къ твоимъ услугамъ. А затѣмъ, вотъ обѣщанные пятьсотъ рублей — бери, будешь жалѣть! въ другой разъ не дамъ,—и скатертью дорога.

Онъ всталъ и, запахивая одной рукой полы халата, другою указалъ на выходную дверь.

Я поблѣднѣлъ, поднялся, грудь моя надулась отъ вздоха, судорожно застрявшаго въ ней, и, схвативъ деньги, я швырнулъ ихъ на полъ; и тутъ же я увидѣлъ, какъ повернулась фаянсовая ручка, и въ образовавшейся щели сверкнуло что-то бѣлое, точно край утренней блузы или подолъ рубашки. Я быстро зашагалъ и надѣлъ пальто уже на лѣстницѣ, съ трудомъ попадая въ рукавъ. Слезы слѣпили мнѣ глаза.

X

— Вотъ встрѣча!.. Почтеннѣйшій юноша! Землякъ, а землякъ! Не ожидалъ! какими судьбами?

Предо мною стоялъ человѣкъ лѣтъ подъ тридцать, съ четырехугольнымъ лицомъ, широкими черными бровями, въ шубѣ и смушковой сѣрой шапкѣ.

Онъ обнялъ меня, и только когда поцѣловалъ, крѣпко всовавшись своими толстыми губами въ мои губы, я вспомнилъ,

что это Ткаченко, бывшій мой репетиторъ, котораго дядя такъ неделикатно разсчиталъ тогда.

— Кузьма Антоновичъ! вскричалъ я.

Ткаченко, держа меня за руку, подвелъ къ извощику и сказалъ:

— Садитесь, Александръ Платоновичъ! Поѣдемъ ко мнѣ, треба моего хлѣба-соли отвѣдать! Скажите, надолго вы сюда явились?

— И самъ не знаю. Потомъ разскажу,— отвѣчалъ я, вытирая глаза платкомъ и переводя духъ. — А вы тутъ постоянно живете?

— Постоянно! По горло въ дѣлѣ... въ хлопотахъ... женился... Что, сильно я постарѣлъ?

— Перемѣнились... усы какіе!

— Казачьи!—произнесъ онъ и провелъ рукой по усамъ, взглянувъ въ воображаемое зеркало, которое должно было-бы висѣть какъ-разъ на спинѣ извощика.

— А я, должно быть, мало перемѣнился... началъ я.

— Ничуть! Выросли только... У васъ

все такое-же молоденькое личико — какъ у красной дѣвушки. Бороду надо-бы. А то, я вамъ доложу, у васъ наружность, которая барышнямъ не очень-то нравится...

— Надо состарѣться, и тогда смѣло разсчитывай на барышенъ!... Такъ? Что-жъ, въ иныхъ случаяхъ это вѣрно... Бываетъ!—сказалъ я съ удареніемъ.

— Натурально, бываетъ. Барышни любятъ мужественный видъ и чтобы усы кололись...

Онъ опять посмотрѣлся въ воображаемое зеркало.

Пока мы доѣхали до дома, гдѣ жилъ Кузьма Антоновичъ, онъ успѣлъ переговорить обо всемъ — не только о барышняхъ, но и старину вспомнилъ, сообщилъ, что̀ съ кѣмъ сталось... Объ одномъ только не было имъ сказано ни слова: о дядѣ. Я-же пока не могъ о дядѣ равнодушно говорить—боялся, что разрыдаюсь; я еще не остылъ послѣ горячки, въ которой выбѣжалъ изъ его квартиры.

Бесѣдуя съ Ткаченко, я чувствовалъ, что встрѣча эта благотворна для меня.

Главное, я ужъ не былъ одинокъ. А затѣмъ насъ крѣпко должна была соединить общая ненависть къ Сергѣю Ипполитовичу. Кузьма Антоновичъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые забываютъ даже давнія обиды. Его добродушіе и наивный юморъ отлично уживались съ этимъ свойствомъ его души.

Квартировалъ Кузьма Антоновичъ въ самомъ концѣ Невскаго проспекта за Знаменской церковью, гдѣ улица съуживается и теряетъ свой элегантный видъ. Лѣстница была безъ швейцара, безъ ковра, съ грязными, сырыми стѣнами и вся въ дощечкахъ—съ изображеніемъ руки и надписью: «нотаріусъ». Эта рука не покидала насъ вплоть до четвертаго этажа. Дверь квартиры была тоже вся въ надписяхъ.

— Вы у нотаріуса живете?—спросилъ я, обрадовавшись какой-то неясной мысли, мелькнувшей у меня.

— Я самъ нотаріусъ,—отвѣчалъ Ткаченко самодовольно.—Нарочито не говорилъ, чтобы удивить друга!

На четырехугольномъ лицѣ его сіяла та-

кая торжествующая улыбка, что нельзя было сомнѣваться въ важности, которую онъ придаетъ сдѣланной имъ карьерѣ нотаріуса. Я поздравилъ его.

Контора его, впрочемъ, не свидѣтельствовала о блистательномъ положеніи его дѣлъ. За рѣшеткой работали двѣ женщины и сѣденькій, кривоплечій старичекъ. Унтеръ всталъ на вытяжку передъ нотаріусомъ. На жесткомъ диванѣ безпокойно завозился кліентъ въ лисьемъ пальто и густо напомаженныхъ волосахъ. Ткаченко чуть кивнулъ головой въ отвѣтъ на поклоны подчиненныхъ и кліента и провелъ меня въ свой кабинетъ.

Это была небольшая закопченная комната съ письменнымъ столомъ у окна, съ турецкимъ ковровымъ диваномъ, съ гипсовымъ бюстомъ Шевченка, съ бронзовой лампой и неизбѣжной у всякаго малоросса олеографіей «Ночи» Куинджи. На дверяхъ висѣли зеленыя портьеры. Одну изъ нихъ Ткаченко приподнялъ и сказалъ:

— Галю, а Галю! Ну-ка, иди сюда! Землякъ пришелъ, такъ надо показаться!

Не церемонься. Въ чемъ стоишь, въ томъ и иди. Не осудитъ!

— Подожди, мой другъ!—послышался кроткій женскій голосъ. — Опусти портьеру!—раздался тотъ же голосъ черезъ секунду, но уже не такъ кротко.

— Покоряюсь во всемъ! произнесъ Ткаченко вполголоса, отходя отъ двери и съ гордостью посматривая въ ту сторону, гдѣ находилась его жена. — Алина Патрикѣевна, я вамъ скажу, замѣчательная женщина,—продолжалъ онъ.—Можетъ быть, вы и не надѣялись, что я такъ скоро...—гдѣ же, въ Петербургѣ!...—пристроюсь, однимъ словомъ, выйду въ люди. Такъ надо говорить правду — всѣмъ я обязанъ Алинѣ Патрикѣевнѣ. Конечно, тутъ не приданое важно, а ея сердце и умъ... Напримѣръ, у меня женщины пишутъ... Онѣ и аккуратнѣе, и гораздо дешевле... Кто завелъ? Алина Патрикѣевна. Приданаго я взялъ за ней немного—пять тысячъ да эту контору. Хотѣлъ бросить контору и переѣзжать туда, на родину. Кто удержалъ? Алина Патрикѣевна. Живое дѣло

какъ же можно бросать? Теперь Бога благодарю!

— На родину развѣ не тянетъ?

— Какъ можно! Кто ее забудетъ? А только согласитесь сами... Нѣтъ, это совсѣмъ другое дѣло. Родина—особь статья!

Услышавъ шорохъ за портьерой, онъ внимательно взглянулъ на себя въ зеркало, погладилъ усы и всталъ.

— Вотъ, позволь тебѣ, Галю, представить...

Вошла дама и протянула мнѣ твердую, жилистую руку; дама была высокая, худая, съ длиннымъ носомъ и въ бѣломъ чепчикѣ съ сѣрыми лентами, свисавшими на затылкѣ.

— Мнѣ всегда пріятно видѣть друзей моего мужа,—сказала она.

Такъ какъ она считала необходимымъ занимать меня, то сѣла, пригласила меня сѣсть и начала:

— Онъ такъ любитъ свою глупую Малороссію, что радъ всѣмъ, кто пріѣзжаетъ оттуда. Представьте, мужика сюда притащилъ! Напоилъ его водкой и самъ съ

нимъ пилъ... Ужасно! А вы давно изъ Малороссіи?—кротко спросила она.

Я остался обѣдать у Кузьмы Антоновича. Усердно приглашая меня отвѣдать того или другаго блюда, онъ каждый разъ просительно посматривалъ на Алину Патрикѣевну. Лицо ея было холодно; иногда оно покрывалось розовыми пятнами; ни разу не отвѣтила она мужу любезнымъ взглядомъ.

— Галя сердится, что обѣдъ неудачный,—сказалъ Ткаченко:—а по мнѣ—дай Богъ всякому такъ ѣсть! Галю, а Галю, да нубо! Кушайте, Александръ Платоновичъ, угощайтесь. Вотъ крылышко возьмите... пупочекъ... печеночку...

Когда послѣ обѣда Кузьма Антоновичъ сказалъ, что купитъ ложу, и пригласилъ меня въ театръ, Алина Патрикѣевна поблѣднѣла. Она опустила глаза и казалась мраморной статуей—до того все въ ней, до послѣдней складки платья, стало неподвижно. Но я отказался, и Алина Патрикѣевна ожила.

— Что же мнѣ сдѣлать съ вами, чтобы

расшевелить васъ? Чего вы такой скучный? Въ театръ вамъ не хочется — не поѣдемъ ли къ Палкину, послушать органъ? Ну, на бильярдѣ сразимся? А были вы въ новыхъ баняхъ? Удивительныя бани! Мы съ Алиной Патрикѣевной разъ...

Тутъ Алина Патрикѣевна встала и ушла, сдѣлавъ негодующее лицо. Кузьма Антоновичъ прикусилъ языкъ.

— Что я такое сказалъ? спросилъ онъ, растерянно мигая. — Этакая скверная натура! Какъ лишнюю чарку проглочу, то всегда ляпну что-нибудь...

Мнѣ становилось все скучнѣе и скучнѣе.

— Да что съ вами? Вы точно въ воду опущенный!

— Я уйду, Кузьма Антоновичъ. А потомъ вы пожалуйте ко мнѣ. У меня дѣло есть, важное, безотлагательное! Я ужасно радъ, что вы нотаріусъ... Вы мнѣ дадите совѣтъ... И вамъ я все могу разсказать... А тутъ не могу... неловко... Да и ко сну, кажется, васъ клонитъ...

— Правда, клонитъ...

— Вотъ видите. Такъ до вечера!

— До вечера, положимъ, недалеко... Уже смерклось... А дѣло, говорите, важное?

— Да, Кузьма Антоновичъ! Ужъ такое важное!...

Мы стояли въ передней. Лампочка горѣла надъ головой и освѣщала коренастую, положительную фигуру Ткаченка, устремившаго на меня полусонный, полузадумчивый взглядъ. Это былъ человѣкъ надежный, и нѣкоторая ограниченность его придавала ему характеръ еще большей надежности. Я крѣпко пожалъ ему руку.

Онъ пріѣхалъ ко мнѣ въ десятомъ часу, свѣжій и бодрый, слегка сквернословящій, ибо былъ того мнѣнія, что молодымъ людямъ это нравится, и въ холостой квартирѣ позволительны всякія выраженія. Выпивъ два пунша, онъ выслушалъ мою исповѣдь «съ большимъ удовольствіемъ», сказалъ, что слышалъ на биржѣ отъ земляковъ о томъ, въ какомъ положеніи находятся денежныя дѣла Сергѣя Ипполитовича, и обѣщалъ поправить все—если

возможно поправить. Когда я сталъ распространяться о Вѣрочкѣ, онъ насмѣшливо улыбнулся.

— Это уже послѣднее дѣло,—произнесъ онъ.—Цѣлое состояніе на картѣ!... А отвѣдать любви всегда успѣете... Сколько красавицъ на свѣтѣ! Нѣтъ, оставьте, бросьте! Да и что въ ней, въ этой Вѣрочкѣ: черная, какъ галка... все лицо изъ глазъ...

— Вы, Кузьма Антоновичъ, не понимаете послѣ этого, что такое красота...

— Не знаю, можетъ, она съ тѣхъ поръ другая стала... А только о красотѣ мы судимъ по себѣ. У дѣвушки лицо должно быть бѣлое. Ну, и кромѣ того, роскошное сложеніе...

— Оставимъ этотъ разговоръ, Кузьма Антоновичъ.

Онъ помолчалъ и сказалъ:

— Смотрите-жъ, объ одномъ прошу: когда я согну въ дугу этого франта и онъ прибѣжитъ мириться, то—нуль вниманія. Никакихъ уступокъ! Ни-ни! Онъ васъ за руку, а вы руку прочь! Онъ вамъ

письмо, а вы—молчокъ! Онъ на васъ Вѣрочку нашлетъ, но и тутъ вы соблюдите свое достоинство... Все равно, черезъ мѣсяцъ, черезъ два она будетъ ваша, ужъ если на то пошло. Куда ей дѣться! Между-тѣмъ я на биржѣ похлопочу...

Онъ потеръ руки и язвительно смотрѣлъ въ окно, въ черный туманъ ночи, тамъ и сямъ пронизываемый желтыми огнями.

Черезъ часъ мы разстались.

XI

Два дня прошло въ мучительной тревогѣ, какую испытываетъ, можетъ-быть, развѣ тольто богатый скупецъ, потерявшій вдругъ все свое состояніе и лишь на одну полицію возлагающій надежды. Онъ куда надо заявилъ, тамъ выслушали его заявленіе и обѣщали сдѣлать «все зависящее». Летятъ часы, слагаются въ сутки, безконечныя сутки, однѣ и другія. Несчастный за это время истомился въ безплодномъ ожиданіи, но боится не вѣ-

рить въ счастливый исходъ полицейскаго розыска и все баюкаетъ себя надеждой, что вотъ сейчасъ вернется къ нему утраченное сокровище, онъ насладится блескомъ драгоцѣнныхъ камней и протянетъ, какъ прежде, блаженныя руки къ звенящему золоту...

Увы! Всего разъ заѣхалъ ко мнѣ Ткаченко и съ дѣловымъ видомъ произнесъ:

— Надо ковать желѣзо... Праздники мѣшаютъ. Но сейчасъ отправлюсь.

— Куда? ужъ не къ Сергѣю-ли Ипполитовичу?...

Кузьма Антоновичъ ничего не отвѣтилъ и, напѣвая, вылилъ на себя полфлакона «невской воды». Правда, заѣзжалъ онъ и еще разъ, но не засталъ меня.

Утромъ на третій день, еще въ постели, я получилъ письмо. У меня сильно забилось сердце. Кузьма Антоновичъ дѣйствуетъ! Торопливо сорвавъ конвертъ, я прочелъ:

...«Самое главное я приперъ его къ стѣнѣ. Я схватилъ его за горло, и онъ долженъ былъ просить пощады. Но, по-

щады я не далъ и не дамъ. Не превратитесь въ кисель! Если расчувствуетесь, деньги пропали. У Сергѣя Ипполитовича больше пятидесяти тысячъ не наберется. Всего-навсе! Я досконально узналъ это и держу его въ рукахъ. Онъ разоренъ и черезъ какой-нибудь мѣсяцъ будетъ подъ пятой почтеннѣйшаго юноши, а его Вѣрочка...»

Тутъ я скомкалъ письмо и проворчалъ:

— Дуракъ!

Дальше Кузьма Антоновичъ обѣщалъ пріѣхать послѣ четырехъ часовъ, чтобъ пообѣдать со мной у Бореля (на мой счетъ) и все мнѣ подробно разсказать.

Хлопоты Кузьмы Антоновича были, такимъ образомъ, очень успѣшны, и сначала я искренно обрадовался. Но меня что-то смутило. Я лежалъ и удивлялся, что не дальше какъ вчера я мечталъ о такомъ исходѣ, какъ о необыкновенно желательномъ, и радость представлялъ себѣ гораздо большею, чѣмъ теперь на самомъ дѣлѣ ее испытываю...

— Что-же это?

Были грязныя строки въ письмѣ Кузьмы Антоновича. Впрочемъ, я это простилъ-бы ему, какъ простилъ его дикіе отзывы о Вѣрочкиной наружности. Но мнѣ вдругъ ясно стало, что я совершаю некрасивое насиліе. Вѣдь не деньги свои я спасаю, какъ упорно утверждаетъ Кузьма Антоновичъ, а хочу Вѣрочку купить у Сергѣя Ипполитовича. Такъ случилось, что дядя разорился на своихъ спекуляціяхъ, а я этимъ пользуюсь!

— Вся эта исторія черезчуръ тово...— рѣшилъ я вставая.—Если Вѣрочка любитъ меня хоть капельку, какъ мнѣ кажется, то все равно я отниму ее... Такое насиліе—даже доблесть. Но насиліе посредствомъ нотаріуса.... добиться покорности и любви цѣною денегъ... нѣтъ, гадко!

Одѣвшись, я рѣшилъ придумать что-нибудь другое... но дверь отворилась, и вошли двѣ дамы въ шубкахъ.

*

XII

— Вѣрочка? M-lle Эмма!

Мнѣ не хватало словъ, и я не зналъ, что сказать... Я растерялся.

— По какой погодѣ!—началъ я и посмотрѣлъ въ окно, изъ котораго ничего не было видно, кромѣ тумана, бѣлаго, какъ вата.

Была смущена и Вѣрочка. Она все не поднимала глазъ. Развязывая у подбородка ленты своей шляпки, она напряженно улыбалась. Нѣжные, тонкіе пальчики ея, красные отъ холода, трепетали.

Я взялъ ея перчатки, шляпку, муфту и клалъ то на диванъ, то на комодъ.

Помогая Вѣрочкѣ скинуть шубку, я спросилъ:

— Отчего-же вы не раздѣваетесь, m-lle Эмма?

M-lle Эмма сказала Вѣрочкѣ нѣсколько словъ по-англійски.

— M-lle Эмма сейчасъ уйдетъ, — проговорила Вѣрочка прерывающимся голосомъ.—Она уйдетъ, если ты... этого захочешь...

— О, да, да!—отвѣтила m-lle Эмма.

— Зачѣмъ уходить?... Куда?...—спросилъ я.—Но... впрочемъ... Хорошо, Вѣрочка, мы останемся одни!

Сказавши это, я съ нетерпѣніемъ сталъ ждать ухода m-lle Эммы, приписывая ея присутствію свое смущеніе. Но какъ долго не уходитъ она! Какъ размѣренно подошла она къ Вѣрочкѣ, и какъ безконечно то, что она ей говоритъ! А что она ей говоритъ? Отчего вспыхнули у Вѣрочки щеки? Господи! Ну, пускай ужъ не уходитъ, если Вѣрочка такъ краснѣетъ!... Въ вискахъ у меня застучало, и я насилу понялъ, что m-lle Эмма уходитъ, уходитъ!...

Но когда мы остались одни съ Вѣрочкой, смущеніе усилилось. Мы сидѣли на диванѣ и молчали.

— Не хочешь-ли чаю, Вѣрочка?—проговорилъ я.

— Нѣтъ.

— Можно подогрѣть... я прикажу...

— Не надо!

Снова молчаніе.

Бѣлесоватый день лилъ тусклый свѣтъ въ комнату. Лишь зеркало въ углу сверкало, и въ немъ отражалась фигура Вѣрочки, съ наклоненной головой, въ красной шелковой кофтѣ, перетянутой кожанымъ поясомъ.

Мало-по-малу брильянтовыя сережки въ ея ушахъ стали дрожать.

— Что съ тобой, Вѣрочка? спросилъ я.

Въ отвѣтъ раздалось ея рыданіе—сначала тихое, сдержанное, потомъ громче. Она закрыла лицо руками и горько заплакала.

Я бросился къ ней, упалъ къ ея ногамъ, обнялъ ея колѣни, покрылъ поцѣлуями ея платье.

— Что съ тобой, Вѣрочка, милая? Перестань! Что съ тобой?

Но она все плакала. Ея слезы, за каждую каплю которыхъ я отдалъ бы всю свою кровь, сжимали мнѣ сердце не-

выразимой болью. То были истерическія слезы, потрясавшія ее, слезы, которыхъ я никогда не забуду...

— О, ради Бога! Выпей воды! Вѣрочка!

Она взяла стаканъ, но вода проливалась, и шелковая кофта ея намокла на груди и потемнѣла.

— Саша!... Зачѣмъ... зачѣмъ... ты... обидѣлъ его!?—произнесла она, наконецъ, дѣлая усиліе надъ собою.—Ты его обидѣлъ... жестоко... ты разоряешь его... Саша! О, какая я несчастная! Смотри, милый братъ мой, дорогой мой, голубчикъ, Сашечка, я тебя на колѣняхъ умоляю... Не ссорься съ нимъ!—страстнымъ, слезливымъ шепотомъ заключила она и хотѣла опуститься на полъ, но я удержалъ ее.

Я всталъ и проговорилъ:

— Успокойся, Вѣрочка. Никому я не желаю зла. Ты хочешь отклонить меня отъ весьма благоразумнаго поступка...— Правда, поступокъ неожиданный... Еслибъ не обидное обращеніе дяди, никогда не

пришло бы мнѣ въ голову... Но тутъ еще одно обстоятельство замѣшалось... Что-жъ, сказать тебѣ все прямо?

Сердце мое замерло.

— Мнѣ показалось, Вѣрочка, что дядѣ выгодно даже, если онъ поссорится со мной... съ нѣкоторыхъ поръ выгодно... Видишь-ли...

Я остановился и продолжалъ:

— Онъ тебя любитъ. Но не какъ пріемную дочь, а какъ... прости меня, пожалуйста... какъ лю... какъ постороннюю дѣвушку... Ну, и я тоже... Правду сказать, Вѣрочка, я тебя съ осени ужасно полюбилъ!

Я взялъ ее за руку и крѣпко сжалъ; она смотрѣла на меня заплаканными глазами.

— Выпей воды, пожалуйста, Вѣрочка, я боюсь, что къ тебѣ вернется припадокъ... Выпей!

Я напоилъ ее изъ стакана, какъ ребенка.

— Если-бъ я могъ... еслибъ, Вѣрочка, милая, счастье мое, сокровище, еслибъ я

могъ думать, что ты хоть столечко любишь меня, какъ я былъ-бы спокоенъ!... Но тутъ я сталъ ревновать тебя...

Жаръ разлился у меня въ груди, бросился въ лицо, зажегъ щеки.

— Никогда не сталъ-бы я ссориться съ дядей... Вѣрочка, видишь-ли, еслибъ за тобой сталъ ухаживать молодой человѣкъ, я не такъ-бы мучился, какъ теперь, когда я думаю на дядю... Ахъ, какое это горе и терзаніе! Я терзаюсь, дядя терпѣть не можетъ, зачѣмъ я на глазахъ... это все его тревожитъ и раздражаетъ, оттого что я подозрѣваю... Мнѣ кажется, мы съ нимъ видимъ другъ друга насквозь! Для него лучше, если мы разстанемся!...

Глаза Вѣрочки затуманились, но она молчала. Я сѣлъ и обнялъ ее.

— Скажи-же что-нибудь! Можетъ-быть я обижаю тебя неосновательно... Тогда прости меня. Но ты видишь, я люблю тебя и съ ума схожу отъ любви... Я прилетѣлъ въ Петербургъ для тебя... Не думай, что для денегъ... Это вдругъ я выдумалъ

предлогъ и чтобъ отплатить чѣмъ-нибудь дядѣ. А я для тебя, для тебя! Я люблю тебя, Вѣрочка! Разсѣй мои подозрѣнія! Скажи, что я оскорбляю тебя, что я лгу, что ничего у тебя нѣтъ съ дядей... Скажи!

Она молчала.

— Я жестокъ, Вѣрочка, мнѣ стыдно, что я пристаю такъ къ тебѣ... Да что-жъ дѣлать, когда я измучился, и у меня нѣтъ другихъ мыслей и другихъ разговоровъ. И ты сама пришла ко мнѣ... Значитъ, и ты хочешь развязки... хочешь, да?

Я слышалъ, какъ дрогнулъ ея станъ и точно потеплѣлъ подъ моей рукой. Она сказала:

— Сдѣлай такъ, чтобы помириться съ папа.

Она подняла на меня глаза, кроткіе и лучистые, съ слѣдами невысохшихъ слезъ на рѣсницахъ.

— То-есть, что? То-есть, ты требуешь, чтобъ я оставилъ у него деньги? Неужели это значитъ помириться?

Въ ея глазахъ стояло недоумѣніе; я

ясно видѣлъ, что она боится меня,—боится, что я не соглашусь.

— Папа надо деньги,—произнесла она.

— Не называй его папа!—вскричалъ я:—какой онъ тебѣ папа! Онъ тебѣ чужой человѣкъ! Или нѣтъ, онъ тебѣ близокъ?... крѣпко... ужасно близокъ?.. Да?.. Да скажи-же?!

Меня злость разбирала.

— Такъ онъ тебѣ близокъ? Такъ?—спрашивалъ я и больно обнималъ ее.—Такъ все-же онъ не папа! А впрочемъ, папа, папочка, папаша! Ха-ха!

— Мнѣ страшно тебя...

— Полно, Вѣрочка, нашла страшное... Ахъ, я жалкій человѣкъ! Зачѣмъ я полюбилъ тебя, зачѣмъ люблю?...

— Пусти...

— Пустить тебя? Ну, разумѣется, я тебя не удерживаю!

Я оттолкнулъ ее.

— Саша!

Она заплакала опять, но тихими слезами, которыя свѣтлыми струйками сбѣгали по ея пальцамъ. Я стоялъ, заложивъ

руки въ карманы. Я былъ грубъ, мнѣ хотѣлось побить ее.

— Долго это будетъ продолжаться?

— Пощади его!—отвѣчала она.

— Все онъ да онъ! Вѣрочка, онъ почти втрое старше тебя! Какъ можно любить его!... Послушай, дитя мое! Мнѣ опять пришла мысль: ну, что если я обижаю тебя напрасно! — Я подошелъ къ ней и снова обнялъ ее.—Ты не можешь его любить!.. У него отжившіе взгляды... Онъ... эгоистъ...

— Онъ добрый,—прошептала она.

Пальцы мои хрустнули.

— Да, очень добрый,—продолжала Вѣрочка, отнимая руку отъ лица и вытирая глаза платкомъ, на которомъ красовался вензель Сергѣя Ипполитовича. Этотъ вензель лѣзъ въ глаза.—Хорошій и славный... Онъ тебя любилъ и любитъ, хоть ты ему зло дѣлаешь.

— Да, любя меня, онъ полюбилъ тебя!...

— Что тутъ дурнаго?—спросила она, съ загорѣвшимся взглядомъ, придавшимъ пропасть очарованія ея лицу.—Я тоже люблю его!

Я впился въ нее глазами. Вотъ когда она недосягаема! Дѣвочка стала женщиной.

— Прости меня,—прошепталъ я.

— Саша, милый!—начала она кротко:— я не могу на тебя сердиться. Ты меня прости... Но ты не станешь мстить... Не правда-ли?

Она ласкалась ко мнѣ.

Я сказалъ:

— Вѣрочка, не скрывай отъ меня...

Ничего не буду!

— Неужели эта близость у васъ давно?— спросилъ я.—И развѣ онъ послѣ этого не эгоистъ самый...

Я не могъ найти слова. Вѣрочка покраснѣла.

— Молчи, Саша! О какой близости говоришь? Или, впрочемъ, зачѣмъ лгать? Да, я его любовница! — прибавила она, поднявъ голову.

— Любовница!

Я заломилъ руки, она наклонилась ко мнѣ.

— Итакъ все это правда!—вскричалъ я съ отчаяніемъ.

— Не тоскуй, я расплачусь. Саша,

что-же ты? Помиришься съ нимъ?—начала она.

— Низачто!!—вскричалъ я, сжавъ кулаки и вскакивая, какъ ужаленный.

Я ходилъ по комнатѣ. Вѣрочка засматривая мнѣ въ лицо, ходила возлѣ меня и говорила:

— Полно, Саша, милый Саша!

— Отвѣть,—шепотомъ проговорилъ я:—тебя «наслалъ» сюда дядя? Онъ приказалъ тебѣ просить меня? Кого ты любишь!... стараго негодяя! Онъ посылаетъ тебя устраивать его денежныя дѣла! Даже Эмма ушла, чтобъ не мѣшать? Ха-ха-ха!...

— Тсс! произнесла она, и опять засверкали ея глаза. Отъ огня, которымъ зажглюсь ея чудесное лицо, высохли слѣды недавнихъ слезъ ея. Она точно никогда не плакала и не была слабымъ ребенкомъ.

— Саша! Онъ ничего не говорилъ!—начала она.—Онъ не знаетъ, что я у тебя. Но—я не вернусь къ нему иначе, какъ примиривъ васъ... чего бы мнѣ это ни стоило. Дядѣ Эмма не скажетъ, что уходила. Понимаешь? Сергѣй Ипполитовичъ не

будетъ знать, что мы оставались вдвоемъ. Когда Ткаченко вчера присталъ къ папа, и я увидѣла, какъ ужасно положеніе этого человѣка, который теперь для меня все, я сейчасъ-же рѣшила поправить дѣло. Я знала, что ты любишь меня и для меня все сдѣлаешь!

Она увѣренно смотрѣла мнѣ въ лицо, прижавшись ко мнѣ станомъ и слегка откинувъ голову.

— Вѣрочка...

Она прижалась еще сильнѣй...

— Помирись... Только помирись,—шептала она.

Глаза ея застыли, темные и влажные; губы раскрылись. Нижнія вѣки какъ-то странно съежились, придавъ особенное выраженіе этому полудѣтскому лицу...

Во мнѣ все горѣло, и кругомъ, казалось, горѣлъ воздухъ, жгучій и душный, какъ въ жаркій лѣтній день. Но стѣна воздвиглась между нами и раздѣляла насъ. Я потихоньку освободился отъ Вѣрочки, посадилъ ее на диванъ и сказалъ:

— Я не отберу денегъ у дяди. Пусть онъ держитъ ихъ у себя. Можешь быть довольна. Ты исполнила свою миссію. Но, милая Вѣрочка, оскорблять твою любовь— нѣтъ, Богъ съ тобой! Будь чиста и безукоризненна въ твоей привязанности! Никогда не продавай себя! Любовь гнушается такихъ жертвъ!

Я не могъ говорить—слезы стали дрожать въ горлѣ, я разрыдался.

Она тоже стала плакать.

— Мнѣ стыдно,—говорила она прерывающимся голосомъ:—что я... не презирай меня...

Она схватила платокъ съ вензелемъ Сергѣя Ипполитовича, отерла слезы и поднесла къ своимъ губамъ мою руку.

XIII

Когда я остался одинъ, черная тоска легла мнѣ на душу. Я плакалъ, завидовалъ дядѣ, проклиналъ судьбу. Наконецъ,

написавъ Ткаченкѣ, я угрюмо сталъ собираться въ дорогу.

— Что я слышу? Александръ, ты уѣзжаешь?—началъ дядя, влетая и любезно улыбаясь.

Я не успѣлъ опомниться, какъ ужъ онъ жалъ мнѣ руку.

— Но надѣюсь, мой другъ, ты удѣлишь мнѣ часикъ и переговоришь со мною... Вѣдь такъ нельзя... Мало-ли что между родными произойти можетъ. Изъ-за каждаго пустяка ссориться! Ну, поссорились, пора и помириться. Прогони, пожалуйста, твоего Ткаченко... Онъ грубъ и Богъ знаетъ что затѣваетъ... Я вовсе, разумѣется, не въ безнадежномъ положеніи... Сейчасъ не могу, но черезъ полгода, много черезъ годъ я обдѣлаю дѣла, и увидишь—процвѣту... Ah, mon cher Alexandre! De grâce!...

Онъ поцѣловалъ меня.

— Дядя,—началъ я взволнованнымъ голосомъ:—я прекращаю... я утромъ рѣшилъ прекратить все... и взять назадъ свое требованіе...

— Спасибо! душевное спасибо!

Надушенные усы его и борода прижались къ моему лицу.

— Александръ, я положительно намѣренъ посидѣть у тебя—и прикажи подать чаю или кофе...—произнесъ онъ какъ-бы въ скобкахъ.—Я озябъ... Обрати вниманіе: весь дрожу... Да и ты дрожишь, мой милый мальчикъ...

Онъ бросился на диванъ.

— Да, да, я зналъ, что ты долженъ будешь все прекратить!...—началъ онъ, раскрывая скобки.—Ты благородный человѣкъ и могъ только поступить такъ, а не иначе. У насъ ошибки не могутъ продолжаться. Было скверное петербургское утро, мы раскисли и повздорили. Сегодня утро немного лучше, и намъ пора сознаться, что мы оба неправы .. Оба, и я въ особенности. Каюсь и закаиваюсь!

Я молча слушалъ, волненіе не покидало меня. Меня опять стала мучить мысль, что дядя самъ «наслалъ» на меня Вѣрочку. «Теперь онъ играетъ роль,—думалъ я:—и можетъ быть не зная, какъ дорого или

дешево обошлась Вѣрочкѣ моя уступчивость, старается увѣрить себя и меня, что примиреніе, такое, какого онъ желалъ, состоялось просто отъ того, что онъ пріѣхалъ ко мнѣ и сказалъ съ любезной улыбкой или, вѣрнѣе, усмѣшкой: «de grâce!»— а не отъ того, что Вѣрочка побывала у меня». Его ласковые, вѣжливые глаза неотступно слѣдили за мной, и, болтая, онъ, казалось, хотѣлъ прочитать на моемъ лицѣ, что именно произошло между мной и Вѣрочкой. Въ смущеніи я сталъ курить. Дядя наклонился ко мнѣ, чтобы закурить свою папиросу. Пальцы дрожали, папиросы никакъ не могли встрѣтиться.

— Дядя,—спросилъ я:—вы такъ выразились, какъ будто знали, что я беру назадъ... Вамъ уже сказали?

— О, нѣтъ, мой другъ, я не зналъ,— подхватилъ дядя, сдѣлавъ строгое лицо:— я ничего не зналъ... никто не говорилъ. Развѣ ты кого посылалъ ко мнѣ съ этимъ? Никого не было! — тревожно пояснилъ онъ.—Но, съ другой стороны, я зналъ, то-есть я чувствовалъ... Руку твою, еще

разъ руку, и поскорѣй стаканъ горячаго чаю!

Онъ улыбнулся и, найдя мою руку, потрясъ ее.

Иванъ принесъ подносъ съ чаемъ, я сталъ угощать дядю.

— Гдѣ ты откопалъ, cher Alexandre, этого Ткаченка?—началъ дядя. Онъ какъ-то вдругъ воскресъ!.. Воскресшій Ткаченко! Это à la Рокамболь! — пояснилъ онъ.—Послушай, что за намеки дѣлало это грубое существо? Право, я ушамъ своимъ не вѣрилъ... Ты точно влюбленъ?—спросилъ онъ вдругъ таинственно и покровительственно, раскосивъ слегка глаза.

Я покраснѣлъ жаркимъ румянцемъ.

— Не надо было говорить съ нимъ объ этомъ,—произнесъ онъ.—Объ этомъ ни съ кѣмъ не говорятъ. Если же я заговорилъ... то... по необходимости...

Онъ отхлебнулъ изъ стакана и смотрѣлъ на меня.

Хоть мы согрѣлись чаемъ, но оба продолжали дрожать. Дѣлали всяческія уси-

лія, чтобъ побѣдить эту нелѣпую дрожь, и не могли.

Мнѣ захотѣлось быть великодушнымъ, благороднымъ, откровеннымъ, правдивымъ, чтобъ навсегда покончить со всей этой ложью и недосказанностью, чтобъ развязать руки себѣ и дядѣ, чтобъ скорѣе прошла эта непреодолимая и постыдная дрожь.

— Договаривайте, дядя, — вскричалъ я. — Васъ интересуетъ, кого я люблю? Да? Я люблю ее и вы любите ее, и мы съ вами столкнулись... Не правда-ли? Но успокойтесь, я схожу со сцены, потому что любятъ васъ, а не меня. Я побѣжденъ... Берите у меня все... зачѣмъ мнѣ деньги, когда нѣтъ ея! Эхъ, дядя, незавидна тутъ ваша роль, но Господь вамъ судья!

— Ты вѣдь въ Бога не вѣруешь...

— Не придирайтесь къ словамъ, дядя. Будемъ говорить прямо, станемъ стеклянными и заглянемъ другъ другу въ сердце. Вы счастливецъ, васъ любитъ этотъ бѣдный ребенокъ...

— О комъ ты говоришь, Александръ?—

спросилъ Сергѣй Ипполитовичъ съ недоумѣніемъ.

— Дядя, къ чему это притворство? Дѣло идетъ о Вѣрочкѣ, о бѣдномъ, одинокомъ ребенкѣ...

— Александръ, ты читаешь мнѣ проповѣдь.

— Не мучьте меня, дайте высказаться!

Я схватилъ его за руку и возбужденно смотрѣлъ на него. На лбу его налилась синяя жила, но губы старались благосклонно улыбаться.

— Я хотѣлъ поговорить съ тобой, но, признаюсь... — сказалъ онъ. — Впрочемъ, продолжай.

— Да неужели-же вы станете отпираться!—произнесъ я съ презрѣніемъ.— Вы хотѣли говорить со мной о дѣлахъ?.. можетъ быть, хотѣли оформить?

— Ты угадалъ.

— Вотъ какъ! Ну, а я тогда только оформлю, когда вы выслушаете меня...

— Видишь-ли, милый, ты горячишься и не даешь себѣ отчета въ словахъ. Взводишь на меня Богъ знаетъ что! Съ тобой

трудно говорить... У тебя—извини меня—нѣтъ ничего святаго...

— А у васъ?.. Нѣтъ, дядя, я ужъ не такой нигилистъ, какъ вы думаете. Скажите, крѣпко вы ее любите?

— Александръ, все имѣетъ предѣлы. Ты оскорбляешь меня. Но я у тебя въ рукахъ. Хорошо, я отвѣчу тебѣ. Я крѣпко люблю ее, какъ свою пріемную дочь...

— Не больше?

— Нѣтъ.

— Честное слово?

— Даю тебѣ честное слово!

Онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза, и синяя жила на его лбу, казалось, стала еще примѣтнѣе.

Я выпустилъ его руку и упалъ въ кресло, измученный и обиженный.

— Ну, а если вы ее любили, что бы вы сдѣлали?

— Опять, мой другъ, насиліе! Что съ тобой? Ты влюбленъ, но я-то причемъ тутъ? Отвѣтъ я могу, впрочемъ, дать. Извóль. Ты спрашиваешь, что бы я сдѣлалъ?

Онъ всталъ и проговорилъ внушительнымъ тономъ:

— Никто-бы не узналъ, что я люблю ее, и все осталось-бы по-старому, потому-что такая любовь преступна, если она явна. Что тебѣ еще сказать, Александръ?

Взгляды наши встрѣтились, какъ клинки въ поединкѣ, но выдержали встрѣчу и затѣмъ разомъ потупились. Мы долго молчали. Мнѣ жаль было Вѣрочку, и истерическая судорога сжимала мнѣ горло.

— Такъ вотъ насчетъ дѣла, другъ мой!—любезно и почти весело началъ Сергѣй Ипполитовичъ, дотронувшись до моей руки.—Такъ-какъ ты уѣзжаешь сегодня, то не мѣшало-бы...

Но я прервалъ его. При видѣ этого благообразнаго лица прикрывающаго ненависть ко мнѣ милой улыбкой, и этого лба, вспотѣвшаго отъ сдерживаемой злобы, и этихъ глазъ, горящихъ стальнымъ блескомъ, я вышелъ изъ себя и закричалъ:

— Уходите! Все сдѣлаю, какъ обѣщалъ, но уходите, уходите!

XIV

Опять я въ дорогѣ, опять мелькаютъ станціи, версты, телеграфные столбы, мосты, города, деревни, лѣса, рѣки; опять движется и проходитъ передо мной тысячная толпа людей, и опять я одинъ.

Я пробовалъ читать, но мысль о пережитой мною драмѣ неотвязно преслѣдовала меня. Пробовалъ знакомиться и разговаривать съ пассажирами, и вдругъ, среди разговора, забывалъ, о чемъ идетъ рѣчь, и разсѣянно смотрѣлъ въ даль. Примащивался спать, чтобъ ничего не видѣть, не слышать и не думать, и все видѣлъ ее, все слышалъ ея голосъ и все думалъ, что можетъ быть еще не все потеряно.

Не все!!

Мало-по-малу утѣшительная мысль эта возобладала надъ всѣми другими мыслями моими, и, подъѣзжая къ ***, я ужъ создалъ цѣлый планъ новаго похода на сердце Вѣрочки, на этотъ разъ съ самымъ благо-

получнымъ окончаніемъ. Я сѣлъ въ санки и помчался по улицамъ роднаго города.

Городъ ласково глядѣлъ на меня. Послѣ Петербурга, онъ показался мнѣ такимъ уютнымъ и веселымъ! Синее солнечное небо огромнымъ куполомъ раскинулось надъ нимъ. Въ спокойномъ воздухѣ столбами поднимался дымъ изъ трубъ. Серебристый иней осыпался на деревьяхъ, подобно бѣлымъ весеннимъ цвѣтамъ. Высились заиндевѣлые тополи, съ дѣтства примелькавшіеся дома полуготической, полудачной архитектуры; на пригоркѣ краснѣло, окруженное дремлющимъ садомъ, громадное зданіе университета. Сердце мое крѣпко билось.

Когда извощикъ подвезъ меня къ дому, я почувствовалъ большое удовлетвореніе. «Лягу и засну», думалъ я, разбитый усталостью. Но вдругъ мнѣ вспомнился портретъ Сергѣя Ипполитовича. Павелъ выбѣжалъ на встрѣчу. Я торопливо пошелъ въ Вѣрочкину комнату.

Къ величайшему моему удивленію, портретъ висѣлъ надъ кроватью: онъ былъ въ

такой-же бархатной рамкѣ и подъ тѣмъ же овальнымъ граненымъ стекломъ.

Я съ недоумѣніемъ взглянулъ на Павла.

— Это вы распорядились?

— Изволили тогда нечаянно ножкой приступить...—началъ онъ.

Комната, недавно бывшая для меня такой таинственной, не представляла теперь ничего загадочнаго: я зналъ, отчего улыбается портретъ Сергѣя Ипполитовича и почему такъ много этихъ Сергѣевъ Ипполитовичей на стѣнахъ Вѣрочкиной спальни. Но притягательности она не утратила, и я долго стоялъ здѣсь, съ рыдающей болью въ душѣ, глядя на окружающіе меня предметы — на рабочую корзинку Вѣрочки, ея цвѣты, ея постель...

Беппо съ лаемъ кинулся ко мнѣ на грудь и вывелъ меня изъ задумчивости. Я обнялъ его, крѣпко, какъ человѣка, и поцѣловалъ. Онъ прыгалъ, тыкалъ въ руку холоднымъ носомъ, и шерсть его лоснилась на солнцѣ.

— Ты мой единственный другъ, милый Беппо, ты скучалъ безъ меня, похудѣлъ... Иди, я накормлю тебя.

На другой день, рано утромъ, когда еще не совсѣмъ разсвѣло и блѣдный сумракъ наполнялъ комнату сѣрыми тѣнями, я ужъ сидѣлъ въ креслѣ и писалъ.... къ Вѣрочкѣ. Въ письмѣ я желалъ ей счастья, заклиналъ ее не сердиться на меня, просилъ забыть мою назойливую любовь и опять говорилъ о любви и молилъ позволить мнѣ хоть во снѣ любить ее. Слезы капали на бумагу, и я съ сладостнымъ ужасомъ посматривалъ на винтовку, висѣвшую надъ кроватью. Затѣмъ ложились подъ перо робкія фразы о томъ, что я, можетъ, покончу съ собою, и тогда пусть она пожалѣетъ меня, потому что я одинокъ и несчастенъ. Отъ угрозъ я переходилъ ко вздохамъ, отъ жалобъ къ упрекамъ. Исписавъ листъ, я разорвалъ его и принялся писать другое письмо. «Нѣтъ, думалъ я, напишу ей просто, что, повинуясь роковой необходимости, я стушевываюсь, но это не значитъ, что я способенъ разлюбить ее. Я останусь вѣренъ ей, и образъ ея никогда не умретъ въ сердцѣ моемъ. Ни одна женщина въ мірѣ не затмитъ этого образа,

и въ каждой каплѣ крови моей онъ будетъ отражаться до тѣхъ поръ, пока кровь будетъ струиться въ жилахъ, какъ солнце горитъ въ росѣ до тѣхъ поръ, пока она не высохнетъ». Сравненіе это понравилось мнѣ, и, отложивъ письмо въ сторону, я живо набросалъ стихотвореніе. Въ тотъ день я ходилъ растрепанный, неумытый, погруженный въ себя, и голова моя была полна страннаго угара. Я видѣлъ въ себѣ поэта, показавшагося мнѣ серьезной силой. Печальный и грустный, поэтъ до глубины души былъ оскорбленъ въ чистѣйшемъ порывѣ своемъ. Онъ былъ великодушенъ, онъ бросилъ цѣлое состояніе врагу и сумѣлъ сохранить душевную чистоту тамъ, гдѣ врагъ навѣрное загрязнился-бы. Пошлое блаженство Сергѣя Ипполитовича ничѣмъ не смущено, и на совѣсти Вѣрочки нѣтъ пятна. Поэту было чѣмъ гордиться. Но онъ любитъ, — и слезы кипятъ въ его сердцѣ, и больно ему, и негодуетъ онъ, и хочетъ отомстить врагу. О, если-бы заронить сомнѣніе въ грудь бѣднаго ребенка, открыть

ему глаза, показать, до чего мелокъ и ничтоженъ Сергѣй Ипполитовичъ и какъ онъ пороченъ! Я сталъ припоминать слухи о Сергѣѣ Ипполитовичѣ, которымъ прежде не хотѣлъ вѣрить и которымъ вѣрилъ теперь отъ всей души. Огромный обвинительный актъ противъ дяди быстро сложился въ моемъ умѣ. Я сравнивалъ его и себя, и удивлялся, какъ можно было предпочесть мнѣ этого стараго сатира. Рисуясь предъ самимъ собою, закутанный въ поэтическій плащъ, я предвкушалъ сладость будущаго. Въ одинъ прекрасный день я сорву маску съ негодяя: я выслѣжу его, и пусть тогда Вѣрочка увидитъ, кто погубилъ ее. Разумѣется, она заболѣетъ съ горя и отчаянія, но тутъ явлюсь я и протяну ей руку.

Минуло нѣсколько дней, угаръ мой не проходилъ. Я получилъ отъ дядя «ласковое» письмо: онъ извѣщалъ меня, что дѣло, ради котораго онъ, главнымъ образомъ, уѣхалъ въ Петербургъ, устроилось, и финансы его поправились. Формальность, о которой говорилось тогда въ Петербургѣ,

пустяшная. Въ качествѣ совершеннолѣтняго я войду съ нимъ въ компанію или просто получу векселя. О Вѣрочкѣ не упоминалось ни слова. Вообще тонъ письма былъ такой, какъ будто между нами ничего не произошло.

Я отвѣчалъ въ томъ-же тонѣ и просилъ передать письмо Вѣрочкѣ, которое послалъ на имя дяди. При всемъ своемъ неуваженіи къ дядѣ, я не сомнѣвался, что письмо будетъ передано.

Еще прошло нѣсколько дней. Трудно описать, что происходило со мною въ это время. Я пристрастился къ стихамъ и въ короткій срокъ написалъ ихъ множество. Здоровье свое я рѣшительно разстроилъ и былъ блѣденъ какъ смерть; жизнь сохранялась только въ лихорадочно горѣвшихъ глазахъ. Днемъ я слонялся по городу, ночи не спалъ, а если и спалъ, то тревожнымъ сномъ.

Однажды я не могъ заснуть до зари. Я видѣлъ, какъ за стволами деревьевъ блеснула сѣрая полоса разсвѣта, и ночной мракъ тихо отступилъ. Голова моя

горѣла, въ глазахъ рябило, я нехотя раздѣлся и легъ. Но и въ постели я не могъ заснуть. Ясный сумракъ утра заалѣлъ, и золотые лучи солнца, пробившись сквозь намерзлыя стекла, разсыпались на столѣ и на полу, а я все лежалъ, глядя въ пространство и лелѣя несбыточныя мечты.

Беппо заворчалъ, и затѣмъ послышался отчетливый стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?

Вмѣсто отвѣта, повернулась ручка, и вошла высокая дама въ атласной шубкѣ и модной шляпкѣ съ перомъ. Она вошла, застѣнчиво смѣясь, хотя, очевидно, и рѣшилась не стѣсняться, потому что прямо направилась ко мнѣ. Подойдя, она сѣла на кровать.

Поволоцкая!

— Ольга Сократовна, что это значитъ? Я сплю...

Она тихо начала:

— Какъ не стыдно вамъ, Саша... Мало того, что вы ни разу не явились ко мнѣ, но и теперь конфузите меня... вопросами...

Вставъ, она сняла шляпку, не спуская съ меня глазъ, и сняла шубку. Она улыбалась, и странная улыбка Ольги Сократовны заставила меня подумать, ужъ не сошла-ли она съ ума. Эта мысль мелькнула на мгновеніе, но, вмѣстѣ съ чувствомъ страха, во мнѣ загорѣлось другое чувство.

Я самъ улыбнулся ей въ отвѣтъ. Голова моя кружилась отъ безсонницы, я готовъ былъ думать, что это сонъ...

Но когда все прошло,—мнѣ стало гадко и стыдно до слезъ...

Ольга Сократовна, уходя, въ дверяхъ, къ моему ужасу, встрѣтилась съ Вѣрочкой. Не впуская ее, она объявила, что я въ постели.

— Представь, Вѣра, какой онъ сурокъ! Онъ спитъ по цѣлымъ днямъ, и моя опека изъ самыхъ неудачныхъ! Удралъ отъ меня въ Петербургъ,—вообще невозможенъ. А вы только что пріѣхали, да? Съ утреннимъ поѣздомъ? Какъ ты похорошѣла, Вѣра!

Я слышалъ, какъ прозвучалъ дружескій поцѣлуй.

Ольга Сократовна вышла изъ затрудненія, но я былъ уничтоженъ.

XV

Жизнь состоитъ изъ ряда неожиданностей; по крайней мѣрѣ, я долженъ сказать это о моей жизни. Все, что я задумывалъ, не удавалось, и дѣла мои принимали непредвидѣнный оборотъ. Можетъ быть, если стать на извѣстную высоту и оттуда посмотрѣть на жизнь, какъ орелъ смотритъ на облака, окутывающія подошву скалы, на которой онъ свилъ гнѣздо, то жизнь и представитъ изъ себя нѣчто совершающееся по опредѣленнымъ и строгимъ законамъ. Можетъ быть, моя жизнь, не смотря на всю свою безпорядочность, представила-бы тоже нѣкоторую логичность и обоснованность явленій, какъ выражаются книжные люди. Но теперь, когда я записываю эти «явленія», они мнѣ кажутся хаосомъ, и отъ ихъ безалаберности больно становится на душѣ.

Ихъ «логика» мучительна. Оглядываясь, я вижу, что вотъ тогда слѣдовало-бы поступить такъ-то, а въ другой разъ иначе. Разсудочная логика, у которой все дѣлается какъ по маслу, не мирится и не признаетъ житейскую логику, капризную, какъ осеннее небо, на которое я теперь смотрю съ такой щемящей и надрывающей сердце тоской.

Да, осень. Желтый листъ влетѣлъ въ отворенное окно и кружась упалъ на незастланную постель; въ прозрачномъ воздухѣ, выдѣляясь на мутно-голубомъ фонѣ далекаго лѣса, сверкаетъ и медленно плыветъ паутина. Двѣ недѣли живу я здѣсь, въ гробообразномъ мезонинѣ этой дачи, недалеко отъ ***, на самомъ берегу Днѣпра. Со времени же послѣднихъ событій прошла уже цѣлая вѣчность—прошло полтора года.

Не особенно любопытна повѣсть моей жизни за этотъ долгій промежутокъ времени. Понятно, я даже избѣгалъ видаться съ Вѣрочкой. При ней на меня нападала непреодолимая робость, а она потупляла

глаза и была холодна, какъ чужая. Положеніе мое стало невыносимо, я перевелся въ Петербургъ. Сергѣй Ипполитовичъ получилъ хорошее мѣсто въ ***, онъ былъ избранъ директоромъ одной свекло-сахарной компаніи, пристроился къ агентурѣ богатаго страховаго общества, сдѣлалъ, какъ писалъ мнѣ, нѣсколько удачныхъ сдѣлокъ на Срѣтенской ярмаркѣ, бывающей ежегодно въ ***,—и въ деньгахъ я не нуждался. Однако, Ткаченко, котораго я встрѣтилъ въ мартѣ или апрѣлѣ на Невскомъ проспектѣ, погрозилъ мнѣ кулакомъ и предсказалъ, что долго это продолжаться не будетъ. Я ѣздилъ на воды за границу, провелъ лѣто въ Италіи и Швейцаріи. Зимой я прилежно работалъ въ химической лабораторіи, мнѣ хотѣлось забыться и всецѣло отдаться чему-нибудь. Я жилъ уединенной жизнью, нигдѣ не бывалъ и у себя никого не принималъ. Меня, какъ червь, грызла мысль, что въ глазахъ Вѣрочки я такой-же пошлякъ, какъ и всѣ, и что этого ничѣмъ ужъ нельзя поправить; по-

тому-что тутъ невозможны оправданія и смѣшны объясненія.

Разумѣется, въ своихъ собственныхъ глазахъ я не былъ ни пошлъ, ни виновенъ. Я сумѣлъ себя обѣлить. Да и время тоже что-нибудь значило. Я привыкъ, оправдываясь предъ самимъ собою, ссылаться мысленно на поведеніе Вѣрочки. Хоть поведеніе это заключалось въ безотчетной любви ея къ Сергѣю Ипполитовичу, однако, мнѣ казалось оно предосудительнымъ.

Вообще я, должно быть, охладѣвалъ къ Вѣрочкѣ. Часто я разбиралъ ее со всѣхъ сторонъ. Конечно, она была хороша, не по лѣтамъ женственна, обаятельна и граціозна. Но все же она... но впечатлѣніе, произведенное на нее дядей...

«Нѣтъ,—восклицалъ я, ударяя кулакомъ по письменному столу: —какъ она смѣетъ презирать меня за пассажъ съ Ольгой Сократовной!..»

О «пассажѣ», надо замѣтить, у насъ и разговора не было, а о томъ, что она презираетъ меня, я впервые слышалъ отъ самого себя.

Петербургскіе дни мелькали, сѣрые и коротенькіе, какъ осенніе пейзажи, мелькающіе изъ окна вагона курьерскаго поѣзда, безотрадные и тоскливые. Время летѣло, и не успѣлъ я оглянуться, какъ уже на носу полукурсовые экзамены. Миновали экзамены, и вотъ уже сѣверный жаркій іюнь гонитъ петербуржца вонъ изъ города.

Я поселился въ Озеркахъ.

Какъ-то вечеромъ, въ лунныя сумерки, я сидѣлъ въ саду за столикомъ противъ эстрады и слушалъ музыку. Игралъ оркестръ. Въ лѣтнюю ночную тишину сладко вливались красивые звуки, и я забылся.

Но возлѣ меня сѣлъ плотный мужчина въ соломенной шляпѣ и дотронулся до моего плеча.

— Землякъ!

Я вздрогнулъ и узналъ Кузьму Антоновича. На этотъ разъ я совсѣмъ не обрадовался ему.

— Будете пить?

Я отрицательно покачалъ головой. Впрочемъ, отдѣлаться отъ Кузьмы Антоновича

ужъ нельзя было, и завязался разговоръ. Кузьма Антоновичъ объявилъ, что онъ тоже живетъ въ Озеркахъ, вмѣстѣ, разумѣется, съ Алиной Патрикѣевной, и что дѣла у него теперь «важнецкія». Въ августѣ онъ поѣдетъ на югъ, въ качествѣ ревизора страховыхъ отдѣленій.

— Я теперь въ правленіи служу,— прибавилъ онъ.—Я этого цѣлый годъ добивался, проекъ сочинилъ, и вотъ, наконецъ, удостоился.... Правда, что пока ѣду не одинъ, а такъ сказать—помощникомъ... при особѣ!

Онъ значительно поднялъ палецъ. Помолчавъ и осушивъ стаканъ дешеваго вина, онъ сказалъ:

— Все-таки Сергѣю Ипполитовичу я теперь въ нѣкоторомъ родѣ начальство...

Музыка замирала, Кузьма Антоновичъ молча осушилъ другой стаканъ вина. Когда оркестръ кончилъ, раздались рукоплесканія, и Кузьма Антоновичъ, вставая, произнесъ:

— Кажется, Алина Патрикѣевна разыскиваетъ меня... Я тутъ, Галю, гоу! Дур-

ная, не бачитъ. Гоу! — кричалъ онъ, не стѣсняясь.—Нуте, до свиданья, Александръ Платоновичъ. Жаль мнѣ васъ, скажу вамъ откровенно. Сглупили вы тогда малую малось... Гоу! Галю, да ну-жъ, подожди!

Разумѣется, Алина Патрикѣевна слышала возгласы своего супруга, но они должны были рѣзать ея благовоспитанное ухо. Я видѣлъ вдали закаменѣвшее суровое лицо ея, облитое молочнымъ свѣтомъ электрическаго фонаря. Наконецъ, Кузьма Антоновичъ подошелъ къ ней, она отвернулась, и я потерялъ ихъ изъ виду.

Предсказаніе Ткаченко, что не долго я буду получать аккуратно деньги отъ Сергѣя Ипполитовича, между тѣмъ, начало сбываться. Уже въ іюнѣ я получилъ, вмѣсто двухъ сотъ рублей, девяносто, въ іюлѣ ничего. Я сталъ безпокоиться, написалъ нѣсколько писемъ и телеграммъ, и, наконецъ, пришла повѣстка — на пятьдесятъ рублей. Въ письмѣ дядя обѣщалъ не задерживать денегъ, но въ августѣ опять не было ни копѣйки. Тогда, встрѣтившись

съ Ткаченко, я разсказалъ ему о своемъ положеніи.

— Ага!—произнесъ онъ и сталъ хохотать радостнымъ смѣхомъ, держась за животъ.

— Постойте, еще не то будетъ! вошилъ онъ.

— Я не понимаю этого смѣха! — сказалъ я съ сердцемъ.

Черезъ день я выѣхалъ изъ Озерковъ. Я увидѣлъ, что мнѣ необходимо самому побывать въ *** и упорядочить мои финансы. Не желая на будущее время оставаться по мѣсяцамъ безъ денегъ, я хотѣлъ взять у дяди половину капитала и положить долгосрочнымъ вкладомъ въ солидный банкъ. Мнѣ это не представлялось особенно затруднительнымъ. Однако, когда на одной станціи я столкнулся съ Ткаченко, который, оказалось, тоже ѣхалъ въ ***, вмѣстѣ съ «особой», и побѣдоносно посмотрѣлъ на меня, сердце мое забилось отъ страха.

Въ *** я пріѣхалъ въ полдень. Дяди уже не было дома, и Павелъ, увидѣвъ меня, превратился въ сфинкса. Положи-

тельно можно было сказать, при взглядѣ на его лицо, что на немъ написана цѣлая исторія нашего дома, или, вѣрнѣе, его скандальная хроника; и потому, что это пошлое лицо, къ которому у меня вернулось прежнее отвращеніе, было особенно загадочно, я заключилъ, что случилось еще что-то.

— А Вѣра Константиновна гдѣ?—спросилъ я.

— На дачѣ,—отвѣчалъ онъ.

— Давно?

— Съ начала лѣта.

— Здорова?

Онъ не отвѣтилъ.

— А Эмма?

Онъ пожалъ плечами и торопливо сталъ вѣшать мое пальто. Я опустилъ руку въ карманъ, Павелъ слѣдилъ за нею, искоса. Но въ карманѣ ничего не оказалось, и Павелъ нашелъ множество неотложныхъ дѣлъ, которыя помѣшали ему отвѣчать на мои вопросы. Особенно усердно соскребалъ онъ ногтемъ большаго пальца стеариновое пятно съ ковра.

Я разсердился.

— Скажи, по крайней мѣрѣ, гдѣ на дачѣ?

— Въ Памфиловкѣ,—произнесъ онъ небрежно.

Я отправился въ контору страховаго общества, и дядя выбѣжалъ ко мнѣ въ пріемную на минутку. Онъ былъ все также благообразенъ и также по-джентльменски встрѣтилъ меня. Онъ немного измѣнился: въ лицѣ прибавилось краски, онъ сталъ тучнѣе и на вискахъ ярко бѣлѣли волоса. Дядя вынулъ бумажникъ, далъ мнѣ сотенную и, когда я разсказалъ о своемъ намѣреніи взять у него половину капитала, онъ поспѣшилъ увѣрить, что никакихъ препятствій не будетъ и развѣ что придется повременить недѣли двѣ.

Я сообщилъ ему, что ѣдутъ ревизоры.

— Знаю, знаю! — воскликнулъ онъ съ усмѣшкой.

— Ткаченко...—началъ я.

Но онъ не далъ мнѣ кончить, махнулъ любезно рукой, какъ человѣкъ по горло занятый, и ушелъ, крикнувъ:

— До скораго свиданья!

Меня ободрила встрѣча дяди. Онъ не боится ревизіи, дѣла его въ порядкѣ и, значитъ, деньги я получу.

Такъ-какъ флигель, въ которомъ я когда-то жилъ, былъ заброшенъ, то я остановился въ гостиницѣ. Весь слѣдующій день я ходилъ по городу, который за эти полтора года еще лучше обстроился. Пообѣдавъ, вечеромъ я заѣхалъ къ дядѣ. Дяди опять не было, а Павелъ сталъ непроницаемѣе вчерашняго. Впрочемъ, трехрублевка произвела нѣкоторое дѣйствіе.

Я узналъ тревожную новость: Анна Спиридоновна, мать Вѣрочки, должна была пріѣхать изъ Парижа не сегодня—завтра. Воображаю, что переживалъ Сергѣй Ипполитовичъ и въ какомъ состояніи находилась Вѣрочка!

Я задумчиво посмотрѣлъ на Павла. Онъ похлопалъ глазами, и усмѣшка или скорѣе тѣнь усмѣшки пробѣжала по его губамъ.

— Это m-lle Эмма поѣхали за-границу и, должно быть, заскочили въ Парижъ, да

Аннѣ Спиридоновнѣ и насплетничали чего нибудь. Не иначе что такъ,—промолвилъ Павелъ. Ссоры вышли большія съ Эммой у Вѣры Константиновны...

— Экій омутъ! —подумалъ я, глянувъ на пустыя комнаты.

Я рѣшилъ сократить свое требованіе почти на половину: достаточно будетъ и пятнадцати тысячъ.

— Передай Сергѣю Ипполитовичу, что буду у него завтра въ десять часовъ.

Но когда утромъ я явился въ десять часовъ, нашъ домъ былъ опечатанъ. Дядя неизвѣстно куда скрылся.

Его положеніе было ужасно. Ткаченко обнаружилъ въ кассѣ большой недочетъ. Вскорѣ, однако, я увидѣлъ, что дядя гораздо лучше сдѣлалъ бы, если бы влѣпилъ себѣ пулю въ лобъ.

Прежде всего я поскакалъ въ Памфиловку. Былая страсть съ неудержимой силой проснулась во мнѣ. Я заступникъ, я естественный покровитель Вѣрочки. Надо оберечь ея покой, оградить ее, бѣдную, отъ новыхъ испытаній.

Дача, въ русско-швейцарскомъ стилѣ, стояла на припекѣ, балкономъ въ садъ. Я торопливо прошелъ черезъ какую-то комнату. Слухъ мой поразили стоны, ужасные и мучительные, которые, казалось, неслись со всѣхъ сторонъ. Вдругъ они замирали и вдругъ выростали опять. Порою ихъ прерывало глухое ворчанье пса. Дыханье мое пресѣклось.

Анна Спиридоновна, которую я сейчасъ же узналъ по ея цыганскому лицу, не смотря на то, что оно и пожелтѣло, и постарѣло, кричала на Мункина, акушера, поэтическая физіономія котораго дергалась отъ страха и злости. Крупныя слезы текли по щекамъ цыганки, и голосъ ея хрипѣлъ. Беппо не спускалъ глазъ съ Мункина.

— Негодяй, этотъ негодяй, онъ убилъ ее! вся трепеща, обратилась она ко мнѣ, хоть едва ли узнала меня.—Что они сдѣлали съ ребенкомъ моимъ! Дочь мою! Отдайте мнѣ дочь мою!—вопила она, подбѣгая къ модному акушеру.

Тотъ, въ видѣ щита, боязливо протягивалъ руки. Беппо, увидавшій меня, за-

визжалъ и замахалъ хвостомъ; но какъ только Мункинъ сдѣлалъ шагъ, онъ грозно заворчалъ; кажется, ему нравилась эта охота на человѣка.

— Сударыня, клянусь вамъ, ну, увѣряю васъ моимъ благороднымъ словомъ, что барышня будетъ жива! — говорилъ докторъ заикаясь.—Я же знаю, мнѣ же развѣ это въ первый разъ. Пссс! Господинъ студентъ... Молодой человѣкъ, прошу васъ, избавляйте меня отъ этого злого собаки... Вы будете отвѣчать... Ну, ты, какъ тебя... собачка! Пошла вонъ?

— Убійцы, развратители! На висѣлицу мало васъ!—кричала Анна Спиридоновна, изнемогая отъ гнѣва и отчаянія.—Зачѣмъ это было дѣлать! А я, хороша я! Оставила ребенка извергамъ на забаву!

Она страшными глазами взглянула на меня. Стонъ донесся на балконъ: то былъ Вѣрочкинъ голосъ. Я инстинктивно сжалъ кулаки, мнѣ хотѣлось броситься на Мункина. Этого было достаточно, чтобы Беппо опрокинулъ его. Мункинъ съ крикомъ покатился по террасѣ, а Анна Спири-

доновна и я побѣжали туда, гдѣ стонала Вѣрочка.

И я увидѣлъ Вѣрочку...

Она лежала въ полутемной комнатѣ, гдѣ воздухъ пахнулъ кровью. Блѣдная голова ея съ глубоко запавшими очами слегка свѣсилась. Зрачки были расширены отъ боли и испуга, черныя губы судорожно втянуты. Худыя руки ловили одѣяло, все ея тѣло потрясалось ужасъ наводящею дрожью.

Черезъ нѣсколько секундъ, замѣтивъ мать, припавшую къ ея ногамъ, она стала мотать головой. Сидѣлка вышла изъ темнаго угла и попросила Анну Спиридоновну не безпокоить умирающую. Но Анна Спиридоновна разразилась въ отвѣтъ рыданіями и, схвативъ себя за волосы, выбѣжала изъ спальни.

Это все, что я помню... Да еще мерещутся мнѣ глаза Вѣрочки, съ навернувшимися слезами, остановившіеся въ недоумѣніи и страхѣ на мнѣ.

Затѣмъ, какъ я очутился въ этой гробообразной комнаткѣ и кто положилъ мнѣ

компрессъ на голову, я до сихъ поръ не знаю и—не старался узнавать...

И вотъ послѣ того, какъ похоронили Вѣрочку, двѣ недѣли лежу я здѣсь, нищій сердцемъ и нищій въ буквальномъ смыслѣ, больной и печальный, и каждый день смотрю грустнымъ взоромъ на это капризное осеннее небо.

Жизни еще много впереди, но она ужъ мнѣ надоѣла.

1884.

ТЕРЕНТІЙ ИВАНОВИЧЪ

Д. А. Коропчевскому

Въ одинъ жаркій, жаркій день пришлось мнѣ ѣхать изъ Кіева въ деревню, гдѣ я жилъ на дачѣ. Ѣхалъ я на извозчичьихъ дрожкахъ, и колеса, то и дѣло, прикасались къ кузову, съ скрипучимъ шорохомъ.

— Подвиньтесь, баринъ, на право...

Я подвигался на право.

— Теперь немножко на эту сторону, баринъ...

Я подвигался на лѣво—все равно, шорохъ не унимался.

— Ишь черкаетъ, чтобъ его!.. произносилъ извощикъ и, сдѣлавъ «цыгарку» изъ газетной бумаги, курилъ, погляды-

валъ на колеса и укоризненно качалъ головой.

Дорога то поднималась, то шла внизъ, и вездѣ былъ песокъ. Иногда лошадь, замученная, хоть на видъ и сильная, останавливалась, трясла головой, и намъ надо было слѣзать и идти нѣкоторое время пѣшкомъ, подъ палящимъ зноемъ, жмурясь отъ солнечнаго блеска, отражаемаго ослѣпительнымъ, мягко волнующимся ковромъ пожелтѣвшей ржи. Горячій вѣтеръ обдавалъ пылью, и приходила въ голову досадная мысль, зачѣмъ я выбралъ именно этого извозчика, потому что другой, конечно, повезъ-бы и скорѣе, и удобнѣе.

— Что ваша лошадь всегда была такая? спросилъ я почти сердито.

— Какъ можно всегда! Кобыла была первая въ городѣ. Вы не знали Трофима Трофимовича Калача? Въ палатѣ служилъ... Въ тысяча восемьсотъ семьдесятъ третьемъ годѣ умеръ. Такъ это его была кобыла.

— Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ. Больше десяти!

*

— Вѣрно. Да у Трофима Трофимовича покойника она годовъ пятнадцать прослужила. Добрая кобыла! Бывало...

И радуясь, что недостатки настоящаго времени можно заслонить воспоминаніями о славномъ былomъ, извозчикъ пустился въ описаніе замѣчательныхъ качествъ, которыми обладала при жизни Трофима Трофимовича его тридцатилѣтняя лошадь.

— Будь такой добрый,—обратился онъ вдругъ къ человѣку, который ѣхалъ позади насъ съ возомъ, нагруженнымъ стульями, ванной и шкафомъ:—Поѣзжай ты впередъ, то моя лошадка охотнѣе пойдетъ за твоей. Видишь самъ, какой песокъ...

Послѣ того, какъ мы потянулись за возомъ съ кладью, замѣчательная лошадь моего извозчика пошла, дѣйствительно, ровнѣе, но за-то мы туго подвигались впередъ, солнце жгло немилосердно, пыль клубилась удушливая. Извозчикъ должно быть, почувствовалъ угрызеніе совѣсти и рѣшилъ меня занимать. Сначала онъ сталъ

говорить о хозяйствѣ. Онъ давно уже собирается завести дрожки «какъ слѣдуетъ быть», чтобъ рессоры были потверже, а также намѣренъ продать на Конной свою лошадь и купить другую.

— Боже мой! Бывало, мнѣ такой конецъ нипочемъ сдѣлать. Молоньей проскачешь вотъ на ней самой, ей Богу! Тутъ хуторъ Сокирки есть. Онъ, значитъ, монастырскій, но только Трофимъ Трофимовичъ въ арендѣ его держали, и кажинную недѣлю туда, бывало, ѣздили. Ну, и я всегда съ ними, оттого, что я у нихъ кучеромъ восемнадцать лѣтъ служилъ. У нихъ на хуторѣ въ домѣ штучка была,— пояснилъ онъ.

— Трофимъ Трофимовичъ молодъ былъ?

— Какой бѣсъ! за шестьдесятъ перевалило. Совсѣмъ бѣлый, какъ лунь, и колѣнки дрожатъ. А только были охотникъ до женщинъ, и даже не одна была у нихъ штучка, а нѣсколько. Одна, значитъ, постарѣла, а ужъ двѣ новыя подросли. Трофимъ Трофимовичъ сиротокъ

брали, воспитывали, какъ барышенъ, грамотѣ и вышиванью, на фортопьянахъ и танцамъ... Хорошій были человѣкъ, а померли, какъ собака.

— Какъ такъ?

— Со службы прогнали. Бывало, не только сами ѣздятъ, а съ компаніей. Чиновниковъ наберутъ—какъ наѣдутъ, то три дня пируютъ. Безъ просыпу всѣ пьяны! Домъ въ лѣсу. Одно слово, какъ разбойники. Любили и на охоту. Ничего не убьютъ, своимъ порядкомъ перепьются, а ты цѣльный день мерзнешь. Черезъ то я сколько разъ хотѣлъ отходить отъ нихъ.

— Отчего-же не отошли?

— Зацѣпка была. Ну, и жизнь была. Всего съѣшь и выпьешь, и работа не очень чтобы тяжелая, особливо лѣтомъ, и лишній гривенникъ отъ гостя перепадетъ...

— А какая зацѣпка?

— Да что, баринъ, дѣло это прошлое.. Любовь завелась, вотъ что! Былъ я съ лица красавецъ...

Онъ повернулъ ко мнѣ лицо. Хотя рыжая съ сильной просѣдью борода его была страшно всклочена и походила скорѣе на кустарникъ, откуда, по выраженію Гончарова, того гляди—птица вылетитъ, однако черные глаза его не совсѣмъ потухли и, окруженные лучистыми морщинами, сохраняли еще по искрѣ былого огня и былой красоты.

— Влюбился я, баринъ, право слово мое.

— Въ штучку?

— Въ нее самую.

Онъ помолчалъ.

— Что-жъ, она была красива?

— Нельзя сказать. Блѣдная очень изъ себя, волосы до пятъ, сидитъ у окошечка и все думаетъ. За это я ее и полюбилъ.

— А она?

— И она тоже. Сама ко мнѣ свѣтомъ на конюшню пришла. Что это, думаю, ворошится бѣлое? Ужъ не вѣдьма-ли? Цапъ, а оказывается барышня, Надежда Михайловна.

— «Мнѣ, говоритъ, страшно съ ними

стало, такъ я къ тебѣ пришла... Полюби, говоритъ, меня, позволь душу съ тобою отвести»...—Ну, я дуракомъ не былъ,— пояснилъ онъ побѣдоносно.

— Были счастливы?

— Не скажу. Съ тѣхъ поръ я какъ сумасшедшій сталъ. Трофимъ Трофимовичъ на хуторъ ѣдутъ, такъ я весь дрожу, какъ Каинъ. Вотъ пріѣзжаемъ этакъ въ пятницу надъ вечеръ, Надежда Михайловна на крылечкѣ встрѣчаетъ. Онъ ее за подбородокъ возьметъ, другія барышни выбѣгутъ. Я—какъ земля, смотрю, ревную. Поужинаютъ, поиграютъ на фортепьянахъ, лягутъ спать. А я ночь не сплю, дожидаюсь. Ну, какъ придетъ, то я не утерплю, а раза два, таки вожжей огрѣю...

— За что-же?

— За то, что любилъ,—черезъ свою сердечную досаду, баринъ. Сказано — сумасшедшій! Самъ потомъ плачу, она мнѣ ноги обнимаетъ, проситъ: «ударь еще!»— а я все плачу.

Онъ скрутилъ новую цыгарку и продолжалъ:

— Что подарковъ мнѣ было отъ ея! Поясъ вышила, платочекъ, золотой крестикъ подарила, кумачевыхъ рубашекъ шесть, кисетъ, книжку со стихами Пушкина.

— Вы грамотны?

— Грамотенъ, но только книжечки той я не прочиталъ... Такъ, зналъ, что Пушкина. Потомъ деньгами двадцать рублей отдала...

— Долго у васъ любовь продолжалась?

— И лѣто, и зиму, баринъ. А какъ весна наступила—шабашъ.

— Какъ это случилось?

— Да такъ, очень даже просто. Пріѣхали на Свѣтлую недѣлю съ Трофимомъ Трофимовичемъ гости. Въ страстную пятницу уже разговѣлись и пѣсни пѣли. Однако-же, ко всенощной повезъ я ихъ въ монастырь. Вернулись оттуда, гляжу—Надежда Михайловна въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, на головѣ шелковая лента. Подходитъ. Строгая, ласковая она такая и благородная, что своимъ глазамъ не повѣрилъ: неужли-жъ это та самая, что я вожжей стегаю? Похристосовалась,

она со мной, и жаль мнѣ ее стало и стыдно, что я ее билъ, да такъ стыдно, что сказать вамъ не могу...

«— Надежда Михайловна!—говорю, а у самого голосъ дрожитъ.

«— Что вамъ, Терентій Ивановичъ?— отвѣчастъ.

«— Позвольте мнѣ вашу правую ручку, и скажите, что не гнѣваетесь на меня ни за что.

— Не сумлѣвайтесь, Терентій Ивановичъ,—отвѣчаетъ:—я васъ довольно знаю и крѣпко въ васъ влюблена. За все васъ прощаю, оттого что сама во всемъ виновата, и ежели вы со мной жестоко обращаетесь, то мнѣ-же лучше, мнѣ зато грѣхъ мой отпущается.

«Въ горницѣ никого не было,—обняла она меня ручками своими бѣлыми, полюбовалась на меня, а въ глазахъ слезы стоятъ.

«— Что, говорю: — Надежда Михайловна, не сладко вамъ съ старикомъ вашимъ?

«— Молчите, Терентій Ивановичъ! Ока-

жите пощаду и доброе сердце и не поминайте о томъ, въ чемъ судьбою я столь поругана...—И все этакое говорила, такъ что не очень-то я понялъ хорошо. Извѣстно, образованная барышня.

«— Что-же, — промолвилъ я: — ожидать васъ сегодня ради Христова воскресенія?

«— Нѣтъ, Терентій Ивановичъ, нельзя сегодня.

«— Что такъ?

«— Можетъ, урвусь, говоритъ, на минутку, но врядъ-ли. Гости, такъ отъ этого, нельзя... Только не бейте меня... Нѣтъ, ужъ бейте меня, бейте!...—И съ этимъ на шеѣ у меня повисла.

«Эхъ, думаю, жаль барышню.

«— А что, Надежда Михайловна, какъ вы на счетъ черной работы? Не тяжело вамъ будетъ?

«— То есть какъ это, Терентій Ивановичъ?

«— Да обнаковенно, все, что по нашему, будемъ говорить, мужицкому званію полагается: борщъ сварить, хату при-

брать, досмотрѣть корову, жита нажать... Могли-бъ вы на это согласиться?

«Покраснѣла она, глазки вспыхнули, жметъ меня крѣпко и цѣлуетъ.

— «Вы, говоритъ, только прошлаго моего позорящаго поведенія не забудете, корить станете и бить. Но какъ я въ васъ влюблена, то со всѣмъ помирюсь.

«— Ничего, Надежда Михайловна,—говорю:—свариться не будемъ, а только-бы надо приданаго отъ Трофима Трофимовича. Въ прошедшую зиму они Варварѣ Левкадьевнѣ триста рублей и цитейное заведеніе со всей обстановкой пожертвовали. Вы тоже не меньше заслужили. Пусть усадебку далъ-бы...

«— Трофимъ Трофимовичъ меня добровольно не согласятся отпустить, — отвѣчаетъ, и блѣдная, вотъ какъ полотно, стала.—Онъ мнѣ приданаго не дастъ, пока я ему не надоѣмъ, и за васъ не выдастъ, потому что вы—кучеръ, Терентій Иванович. Онъ все за приказныхъ выдаетъ или же за кабатчиковъ. Онъ насъ благороднымъ воспитаніемъ осчастливилъ и хо-

четъ, чтобъ мы продолжали благородный образъ жизни. А если вамъ желательно, то повѣнчаемся тайно. Это, говоритъ, часто дѣлается, вотъ и въ книжкахъ пишется объ этомъ самомъ. Теперь-же если приданное отъ Трофима Трофимовича хотябы пришлось получить, то вы меня цѣлый вѣкъ имъ будете попрекать, оттого, что напоминаніе будетъ о моемъ позорящемъ поведеніи въ моей младости у Трофима Трофимовича.

«— Ничуть, Надежда Михайловна, а совершенно вопреки, не только корить не буду, а даже останусь очень благодаренъ по гробъ моей жизни. Посудите сами, я человѣкъ бѣдный, и мнѣ очень пригодились бы какихъ-нибудь триста рублей. Я сейчасъ биржу завелъ-бы. Вы въ деревнѣ жили-бы и хозяйствомъ занимались, а я извозчикомъ въ городѣ катался-бы, да денежки вамъ высылалъ...

«А надо сказать, я ужъ въ то время хотѣлъ быть извозчикомъ и, бывало, другой думки нѣтъ, какъ о лошадяхъ, да о дрожкахъ. Правда, Надежда Михайловна

очень мнѣ полюбилась, но только раньше, на счетъ чтобы жениться на ней, я и помышленія въ умѣ своемъ не имѣлъ. Ходитъ ко мнѣ барышня, я—словно салтанъ надъ ней, безвинно ремнемъ ожгу изъ одной глупой ревности, она мнѣ руки мои бѣлыя цѣлуетъ...—чего мнѣ больше? Еще и подарки дѣлаетъ! А если жениться, то уже тутъ разсчетъ. Тутъ и любовь, тутъ и дѣла нельзя забыть. Я ужъ такъ рѣшилъ, что коли жена, то и дрожки непремѣнно. Безъ дрожекъ и пары лошадей—не женюсь.

«— Нѣтъ, говорю, Надежда Михайловна, нельзя намъ вѣнчаться безо всего, согласитесь сами. Подождемъ, не будетъ-ли такой милости Трофима Трофимовича. Можетъ, они отпустятъ васъ, какъ Варвару Левкадьевну. А не рука— такъ не рука. Будемъ по-прежнему любиться, Надежда Михайловна!

«Ничего, никакого словечка на это она не сказала, отошла отъ меня, за лобъ рукой держится. Тутъ вошли Трофимъ Трофимовичъ, со мной тоже похристосовались,

поднесли вина рюмку. Я было протянулъ руку, а они—хлопъ, и сами выпили. Шутникъ были, покойникъ! Посмѣялись, полтинникъ подарили. Прошелъ такъ день. Я съ хлопцами яйца каталъ. У меня была битка припасена, такъ я дюжины двѣ выбилъ яицъ. Пріѣхалъ начальникъ Трофима Трофимовича, старый такой, еще старѣе его; что говоритъ—не разберешь, потому что зубовъ чортъ ма! Началось море разливанное, завели пѣсни, играшки, фортопьяны гудятъ — свѣтопреставленіе, да и только! Захотѣлось мнѣ посмотрѣть. И такъ подъ сердцемъ сосетъ. «Что, думаю, Надежда Михайловна?»... Взобрался я на завалинку, глазъ къ щелкѣ въ ставнѣ приложилъ, смотрю—не дышу. Тьфу!...

Онъ помолчалъ.

— Сколько лѣтъ на свѣтѣ живу, а ни прежде, ни потомъ ничего такого видать не доводилось и дай Богъ, чтобъ не довелось! И мужчины, и женщины... да нѣтъ, тьфу!.. одно слово—срамота!

— И Надежда Михайловна была тамъ?

— Была.

Новая пауза.

— Пьяная,—началъ онъ:—хоть выжми, развратная... Такъ съ тѣхъ поръ у насъ и разошлось. Ко мнѣ она не приходила ни разу. Да я и давно замѣчалъ, что скупиться стала. То, бывало, съ подарочкомъ, а то ужъ такъ—парамуръ.

— Парамуръ? Откуда вы это слово знаете?

— А что? Нехорошее слово развѣ? Наборщикъ къ намъ одинъ ходилъ, такъ я узналъ. Это значитъ, по нашему, нашерамыжку.

Онъ умолкъ. Глаза его были внимательно устремлены на ноги лошади.

— Засѣкать стала подъ старость,—сказалъ онъ.

— А послушайте, какъ досталась вамъ кобыла отъ Трофима Трофимовича? Намъ ѣхать долго, не разскажете-ли еще чего-нибудь? Напримѣръ, какъ вамъ удалось стать извозчикомъ? Женились?

— А видите, баринъ, какъ. Выслужилъ свои лѣта начальникъ Трофима Трофимовича и ужъ слабъ головою сталъ. Гово-

рили, что на казенныхъ бумагахъ не тѣ слова подписывалъ. Такъ что на его мѣсто пріѣхалъ другой, молодой и строгій. Всѣмъ страху нагналъ и такъ завелъ, что занимались службой и до обѣда, и послѣ обѣда. Прежде три дня служатъ, а четыре дня пьянствуютъ; теперь пошло иначе. Ходили Трофимъ Трофимовичъ, ходили, да и руки опустили. Стали говорить про судъ, будто взяточниковъ всѣхъ судить будутъ. Но хоть это было точно что неосновательно, а только Трофимъ Трофимовичъ въ отставку вышли.

«Вышли, заскучали, заскучали, въ яму ночью оступились и померли. Положили покойника на столъ. Надежда Михайловна дала депешу въ Петербургъ племяннику Трофима Трофимовича, чтобъ пріѣзжалъ и добромъ владалъ. А добра было немало—тысячъ на семьдесятъ. Вотъ какія прежде службы въ палатѣ были, теперь такихъ что-то и не слышно!

— Ну, пріѣхалъ племянникъ?

— Пріѣхалъ, молоденькій, какъ красная дѣвушка, студентъ, Григорій Еремѣевичъ.

Скверная на немъ одежонка, шляпа большущая, и все куритъ. То есть, я вамъ скажу, такой курецъ! Я отъ него много папиросами попользовался. Первымъ дѣломъ онъ портного позвалъ, отличную пару себѣ заказалъ, одѣлся въ троуръ, а затѣмъ, конечно, имущество по описи принялъ и всѣмъ услужающимъ награды положилъ. Надеждѣ Михайловнѣ пятьсотъ рублей выдалъ. Розинѣ Францовнѣ — полька была, горничная, — двѣсти. Василисѣ, кухаркѣ, сто пятьдесятъ, а мнѣ сто рублей и вотъ эту самую кобылу.

«Какъ Надежда Михайловна уѣзжала, то мнѣ сказала только: «Теперь я съ приданымъ, Терентій Ивановичъ». А я ей на это: «Какъ вамъ угодно, Надежда Михайловна, за мной дѣло не стоитъ». Потому что, дѣйствительно, я такъ подумалъ, пятьсотъ рублей деньги, хоть въ ту пору я больше приверженности имѣлъ уже къ Василисѣ, а Надежда Михайловна похудѣла, сильно постарѣла и виномъ занималась. Взглянула на меня Надежда Михайловна, головой покачала, да и отвернулась. Стыдно стало...

«Ужъ года черезъ три, какъ я женился на Василисѣ, встрѣтилъ я Надежду Михайловну на Крещатикѣ, къ прохожимъ приставала. Увидѣла меня и захохотала. Слышно было потомъ, отравилась кислотой...

— Вамъ ее не жаль?

— За что? Сама виновата. Я отъ своего слова не отступался. Нѣтъ, баринъ, что сожалѣть? Какъ уродится какая, то ей хоть колъ на головѣ теши! Посудите сами, что у насъ за жизнь была-бы... Прямо сказать, она мнѣ, послѣ Василисы, опротивѣла. Какъ увижу, словно острый ножъ въ сердце! А Василиса была баба ровненькая, пригожая, охоча до работы... Василиса ежели пирогъ испечетъ, такъ во рту и таетъ... баба славная! Василису я никогда пальцемъ не тронулъ, до послѣдняго времени слова грубаго ей не сказалъ. Одно слово—жена.

— А въ послѣднее время что-же?

— Начались сварки, баринъ, вотъ что...

— Изъ-за чего?

— Изъ-за дочери.

*

— Дочь у васъ еще маленькая?...

— Какое! Девятнадцатый годъ пошелъ..

— Когда-же она успѣла вырасти?

Извозчикъ сталъ дергать вожжами.

— Эй, ты, голубчикъ! Обожди маленько, можетъ, мы теперь впередъ поѣдемъ. Держи къ одной, держи, мазепа!

— За що-жъ вы лаетесь? произнесъ мужикъ и своротилъ въ сторону.

— За то, что ты гавкаешь по-собачьи, розиня!

Дорога была здѣсь ровная, и лошадь Терентія Ивановича пошла рысцой. Открылись живописные виды. Налѣво синѣлъ лѣсъ, и сверкалъ, какъ серебряный, Днѣпръ; направо въ золотистомъ туманѣ, прозрачномъ и легкомъ, тонули темныя дубравы. Ближе волновались нивы яровыхъ хлѣбовъ, похожія на гигантскіе куски полинялаго зеленаго бархата, отливавшіе то въ желтый, то въ коричневый тонъ. Птицы ширяли въ поднебесьѣ, ихъ двукрылыя тѣни бѣжали по землѣ. Медвяный запахъ гречихи напоялъ собою воздухъ. Было-бы совсѣмъ хорошо, если-бы не

столбъ пыли, гнавшійся за нами по пятамъ, какъ тѣнь; зонтикъ слабо защищалъ отъ нея. Впрочемъ, любоваться природой мѣшалъ мнѣ и Терентій Ивановичъ, разбудившій въ моей душѣ тоскливое чувство, какое вообще вызываютъ люди, когда ближе присмотришься къ нимъ.

Мои глаза невольно останавливались на фигурѣ извозчика. Сѣрые отъ пыли волосы его торчали кровелькой изъ-подъ картуза, и морщинистая шея была красна, какъ мѣдь. Могучія плечи свидѣтельствовали объ огромной физической силѣ. Вотъ эту шею обнимали руки бѣднаго существа, которое Трофимъ Трофимовичъ «осчастливилъ благороднымъ воспитаніемъ».

Защиты, помощи и человѣческой страсти искала эта загубленная душа и не нашла. Все, что было у ней самаго дорогого — нѣжное сердце свое, изнывавшее среди ужасающей обстановки, обливавшееся безмолвными слезами, тосковавшее, можетъ быть, по романтическимъ, пушкинскимъ идеаламъ,—отдавала она дикарю, съ однимъ условіемъ, чтобъ увидѣлъ онъ

это благоуханное сердце. Все она будетъ дѣлать, всякую черную работу, и пусть онъ бьетъ ее, но пусть любитъ. И такова была жизненность этого сердца, что и дикарь на время проснулся. Въ немъ заговорило что-то; странный трепетъ испытывалъ онъ при видѣ лица задумчивой дѣвушки. Онъ, дикарь, страдалъ! Но онъ не могъ заглянуть въ чудное сердце. Такъ и остался слѣпымъ... Онъ правду сказалъ: если-бъ онъ женился на Надеждѣ Михайловнѣ, тяжелая жизнь вышла-бы.

— Лошадь ваша не дурно бѣжитъ теперь,— началъ я (мнѣ хотѣлось возобновить разговоръ съ извозчикомъ).

— А совершенно такъ, что недурно,— отвѣчалъ Терентій Ивановичъ:— Она ежели по наклону, съ горы, еще лучше бѣжитъ. Удержу нѣтъ!

— А все-таки не мѣшало-бъ, говорите, лучшую завести, помоложе?

— Даже слишкомъ не мѣшало-бъ. Да я и завелъ-бы, давно-бы завелъ, кабы не горе мое, кабы не дочка!

Онъ повернулъ ко мнѣ лицо и провелъ

по воздуху растопыренными пальцами свободной руки съ особенной ужимкой человѣка, рѣшившагося быть откровеннымъ.

«Я, баринъ, Василису съ дочкой бралъ,— началъ онъ: — Ей восемь годковъ было, дочкѣ, а родила ее Василиса—еще сама почти-что дѣвчонкой была. Ну, такъ думаю: что было, то было, а это мнѣ не въ диковинку, — ежели уже согрѣшила, мнѣ же, простите на этомъ словѣ, легче! А Василиса — баба какъ слѣдуетъ, черезъ такой глупый пустякъ разсоръ заводить намъ очень было-бы неумно. Обѣщала она сначала Груньку свою отдать въ чужіе люди, а потомъ какъ стали мы на своемъ хозяйствѣ, то и говоримъ: «Оставимъ Груньку при себѣ, пусть помощница въ хатѣ будетъ, чѣмъ намъ брать наймичку». Оставили, и — вѣрьте Богу — я какъ родной отецъ былъ дѣвчонкѣ. Я ее обувалъ, одѣвалъ, бывало и сережки куплю, и гребешочекъ, и зеркальце. Выгпало ее скоро, какъ лозу, и стала она, можно сказать, первая красавица на всемъ предмѣстьѣ. А жили мы на Деміевкѣ, гдѣ,

примѣрно, и теперь живемъ. Вотъ дѣвчонкѣ пятнадцать лѣтъ, а то уже и шестнадцать. Говоримъ мы съ Василисой: «Вѣрно, не за горами женихи».

«Про волка помолвка, а волкъ—толкъ. Глядимъ мы, сунется одинъ, чтобъ ему ни дна, ни покрышки, проклятому! Черный такой, кучерявый, усы закручены, какъ у господъ, и въ сертукѣ, а подъ сертукомъ китайчатая рубаха навыпускъ. «Это,— говоритъ:—блуза, господа; въ нашемъ рукомеслѣ безъ ей никакъ невозможно обойтиться».—«Какое-же ваше рукомесло?»— спрашиваемъ. — «А, говоритъ, пущаемъ разныя мысли въ оборотъ. Вотъ, говоритъ, бумага, которой этая колбаса была обворочена. Подумали-ли вы хоть разъ сколько тутъ мыслевъ? Тутъ, говоритъ, вотъ какія и вотъ какія мысли». И все добропорядочно и безо всякаго крика разсказалъ.

«Слушаемъ мы и спрашиваемъ: «Большія деньги вамъ за это платятъ?» — «А не меньше, отвѣчаетъ, какъ сорокъ рублей серебра ежемѣсячно. Этое дѣло не

всякій можетъ производить, оттого что буквовъ тридцать шесть, а словъ—такъ тѣхъ тридцать тысячъ. И надо отъ рожденія имѣть таланъ, чтобы на бумагѣ печатать. Короче, говоритъ, сказать, имѣю такую честь рекомендоваться: наборщикъ Семенъ Прикопкинъ». Всталъ на этомъ словѣ, низко намъ поклонился, задниками щелкнулъ, локти вывернулъ и опять сѣлъ. Грунька сидитъ поодаль, покраснѣла, какъ маковъ цвѣтъ, и все въ землю смотритъ. Помолчали мы и спрашиваемъ:

«— Гдѣ-же вы съ Груней познакомились? Неужели на улицѣ?»—«На улицѣ, отвѣчаетъ, я вашу прекрасную дочь только увидѣлъ, а знакомства съ ней безъ родительскаго дозволенія не заводилъ и хочу знать, какъ вы на счетъ этого самаго благоразумно полагаете?

«Посмотрѣли мы на его — сертукъ на немъ, дѣйствительно, тонкій, сапоги цѣлые; одно только сумнительно намъ показалось, что при такомъ жалованьѣ ни часовъ, ни цѣпочки окончательно не имѣется. Однако, говоримъ:

«— Будьте знакомы, мы не препятствуемъ, ежели вы съ честнымъ намѣреніемъ. Не взыщите, коль не всегда угощеніе найдете, а приходу вашему будемъ очень даже рады.

«На этомъ словѣ онъ вторично всталъ, поклонился, къ Грунькѣ подсѣлъ и усомъ на нее моргнулъ. Потомъ этакъ съ часъ прилично обо всемъ поговорилъ и сталъ прощаться.

«— А вамъ далеко?—спрашиваю.

«— Мнѣ въ городъ, на самый Крещатикъ, въ типографію, производить свое дѣло.

«— Хорошо, говорю,—я васъ подвезу.

«А у меня намѣреніе было -все объ емъ разузнать, потому-что хоть и не родная дочка, но только спросить не мѣшаетъ, съ кѣмъ она знается. Дѣйствительно, оказалось, что все правда, какъ онъ сказалъ; и жалованья сорокъ рублей. Стали мы его принимать съ тѣхъ поръ поласковѣе, угощали, и водочкой, и чайкомъ. Подвернулся было другой женихъ, но мы ему надежды не подали, да и

Грунькѣ кучерявый наборщикъ больше пришелся по вкусу. Бывало, сидятъ на глазахъ у матери, пересмѣиваются межъ собою, по рукамъ другъ дружку бьютъ, или въ дурачки играютъ на поцѣлуи.

«Тонкая штука былъ этотъ Прикопкинъ! Одно слово, долго разсказывать — сталъ онъ женихомъ и черезъ мѣсяцъ зоветъ уже меня папашей, а Василису мамашей. Съ дѣвкой, натурально, какъ съ невѣстой обходится. Отвернешься, а онъ съ ей балуется, не утерпитъ.

«— Нехорошо, говорю, дѣтки: до добра баловство не доведетъ, надо себя соблюдать.

«Между тѣмъ пришли Филипповки, и говоримъ мы съ Василисой:

«— Не пора-ли свадьбу справлять? Этакъ долго-ли до грѣха? Грунька дѣвка кровяная, потная, а Прикопкинъ тоже въ полномъ образованіи.

«Поговорили этакъ, и вечеркомъ я возьми, да и завинти жениху: такъ молъ и такъ.

«— Очень, говоритъ, хорошо, и я хоть

въ сію минуту готовъ, но только вѣнчанье на вашъ, папашенька, счетъ.

«— Почему-жъ такъ на мой счетъ?— отвѣчаю:—Угощеніе я поставлю, я объ этомъ не спорю, а попу—воля ваша, женихъ обязанъ платить.

«Поспорили мы, и такъ мнѣ досадно сдѣлалось.

«— Не согласенъ?—говорю.

«— Я, говоритъ, папашенька, вѣдь приданаго съ васъ не беру, окромя одежи и мебели, такъ можно бы попу заплатить.

«— Какой такой мебели?—спрашиваю.

«— А, говоритъ, мебели, чтобъ на чемъ сѣсть было и на чемъ лечь.

«— Такъ вы еще съ выдумками... Вонъ изъ моего дома! — какъ крикну, да кулакомъ по столу какъ хлопну, такъ мой Прикопкинъ драла, а Грунька — въ слезы.

«Первый разъ тогда съ Василисой повздорилъ и чуть было за косы не оттаскалъ. Сами посудите — будь родная дочка, а то вѣдь не моя!.. Ну, все-таки, уломали меня—рѣшилъ я попу за-

платить и мебель дать.—Богъ съ ними, думаю, отдамъ свой шкафъ, стулья и диванъ, а себѣ новое куплю.—Приходитъ женихъ, я ему и говорю: «Такъ и такъ, Семенъ Ефимовичъ, вотъ вамъ мебель, будемъ играть свадьбу».

«— Вотъ этую мебель, папашенька, вы намъ отдаете?—говоритъ, а самъ такъ и ухмыляется:—Нѣтъ, премного благодарны, а только мы безпремѣнно хотимъ, чтобъ новенькая была.

«— Та-та-та, голубчикъ!

«Слово за слово — опять я его проту-рилъ и опять съ Василисой повздорилъ.

«И такимъ способомъ мы цѣльную недѣлю водились—все у насъ ладу не было. Наконецъ того, вижу, что иначе нельзя,—махнулъ рукой—хорошо! будь по-вашему! Былъ у меня конь, добрый конь, ахъ, какой конь, но только съ мокрецомъ. Я вывелъ его на Конную и продалъ за сорокъ два рубля. Да валялось у меня рублей съ шестьдесятъ прежнихъ денегъ. Все это распредѣлилъ на то, на другое и такъ размѣрилъ, что еле-еле... Сто руб-

лей—что-жъ это за деньги! Ждемъ жениха. Приходитъ онъ вечеромъ не одинъ, а съ товарищемъ.

«— Имѣю такую честь рекомендовать незабвеннаго друга моего Васю Козловскаго.

«Оба, словно-бы господа какіе, кланяются и локти вывернули. Дѣйствительно, что друзья! Поставилъ я имъ пива, пьютъ они, и тотъ товарищъ глазъ съ Груньки не спускаетъ. Разумѣется, дѣвка была видная, брови ажъ блестятъ, зубы скалитъ и грудь вò-какая! Усмѣхнется,—то все внутрѣ горитъ. На славу дѣвка! Вотъ глядимъ, а Козловскій все ближе да ближе къ Грунькѣ присовывается, между тѣмъ женихъ за папашеньку и мамашеньку взялся.

«— Дражайшіе родители мои, говоритъ: — уже не за горами день, когда злой рокъ соединитъ меня и любезную мою Аграфену Трофимовну навѣки вѣчными узами. Но только я безъ фрака вѣнчаться не желаю.

«— То-есть, спрашиваю, какъ это? Надѣ-

вайте фракъ, я развѣ вамъ препятствую въ этомъ! Сдѣлайте ваше одолженіе, говорю.

«— Я, говоритъ, уповаю, что вы, папашенька, передъ портнымъ поручитесь, а мнѣ фракъ безпремѣнно надо. Вася, говоритъ, тоже будетъ во фракѣ.

«Тутъ уже и Василиса разсердилась. Во мнѣ, повѣрите, все колотится, рука зудитъ, чтобъ хряснуть, а какъ подумаю, что коня продалъ и приданое сдѣлалъ, то и осяду. Сталъ упрашивать его.

«— Побойтесь Бога, говорю, что за глупость! Въ сертукѣ, а то даже въ пинжакѣ... Нашему-ли брату форсить. Виданое-ли дѣло!

«— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ежели безъ фрака, то я со стыда сгорю. Вася! кричитъ:— можно-ли безъ фрака вѣнчаться?

«— Никакъ нельзя!—отвѣчаетъ.

«Боже мой! думаю, вотъ нажилъ зятька!

«Однако на своемъ рѣшилъ постановить, и такой у насъ споръ поднялся, что чуть не до драки. Кричали мы, кричали, только-что сговоримся и станетъ тише, и

по стакану даже хлопнемъ, но сейчасъ-же новый шумъ начнется.

«Одинъ только пріятель Прикопкина съ Грунькой ши-ши-ши.., шу-шу-шу, и оба на насъ посматриваютъ. А о чемъ шепчутся, намъ невдомекъ. Наконецъ, доспорились мы до положительнаго разсору.

«— Дѣвка, кричу, молодая, еще успѣетъ выйти. А такихъ жениховъ намъ ненадобно... Честью, господа, прошу!

«На этомъ словѣ я на дверь правой рукой указалъ и выпроводилъ фрачниковъ. Василиса видитъ, что Грунька плачетъ, давай меня увѣщевать, отчего молъ, въ самомъ дѣлѣ, фрака не сдѣлать Семену. Ну, а я въ отвѣтъ—по мордѣ. Она доводитъ на счетъ того, что вся улица про свадьбу уже знаетъ и что теперь слава пойдетъ, а я—по мордѣ, по мордѣ. Съ этого самаго времени достается отъ меня Василисѣ, хоть и жаль мнѣ ее, неумную. Баба! языка сдержать не можетъ!

«Вотъ выспался я, выѣхалъ утромъ на работу, да и думаю: неужели-жъ черезъ

фракъ женихъ убѣжитъ? — не можетъ быть, чудно что-то... Проѣздилъ день, проѣздилъ и вечеръ, прибылъ домой и, ни слова не говоря, поужиналъ и спать легъ. Тоска меня разбираетъ, ажно въ голову бьетъ! Сонъ нейдетъ, смутно въ хатѣ. Вдругъ слышу: брязь-брязь! «Гдѣ это?» думаю себѣ. Вторично: брязь-брязь! «Эге, думаю, да это къ намъ кто-то въ окошко тихонько стучитъ».

«Сталъ прислушиваться—чую, Грунька встала и платье надѣваетъ; а Грунька съ нами въ спальнѣ, извѣстно, какъ при отцѣ и матери, спала. Толкнулъ я Василису: «Чтось, старà, неладно!» Выскочила Грунька въ другую комнату, а я за ей, какъ былъ, босой. Положимъ, мнѣ все видно, потому что снѣгъ бѣлѣется на дворѣ, а ставней у насъ нѣтъ. Притаился я въ дверяхъ — жду, что будетъ. Еще разъ: брязь-брязь. Вижу, извозчичьи санки стоятъ; одинъ человѣкъ въ санкахъ, въ родѣ какъ Прикопкинъ, а другой подъ окномъ — показалось мнѣ такъ, что Козловскій. Грунька подбѣжала къ окошку,

на ходу платье поправляетъ и рукой машетъ. Потомъ отворила форточку и начала шептаться. Шепталась, шепталась, а далѣе того и Прикопкинъ слѣзъ. О чемъ они говорили—мнѣ не извѣстно, но не къ добру, думаю. Я вышелъ и крикнулъ:

«— Что здѣсь за народы? Зачѣмъ ночью шляетесь? Ежели добрые люди, то просимъ днемъ жаловать, а ночью спать надо. Пошли прочь, канальи!

«Взялъ и Груньку по спинѣ смазалъ, за косу въ спальню сволокъ и на кровать бросилъ.

«— Спи, не позорь честныхъ родителевъ!...

«Поучилъ, а только мало. Сталъ я потомъ замѣчать, что Грунька на меня исподлобья смотритъ, все меня сторонится и что-то въ умѣ содержитъ. Съ матерью шу-шу-шу да шу-шу-шу, и какъ пріѣду домой, то щеки у ней красныя съ холоду—сейчасъ сама, должно, домой прибѣжала. Говорю Василисѣ:

«— Ой, смотри за дѣвкой, это не гор-

шокъ, замазкой не замажешь, какъ разобьется; гляди въ оба!

«Василиса вздохнетъ и станетъ меня попрекать, что фрака жениху не сдѣлалъ, а черезъ это пошло разстройство, и дѣвка очумѣла. Конечно, новая сварка. Тоже и по зубамъ съѣздишь. Какой это, въ самомъ дѣлѣ, женихъ, что ему-же фракъ сдѣлай. И на что тотъ фракъ! Издохну, а этого не будетъ. «Терентій Ивановичъ, не губи дѣвку!» Сейчасъ — лясь-лясь въ въ правую и въ лѣвую щеку, тѣмъ на сегодня и кончится.

«Дождались мы масляницы. Досада меня разбираетъ, что продалъ я лошадь и не вовремя приданое сдѣлалъ чужой дочери, которая отъ меня-же рыло воротитъ. Тутъ ѣзда, а тутъ у тебя одна коняка. Сцѣпилъ я зубы и хожу. И Боже сохрани, не попадайся мнѣ тогда никто подъ руку! А жениха все нѣтъ, да нѣтъ. Э, думаю, это все Козловскій смутьянитъ его. Поѣду къ нему, скажу: такъ, молъ, и такъ. Не долго я его искалъ — на улицѣ встрѣтилъ, пьянъ, до положенія ризъ, и

*

ничего не говоритъ, а только: бамъ-бумъ, бамъ-бумъ! Бросилъ я его въ санки, привезъ домой. Облили мы его водой, очнулся малый, требуетъ къ себѣ Груньку.

«— Скажи, говоритъ, папашенькѣ, что мнѣ теперь надобно безпремѣнно три рубля.

«Заболѣло у меня сердце, переглянулся я съ Василисой, далъ три рубля. Сунулъ онъ бумажку въ карманъ.

«— Теперь я, говоритъ, готовъ побесѣдовать съ папашенькой.

«— Какъ, говорю, вамъ не стыдно, дѣвку обидѣли, дохороводились до масляницы? Меня въ расходы ввели, ждать сколько времени опять!

«— А вы, отвѣчаетъ, папашенька, не ждите, свадьбы не будетъ.

«— Я, говорю, вамъ фракъ готовъ предоставить. Я на толкучкѣ видѣлъ весьма замѣчательные фраки.

«— Нѣтъ, отвѣчаетъ, мнѣ ужъ фрака не надоть.

«— Что-жъ вамъ надо?

«— А пусть Грунька со мной открыто въ незаконную связь вступитъ.

«— Проспись, говорю, дуракъ, что мелешь!

« Опять его выгналъ и рукой на эту свадьбу махнулъ. Непутевый человѣкъ— подальше отъ такихъ людей! Злость на Грунькѣ сорвалъ, наляскалъ ее, чтобъ себя соблюдала, и самъ, признаться запилъ... Съ досады.

Терентій Ивановичъ махнулъ рукой и передернулъ восжами.

— Что-жъ, потомъ нашлись другіе женихи?

— Какое, баринъ! Слава пошла! Да это еще что. Лѣтомъ того года ѣздилъ я съ однимъ господиномъ въ деревню, и договорилъ онъ меня на цѣлый мѣсяцъ. Значитъ, дома я очень даже мало находился. Какъ-то раненько въ праздникъ вернулся я домой. Вошелъ, смотрю, дверь въ сѣнцахъ не заперта. Я не успѣлъ разглядѣться, какъ мнѣ насустрѣчь Прикопкинъ — шасть! А за имъ Козловскій шасть! — Хотѣлъ я погнаться, а ихъ и слѣдъ простылъ. Грунька лежитъ на кровати подъ простыней и на меня глази-

щами, какъ корова смотритъ, губы побѣлѣли и дрожатъ.

— Что это ты, дѣвочка, говорю и кнутъ въ рукѣ держу:—въ сѣнцахъ спать затѣяла? Душно тебѣ, милая?

«Молчитъ.

«— Ты-бъ, говорю, и простыньку сняла, а то тебѣ точно что душно...

«И съ этимъ словомъ вдругъ раскрылъ я ее и замахнулся, чтобъ она знала, что есть такое именно дѣвичья честь. Но какъ глянулъ, то мнѣ, вѣрите, баринъ, ужасть какъ страшно стало!... Распухла! Руку я опустилъ.

«— Укройся, говорю, дура, что съ тобой, до чего ты себя довела?

«Молчитъ.

«— Такъ, говорю: — бить я тебя не буду, а сейчасъ же собирайся и ступай вонъ изъ дому. Не хочу я тебя знать и видѣть, пускай содержутъ тебя тѣ, кто тебѣ любы да милы. Прочь отъ меня, забудь, что мою хлѣбъ-соль ѣла, я тебѣ теперь не батька. Прочь!

«Ну, если-бъ же она заплакала, или

стала просить, какъ есть кроткія и покорливыя, то я въ сердцѣ своемъ все затаилъ-бы и простилъ. И жила-бы она у насъ и дѣтину ту родила-бы и выкохала. Я человѣкъ добрый. А то нѣтъ—сейчасъ встала, одѣлась, обулась, ничего больше не взяла съ собою, слезы не уронила, на меня не взглянула, о матери не вспомнила—и ушла... И ушла, ушла... Съ той поры ни слуху, ни духу.

— Совсѣмъ пропала?

— Какъ сквозь землю провалилась! Я и полиціи давалъ знать, Василиса къ знахаркѣ бѣгала,—ничего не помогло. Сколько разъ поилъ я нашихъ фрачниковъ: водки много вышло, а толку никакого. Они-же меня, въ конецъ того, еще и осмѣютъ. Положимъ, мнѣ не жалко, не моя дочь, будемъ такъ говорить; а черезъ то досадно, что Василиса убивается, и не проходитъ у насъ дня, чтобъ сварки не было. А на той недѣлѣ насъ въ кутузку урядникъ хотѣлъ забирать...

«Такъ вотъ, баринъ, заключилъ онъ:— теперь и подумайте, какъ вы есть обра-

зованный и умный человѣкъ,—какъ при такихъ дѣлахъ извозчику можно имѣть хорошія дрожки, упряжь и лошадь? Невозможно, никакъ невозможно! Правда, всей душой этого желаешь и цѣльныя ночи думаешь и на всякія хитрости поднимаешься, чтобъ выгадать рубль-другой. А какъ сварка начнется, пропьешь этотъ рубль, горло съ товарищами подерешь въ кабакѣ,—и шабашъ, и опять у тебя ничего... Нѣтъ мнѣ счастья, баринъ, на возрастѣ моихъ лѣтъ! Нѣтъ талану!

Онъ сильно дернулъ возжами, престарѣлая лошадь поскакала съ страннымъ оживленіемъ. Она неслась все скорѣе и скорѣе. Изъ дрожекъ чуть не повыпрыгивали кульки съ покупками—пришлось ихъ придерживать. Терентій Ивановичъ самъ оживился, выпрямился и торжествующимъ тономъ поощрялъ кобылу къ дальнѣйшему бѣгу. Сначала меня не мало изумляла такая прыть. Но вскорѣ стало очевидно, что мы ѣдемъ подъ гору...

Нѣсколько минутъ неслись мы такъ, и Терентій Ивановичъ, промчавшись по жи-

вому мостику, обсаженному старыми вербами, имѣлъ удовольствіе подкатить меня, наконецъ, къ крыльцу моей дачи съ ловкостью заправскаго кучера.

Августъ 1884.

ВРАГЪ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО

— Одного не могу я взять въ толкъ, баринъ,—отчего это люди накладываютъ на себя руки.... Я такъ полагаю, что врагъ путаетъ, а отъ себя ни въ какомъ случаѣ это не приходитъ... Вотъ я, напримѣръ: сколько времени я бѣдовалъ, и ужасти, какъ мнѣ скверно и горько приходилось, ну, однако-же, о томъ, чтобы застрѣлиться, либо утопиться, либо зарѣзаться, или тамъ удавиться—никогда, вѣрите Богу, мысли не было. Правда, что я, хоть по моему извочичьему ремеслу въ церковь не хожу, но ежедневно благодарю Творца Вышняго за все, что онъ ни пошлетъ мнѣ. Куплю я лошадку дешево — благодареніе Господу. Околѣетъ у меня лошадка—и за то благодареніе Господу. За все, за все! И

такъ-какъ есть во мнѣ вѣра, то *онъ* никогда и не смущаетъ меня. А вотъ жена покойная—та, бѣдняжка, не выдержала. Попуталъ врагъ! Самъ явился и попуталъ! Произошло это такимъ способомъ. Женился я — было мнѣ ужъ сорокъ, а ей, натурально, двадцать, или такъ двадцать одинъ. Ну, какъ я ухаживалъ, то замѣчалъ, что нѣтъ за ней никакого приданаго, родители у ней бѣдные и сама она ходитъ зимою въ холодненькой накидочкѣ; ручки до локтей засунетъ и бѣжитъ къ сосѣдямъ полѣнцо дровъ занять или хлѣбца. Звали ее Параскевіей. Мнѣ, знаете, жаль было смотрѣть на такую бѣдноту. Жилъ я тогда припѣваючи, оттого, что свой извозчичій дворъ былъ и троихъ извозчиковъ держалъ, да шесть лошадей, да фаэтонъ. Кучарку держалъ за мѣсто хозяйки. Можно сказать, словно какъ подрядчикъ какой, либо купецъ, завсегда сытъ и много всѣмъ доволенъ, первый хозяинъ въ Шулявкѣ! Борщъ у меня съ саломъ, каша тоже съ саломъ, праздникомъ и курочка, и поросеночекъ. А водки сколько хочешь! Вотъ

посматриваю я на Параскевію—а она рядомъ-же со мной у родителей проживала—и все льщусь на нее. Вѣрите, дошло до того, что на старости лѣтъ сохнуть по дѣвкѣ сталъ. Между-тѣмъ куфарка постарѣла, негодная сдѣлалась, я и думаю: не жениться-ли мнѣ, бобылю, на Параскевіи. Можетъ, мнѣ Богъ за это поможетъ, что осчастливлю я ее, горькую бѣдняжечку. Перестанетъ она бѣгать по сосѣдямъ за солью, да за ложкой муки, станетъ сама госпожей, а хозяйствовать, слава Богу, есть надъ чѣмъ. Къ тому-же, ничего дурного я за ней не примѣчалъ, поведеніе у ней вполнѣ добропорядочное. Началъ я присватываться; отказу, конечно, старики не сдѣлали. Параскевія промолчала, въ землю потупилась; тоже, значитъ, согласіе дала. Я подарки сдѣлалъ, на платье, на одно, а также на другое, еще и шубку сдѣлалъ, и однимъ словомъ все какъ есть приданое построилъ, окромѣ рубашекъ, которыя мать ей сама пошила. Я ужъ, правду сказать, изъ силъ выбился и попросилъ, чтобъ на бѣлье хоть заняли, да

сдѣлали-бы. Отлично. Вотъ только повѣнчались мы, съиграли свадьбу, пошли спать. Кровать у насъ съ пуховиками и одѣяло новое, шерстяное, и образа, и лампадка; и на толкучкѣ зеркало въ золотыхъ рамахъ я пріобрѣлъ довольно сходно, то и его повѣсилъ. Говорю женѣ: «Милая, говорю, жена, начинается теперь новая жизнь для насъ; и вотъ скажу тебѣ отъ всей души, что доколѣ жить буду, останусь къ тебѣ приверженъ, лишь-бы то-есть ты цѣнила мое благодѣяніе, да помнила, что взялъ я тебя бѣдную и, можно сказать, совершенно голую. Не забывай никогда этого, бѣдняжечка, что я сожалѣлъ тебя, и хочу, какъ я есть мужъ твой законный и глава, дабы ты завсегда была мнѣ вѣрна и услужлива, и Боже тебя храни, если ты станешь мнѣ въ чемъ перечить. Объявляю тебѣ также, моя любезная супруга, что если замѣчу тебя въ чемъ-либо недобропорядочномъ, то не посмотрю ни на твои лѣта цвѣтущія, ни на очи твои кроткія, а привяжу къ возу и буду тиранить тебя, сколько моей душѣ угодно». Сказалъ

это я такъ, и жду, что она отвѣтитъ. А она стоитъ бѣлѣй своей рубахи и дрожитъ, какъ молодая осина. Ни слова не проговорила, закрыла лицо руками, да бухъ мнѣ въ ноги. «Лександръ Петровичъ, воскрикнула, простите меня, я уже виновата. Но только не передъ вами, а было то давно и произошло по моему малолѣтнему любопытству». Промолчалъ я, досадно мнѣ стало, а потомъ того махнулъ рукой, обнялъ и поцѣловалъ свою супругу и сказалъ: «Лишь-бы впредь не было, а снявши голову, по волосамъ не плачутъ. Будемъ жить въ страхѣ Божіемъ и взаимной любови»! И чтожь бы вы думали: былъ я, дѣйствительно, что счастливъ съ нею цѣлый годъ. Хозяйство наше пошло въ гору, доходы удвоились. Уже мы каждый день за обѣдомъ мясо ѣдимъ; бутылка пива безпремѣнно. Къ намъ гости и мы въ гости. Околоточный къ намъ заходитъ и все не иначе, какъ «Лександръ Петровичъ», да «Лександръ Петровичъ»! Домишко я насмотрѣлъ и уже подумываю, как[illegible]ъ, чтобъ свое, значитъ, все

было—и дворикъ, и огородина, и птица, и сарай, и цвѣточки. — Жена цвѣточки любила.—Зачастили мы и въ циркъ. Что вечеръ, то и въ циркъ, и въ циркъ. Вотъ разъ сидимъ мы съ женою и смотримъ, какъ барышня въ коротенькой этакой юпочкѣ сквозь обручи прыгаетъ съ лошади на лошадь, ажь глядь— приходитъ и садится возлѣ насъ на пустое мѣсто господинъ, нельзя сказать, чтобы старый, а скорѣе молодой. Да противный! Лысый, безъ бровей, носъ точно ножемъ перебитъ, губы мокрыя, и все плюетъ. Сѣлъ и въ лорнетку на жену посмотрѣлъ, а потомъ за руку ее взялъ и говоритъ: «Здравствуйте!» Сейчасъ съ Параскевіей ровно какъ столбнякъ случился. Затряслась она, побѣднѣла, смотритъ, а только не видитъ. Между тѣмъ безносый такъ и трещитъ, и трещитъ. «Я, говоритъ, очень радъ, что съ вами сустрѣлся послѣ столькихъ лѣтъ. Вы, говоритъ, очень какъ похорошѣли, но и тогда вы мнѣ нравились, говоритъ, и я, говоритъ, часто вспоминаю тое благополучное время, какъ у васъ по-

жильцемъ жилъ, а вы мнѣ, говоритъ, самоварчикъ по утрамъ приносили». Молчитъ Параскевія, какъ воды въ ротъ набрала. Вышли мы изъ цирка, сѣли въ санки. Вѣтеръ сильно дуетъ и фонарь мигаетъ, и мнѣ то видать Параскевію, то не видать. Но только замѣчаю, что она опять испугалась и направо поглядываетъ. Глянулъ я и вижу, что тотъ безносый шляпу снялъ и низко ей кланяется, а на шеѣ у него, какъ теперь помню, красный шарфъ замотанъ. Тронулъ я лошадь, пріѣхали мы домой. Нахмурился я. Параскевія ни слова. Этакъ день прошелъ, этакъ и другой, а можетъ и еще другой. Не ѣстъ Параскевія, не спитъ, перестала усмѣхаться, отъ хозяйства отбилась и коровѣ помой забыла вынести. Спрашиваю я: «Скажи мнѣ, Параскевія, что это съ тобою? Отчего ты такъ вдругъ перемѣнилась? Кого ты сустрѣтила въ циркѣ? Скажи мнѣ, супруга любезная? Иль ты забыла мой завѣтъ тебѣ супружескій? Помнишь, что говорилъ я тебѣ послѣ вѣнца»? Но она мнѣ не отвѣтила, а только

заплакала, и этакъ сумно, и очень даже сумно провели мы вечеръ, а какъ легли, то я отъ цвѣтущихъ ея прелестей взоръ отвратилъ и нарочито на край постели откатился. Встаю я обнаковенно рано, а на тотъ случай почему-то заспалъ. Такъ что ужъ свѣтало, когда я продралъ глаза. Повернулся—Параскевія стоитъ на кровати, у самой стѣнки, и такая она высокая мнѣ показалась! «Параскевія, говорю, чего ты стоишь»? Молчитъ. Я тронулъ ее за босую ногу, а она безо всякаго шуму покачнулась направо, потомъ-того на-лѣво, какъ маятникъ на часахъ. Я къ ней.—«Боже мой, что ты надѣлала, супруга моя любезная!» Ротъ у ней распухъ, языкъ выперло, глаза застыли, холодная, закоченѣлая... Ахъ, ты жизнь моя горькая!—Пришла полиція, составили протоколъ, затѣмъ анатомили и ничего не нашли, натурально. Похоронили Параскевію, безъ попа и безъ хоругвъ, и запилъ я. То-есть окончательно все пропилъ, что было, до послѣдней нитки, лошадей, фаэтонъ, санки, дрожки, съ квартиры сошелъ

и босякомъ сдѣлался. Горько мнѣ было, ахъ, до чего горько, что попущено было врагу рода человѣческаго жену мою смутить и душу ея погубить, но все же не возропталъ я на судьбу и вторично произошелъ къ жизни. А что ей самъ врагъ тогда въ циркѣ явился, въ томъ я теперь не сомнѣваюсь. На его головѣ этакія двѣ красныя шишки на манеръ рожковъ торчали. Конечно, и то сказать, что, можетъ, это ей наказаніе было за тотъ грѣхъ. Лучше бы я самъ поучилъ ее, то *ему* было бы уже и не такъ легко. А то появился, смутилъ и сгубилъ.

Старикъ замолчалъ и видно было, что ему тяжело переживать картины ужаса и разоренія, нарушившія такъ внезапно его душевный миръ и разбившія его счастье. Но когда я спросилъ, какимъ же образомъ «произошелъ» онъ «вторично къ жизни», онъ широко и радостно улыбнулся и такъ заключилъ свой разсказъ:

— А весьма замѣчательно. Было это уже лѣтъ семь-восемь тому назадъ. Дожился я до того, что ночевалъ и дневалъ

въ Царскомъ саду, голый и босый; послѣдній человѣкъ, однимъ словомъ, сдѣлался. Вотъ только на Успенье былъ храмъ въ Лаврѣ. Стала укорять меня совѣсть, что за пьянствомъ Бога забылъ, и пошелъ я помолиться святымъ. Иду и все Бога прошу помочь мнѣ и снизойти къ моимъ прегрѣшеніямъ. Народу было въ церкви много, я на паперти сталъ съ нищими. Подала мнѣ какая-то барыня копѣйку, а я ту копѣйку сейчасъ въ кружку. Помолился и за себя, и за грѣшную душу Параскевіи покойной, и такъ мнѣ сладко и пріятно стало, что и сказать не могу. Погода была хорошая, теплая. Послѣ служенія зовутъ меня босяки въ кабакъ, а я говорю, нѣтъ, говорю, братцы, сегодня въ кабакъ шабашъ. Хожу и размышляю все этакое душеспасительное и, пообѣдавши въ Лаврѣ, отправился на ту улицу взглянуть, гдѣ я жилъ хозяиномъ и съ Параскевіей годъ въ безмятежномъ счастіи провелъ. Вечерѣло. Гляжу, ажъ нѣтъ уже простого домика, а на мѣсто его построенъ домъ каменный, о двухъ этажахъ.

*

Въ нижнемъ этажѣ окна настежъ и на фортепьянахъ барышни играютъ. Окошки низенькія, такъ-что мнѣ все видно. Лампа горитъ. Когда я смотрю, а на самомъ послѣднемъ подоконникѣ пачка ассигнацій лежитъ. Ну, скажите, ну, точно для меня положено! Я вижу, что никого нѣтъ, а пачка здоровенная, подошелъ и, натурально, взялъ. Что бы вы думали? Пересчиталъ я—сто тридцать два рубля! Съ этихъ самыхъ денегъ, баринъ, я и пошелъ опять ѣздить.

Августъ, 1884.

ФАУСТЪ

И. Ѳ. Сабанѣеву

Вечернее небо погасало, и губернскій городъ оживился. Въ казенномъ саду загремѣла музыка. Встала пыль розовымъ облакомъ.

Викторъ Потапычъ Плѣнинъ смотрѣлъ на улицу изъ окна своего дома, пускалъ колечками табачный дымъ и, прихлебывая чай, скучалъ.

— Викторъ, ну чего ты сидишь на самомъ виду и безъ сюртука? Будетъ идти мимо начальникъ, взглянетъ, и нехорошо: подумаетъ,—подчиненный это нарочно въ неглиже, чтобъ начальству сдѣлать непріятность. Викторъ, Витя, ты слышишь? Кому я говорю, Витечка?

Викторъ Потапычъ молчалъ. Онъ набралъ дыму полный ротъ.

— Смотритъ! Противно, ей-богу! Витечка! Отчего ты не слушаешься? Послушайся меня, ангелочекъ! Надѣнь пиджакъ. Онъ совсѣмъ теперь чистенькій, я пятно замыла... Надѣнь, котикъ, надѣнь, буркотикъ!

Она подошла къ нему, держа въ обѣихъ рукахъ холщевый пиджакъ; онъ, не глядя на нее, подставилъ плечи.

— Надѣнь въ рукава, Витечка, будь умница! Скажите, надулъ щеки! Да ты спятилъ, что-ли? Это что за опыты? Онъ себѣ языкъ коптитъ!

Ладонью она слегка ударила его по щекѣ.

— Послушай, Наденька, ты много себѣ позволяешь,—сказалъ Викторъ Потапычъ нахмурившись.

Однако, онъ надѣлъ пиджакъ въ рукава и ничего не возразилъ, когда жена потрепала его по другой щекѣ.

— Витечка, отчего ты такой мѣшокъ? У всѣхъ мужья—какъ мужья, а ты Богъ знаетъ на что похожъ! Тюлень, право, тюлень! Ради Бога! Человѣку еще сорока

нѣтъ, а онъ уже опустился, сгорбился, на жену не обращаетъ никакого вниманія! Да что съ тобой, Витя?

Отвѣта не было.

— Викторъ, а Викторъ! Знаешь, я приглажу твою шляпу, пойдемъ въ садъ. Пойдемъ, миленькій, пойдемъ, славненькій.

Плѣнинъ мотнулъ головой и опять набралъ дыму въ ротъ. Ему никуда не хотѣлось. Надежда Власьевна разсердилась и сказала:

— Я одна пойду, если такъ. Это изъ рукъ вонъ! Онъ сдѣлалъ изъ меня кухарку, прачку и забылъ, что онъ мужъ. Тиранъ, животное! Подожди-жь ты, я тебѣ дамъ знать, я встрѣчусь съ Петромъ Николаевичемъ и ужъ дурой не буду,— пусть онъ цѣлуетъ мнѣ руки... пусть!

Угрозы этого рода имѣли значеніе десять лѣтъ тому назадъ. Но теперь тощая косичка замѣнила прежнія косы Надежды Власьевны, щеки впали, губы поблѣднѣли. Викторъ Потапычъ остался равнодушенъ.

Надежда Власьевна хлопнула дверью и стала наряжаться. Черезъ четверть часа

она вышла, шумя юпками, распространяя кругомъ запахъ одеколона; на ея шляпкѣ волновалось пожелтѣвшее страусово перо.

Не глядя на мужа, съ самымъ строгимъ лицомъ прошла она мимо него. Онъ не двинулся, не сказалъ: «Подожди, и я съ тобой!»—а молча курилъ, и окончательно раздражилъ тѣмъ Надежду Власьевну.

Издали, со стороны сада все доносились звуки музыки. Надежда Власьевна обогнула уголъ и исчезла, и Викторъ Потапычъ остался одинъ.

Но не прошло и пяти минутъ, какъ Надежда Власьевна показалась опять. Она была разстроена, нервно сжимала зонтикъ и, войдя въ домъ, грозно хлопнула дверями въ передней, затѣмъ въ гостиной и въ спальнѣ. Съ потолка упалъ на крашеный полъ кусокъ штукатурки.

Викторъ Потапычъ нахмурился и ждалъ, что будетъ дальше. Съ трескомъ распахнулись двери. Срывая съ себя шляпку, перчатки, кофточку, бія костлявыми руками въ грудь, Надежда Власьевна слезливо стала кричать:

— Мужъ! Это мужъ! Да ты терзаешь меня, ты заѣлъ мой вѣкъ, ты самый ужасный деспотъ! Изъ-за тебя я не знаю минуты отрадной, ты не доставляешь мнѣ никакихъ удовольствій! Даже въ садъ съ тобой нельзя пойти! Неужели-же я могла одна гулять! Да за кого меня приняли-бы!... Ахъ, жизнь, ахъ, каторга! Лучше я старой дѣвой осталась-бы, я была бы свободна! Лучше я поступила-бы въ горничныя, въ экономки!...

Она упала на диванъ и, закинувъ голову, рыдала. На улицѣ остановилась кухарка изъ сосѣдняго дома, пытливо посматривая въ открытыя окна. Викторъ Потапычъ схватилъ стаканъ съ недопитымъ чаемъ, хотѣлъ ударить имъ о полъ, но сдержалъ себя, надѣлъ шляпу и вышелъ. Рыданія Надежды Власьевны стали громче, перешли въ истерическій хохотъ, и къ кухаркѣ присоединилась горничная, еще какая-то женщина, и еще; такъ-что въ концѣ-концовъ образовалась передъ домомъ Плѣнина кучка любопытныхъ. Надежда Власьевна, сообразивъ, что мужъ

уже далеко, замолкла и, вставъ, заперла окна на задвижки.

II

— Вѣчная исторія!—думалъ Викторъ Потапычъ, съ нѣмою яростью вспоминая, что цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, почти ежедневно разыгрываются въ ихъ домѣ истерическія сцены. Надежда Власьевна вспыхиваетъ изъ-за каждаго пустяка. Они ссорились за обѣдомъ, когда Викторъ Потапычъ отказывался отъ другой тарелки супу,—вечеромъ, когда онъ не хотѣлъ идти въ гости,—ночью, когда онъ слишкомъ громко начиналъ храпѣть. Они ссорились, едва онъ открывалъ ротъ, и ссорились, если онъ молчалъ. Они ссорились изъ-за мнѣній, изъ-за вкусовъ, изъ-за симпатій или антипатій къ людямъ. Безчисленное множество поводовъ къ ссорамъ было у нихъ, и онъ видѣлъ, что въ будущемъ ихъ станетъ еще больше.

Онъ направлялся безцѣльно, широко ша-

гая по пыльному тротуару. Ему часто приходилось убѣгать изъ дома, и онъ машинально выбиралъ почти всегда эту улицу. Она была тѣмъ хороша, что скоро кончалась и позволяла ему оставаться наединѣ съ самимъ собою. Кончалась она обрывомъ, по которому вилась желтой змѣей глинистая дорожка. Отсюда виднѣлся лугъ, съ косо перерѣзывавшей его рѣченкой, которая то серебрилась на солнцѣ, то пряталась въ камышахъ и раскидистыхъ деревьяхъ.

Онъ сѣлъ на откосѣ и думалъ... Пятнадцать лѣтъ адской жизни кошмаромъ носились надъ нимъ. Онъ говорилъ себѣ:

— Когда я былъ на университетской скамьѣ, то золотыя мечты манили меня. Мнѣ представлялось, что я сдѣлаю что-то большое, славное. Я хотѣлъ громкаго и живаго дѣла. На прощальной пирушкѣ въ ресторанѣ Ензена меня качали на рукахъ я говорилъ рѣчи. Какъ теперь помню одушевленныя лица, лохматыя головы товарищей, благородныя пожеланія. Улетѣла молодость, и мечты разсѣялись, и я одинокъ,

или еще хуже, чѣмъ одинокъ. Славный дѣятель превратился въ жалкаго чиновника, живое дѣло въ мертвую канцелярщину, и скука убила интересъ ко всему человѣческому... Я машина, я нуль и не знаю, зачѣмъ я существую. Я дошелъ до того, что порою мнѣ кажутся смѣшны и неблагоразумны поступки людей, если они совершаются во имя общаго блага. Я не вѣрю въ общее благо!.. Я не хочу служить — и служу, гну спину, говорю съ начальствомъ почтительно. Я утонулъ въ пошлости, я самъ пошлякъ. Чтобъ имѣть свой домикъ съ гостиной и кабинетомъ, кусокъ послаще, да Станислава въ петлицѣ, да Наденьку, — я продалъ дьяволу душу. О, еслибъ вернуть молодость! Если бы хоть пять лѣтъ вернуть!

Онъ вздохнулъ.

— И какъ я наказанъ! Въ числѣ моихъ товарищей былъ Черепьевъ. Онъ мало говорилъ, онъ казался тупицей. Любимымъ его занятіемъ было смотрѣть по цѣлымъ часамъ на Днѣпръ, на звѣздное небо. Мы смѣялись надъ нимъ и его восторженнымъ

поклоненіемъ красотѣ. Идеалистъ, говорили мы, мечтатель! Недавно я встрѣтилъ его. Въ его кудряхъ серебрится уже сѣдина, но глаза его горятъ молодымъ огнемъ, всѣ его движенія напоминаютъ юношу. Онъ художникъ и не знаетъ скуки. Боже, онъ молодъ!

Онъ сжалъ руки и тоскливо смотрѣлъ въ даль.

— Или вотъ этотъ, Ивановскій... Бросилъ службу, сталъ писателемъ. Онъ живетъ высшимъ существованіемъ, онъ славенъ, и до глубокой старости будетъ улыбаться ему жизнь. Онъ тоже молодъ. А тотъ, Неказистовъ? Генералъ въ тридцать шесть лѣтъ, имя его гремитъ въ газетахъ, онъ одержалъ нѣсколько побѣдъ и, должно быть, утопаетъ въ блаженствѣ. Нѣтъ, родится же человѣкъ въ сорочкѣ! Какая несправедливость! Одному знакомы всѣ высшія радости, другой захлебывается въ болотѣ. За что?

Надъ равниной поднялся тонкій бѣлый туманъ. Вечерняя свѣжесть охватила Плѣнина.

— Когда я сравню свою жизнь съ жизнью отца, то получается поразительное сходство. Тоже онъ былъ чиновникомъ и гнулъ спину, также вѣчно ссорился съ покойной матушкой. Это ужъ въ крови, это роковое, тутъ законъ наслѣдственности! И какъ подумаешь, что я считалъ отца отжившимъ человѣкомъ, врагомъ прогресса, слѣпцомъ!...

Онъ закрылъ лицо руками.

Молодая дѣвушка приблизилась къ нему. Она съ безмолвнымъ любопытствомъ смотрѣла на его склоненную фигуру. Она была высока и стройна. Черныя кольца волосъ развѣвалъ вѣтерокъ. И большіе огнистые глаза глядѣли лукаво и пугливо.

Шорохъ, произведенный ею, заставилъ Плѣнина отнять руки. Онъ съ недоумѣніемъ глянулъ на дѣвушку. Откуда взялась она?

Она была безъ шляпки, и ея смуглая кожа имѣла золотистый оттѣнокъ, губы алѣли, какъ пурпуръ. На бѣлорозовомъ волнистомъ платьѣ пестрѣли букетики живыхъ цвѣтовъ — анютиныхъ глазокъ, васильковъ, спѣлой земляники. Изъ тѣхъ-

же цвѣтовъ и ягодъ висѣлъ вѣнокъ у ней на рукѣ.

— Кто вы?—спросилъ онъ.

Она не отвѣтила. Тѣнь тревоги скользнула по ея лицу. Алыя губы насмѣшливо дрогнули.

Онъ смутился и не смѣлъ повторить вопросъ.

Она повернулась и бѣгомъ бросилась назадъ. Она бѣжала легко, какъ дикая коза. Онъ слышалъ шелестъ ея развѣвающагося платья. Ему чудилось, что звенитъ ея смѣхъ, нѣжный какъ соловьиная трель. И онъ долго смотрѣлъ ей вслѣдъ, пока не скрылась она между деревьями, тамъ, гдѣ сгустилась вечерняя тѣнь. Онъ вспомнилъ, что въ оврагѣ есть нѣсколько полуразвалившихся домиковъ, и подумалъ, что эта дѣвушка живетъ въ одномъ изъ нихъ.

Но кто она? Она подкралась какъ привидѣніе, и такъ же быстро исчезла. Никогда прежде онъ не встрѣчалъ ее здѣсь, и едва ли она изъ мѣстныхъ. Она не крестьянка и не барышня. Она красавица,

станъ ея не знаетъ корсета, грудь благоухаетъ молодостью...

Онъ задумчиво смотрѣлъ на равнину, которую вмѣстѣ съ туманомъ, съ деревьями, съ камышами, съ потухающимъ серебромъ рѣчки одѣвалъ изголуба-розовый сумракъ, — и образъ странной дѣвушки стоялъ предъ нимъ, заслонивъ собою всѣ его недавнія муки и сомнѣнія.

III

На другой день Викторъ Потапычъ угрюмо писалъ бумагу; начальникъ считалъ ее очень важною; но ему она казалась ничтожной и смѣшной. Онъ сидѣлъ за своимъ секретарскимъ столомъ. Его каблуки протерли на полу двѣ глубокія борозды, деревянныя ручки кресла лоснились, какъ костыли нищаго. Видно было, что долго и усердно сидитъ на этомъ мѣстѣ Викторъ Потапычъ. Зеленое сукно на столѣ отрепалось и усѣяно многочисленными чернильными звѣздами. Черниль-

ница изъ желтаго фаянса точно свидѣтельствовала своимъ неприглядным видомъ объ убожествѣ мысли, черпаемой изъ нея секретаремъ.

Было тихо въ управленіи. Синіе столбы табачнаго дыма золотились на солнцѣ, перья скрипѣли, и только въ маленькой комнатѣ, гдѣ сидѣли вѣчно праздные ревизоры, слышался сдержанный разговоръ.

Изъ кабинета вышелъ начальникъ, высокій красивый нѣмецъ съ рыжими военными усами и глуповатымъ лицомъ, держа въ рукахъ фуражку и перчатки, и, какъ только исчезъ за дверями, всѣ чиновники сорвались съ мѣстъ и стали шумно бесѣдовать. Ревизоры подошли къ Виктору Потапычу, бухгалтеръ и его помощники образовали кругъ. Одни писцы продолжали сидѣть въ согбенномъ положеніи.

— Отправился въ казначейство серіи покупать!—сказалъ помощникъ секретаря, кивнувъ головою въ сторону начальника.

— Да нѣтъ, онъ просто завтракать поѣхалъ,—заявилъ бухгалтеръ.—Тутъ сиди съ девяти до двухъ, а онъ, изволите-ли

видѣть, прохлаждается! Для него законъ не писанъ!

— Ха-ха-ха! Извѣстно, для кого законы не писаны.

— Дуракъ, — со вздохомъ промолвилъ бухгалтеръ: — а вотъ подите — управляющій!

— Дуракамъ счастье.

Въ числѣ чиновниковъ былъ одинъ только-что поступившій на службу. Товарищи стали разсказывать ему, какъ ихъ начальникъ требуетъ у Виктора Потапыча несуществующіе томы законовъ, какъ онъ лжетъ, хвастаясь своимъ знакомствомъ съ Бисмаркомъ, какіе онъ промахи дѣлаетъ при ревизіи заводовъ, какой онъ картежникъ и какъ вся губернская аристократія презираетъ его.

Викторъ Потапычъ сидѣлъ, откинувшись на спинку кресла; перо онъ заложилъ за ухо; большіе сѣрые глаза его смотрѣли на всѣхъ зло и насмѣшливо изъ-подъ тонкихъ умныхъ бровей.

Червь скуки, который его грызъ, грызъ и его товарищей. Они раздражались, зло-

словили, бездѣльничали, потому что не знали, какъ иначе убить время. На службу они являлись съ единственною цѣлью какъ-нибудь скоротать день, и съ тою же цѣлью являлся ихъ начальникъ. Начальникъ обманывалъ ихъ, они обманывали начальника. То, что можно было сдѣлать въ часъ, они дѣлали шесть часовъ. Когда же и такой работы не было, они выдумывали ее, и тогда писались циркуляры и бумаги общаго характера, или загоралась безплодная и ненужная переписка съ другими вѣдомствами. Но часто дни проводились, какъ сегодня. Начальникъ заказывалъ Виктору Потапычу какую-нибудь бумагу, увѣряя, что отъ нея зависитъ судьба акцизнаго дѣла въ губерніи, и уходилъ. Викторъ Потапычъ брался за перо и слегка передѣлывалъ одинъ изъ прошлогоднихъ циркуляровъ управляющаго, совершенно равнодушно относясь къ судьбѣ вообще какого бы то ни было дѣла. Между тѣмъ, около его стола собирались чиновники, садились кто на столъ, кто на ручку кресла, и начиналось злословіе, изливаніе жолчи, накп-

*

пѣвшей отъ праздномыслія и бездѣлья. И всегда злобу дня составлялъ управляющій. Какъ лакеи чернятъ барина, у котораго служатъ, такъ чернили его эти чиновники. Они не прощали ему ни приставныхъ воротничковъ, ни мытыхъ перчатокъ, ни заплатанныхъ ботинокъ. Имъ были извѣстны всѣ мелочи его существованія. Они радовались его неудачамъ, его проигрышамъ и его ошибкамъ въ русскомъ языкѣ. Однажды онъ написалъ на департаментской бумагѣ: «къ куроводству» вмѣсто: «къ руководству». Эту резолюцію, сдѣланную карандашомъ, они покрыли лакомъ, и съ тѣхъ поръ, при воспоминаніи о ней, заливаются хохотомъ. Онъ былъ ихъ врагъ, но вражда эта была такая же, какъ та, которую питалъ Викторъ Потапычъ къ Надеждѣ Власьевнѣ. Вражда отъ нечего дѣлать, вражда отъ скуки, ничтожная, мелочная вражда.

Сегодня Викторъ Потапычъ былъ не въ ударѣ. Онъ, вышучивая начальника, назвалъ управленіе богадѣльней.

Ревизоры обидѣлись. Обидѣлся бух-

галтеръ. Мало-по-малу разгорѣлся споръ. Старшій ревизоръ, красный, какъ индѣйскій пѣтухъ, принялъ начальническій тонъ и кричалъ на секретаря; младшій схватилъ помощника секретаря за пуговицу и высчитывалъ, сколько ему приходится ѣздить зимой, когда идутъ заводы; бухгалтеръ указывалъ на кипу вѣдомостей, еще не провѣренныхъ ни имъ, ни его помощниками. Писцы притворялись, что пишутъ, и, оставаясь въ согбенномъ положеніи, жадно прислушивались къ спору. Всѣмъ хотѣлось, чтобы ихъ считали дѣятельными работниками, въ услугахъ которыхъ нуждается государство, и чтобъ только одинъ управляющій ничего не дѣлалъ и никуда годился.

— Самъ идетъ! закричалъ одинъ изъ помощниковъ бухгалтера, выглянувъ въ окно.

Моментально водворилась тишина, всѣ кинулись вразсыпную на свои мѣста и схватились за перья; ссора кончилась.

Управляющій вошелъ, держа грудь колесомъ, не глядя по сторонамъ, розовый отъ вина и улыбающійся. Ревизоры отправи-

лись къ нему и, куря его папиросы, льстиво соглашались съ его взглядами на акцизное дѣло. Когда онъ посмотрѣлъ на бумаги, поданныя ему для подписи Викторомъ Потапычемъ, они перешли въ свою комнату, чтобъ не мѣшать начальнику. По дорогѣ они остановились возлѣ секретарскаго стола и дружелюбно шепнули Плѣнину, точно у нихъ никогда и ссоры не было, что управляющій, кажется, тово... Тутъ старшій ревизоръ щелкнулъ себя по горлу. А начальникъ, вынувъ изъ бисернаго чехольчика зубочистку, предался тому невинному занятію, которымъ заканчиваются, обыкновенно, завтраки и обѣды. Впрочемъ, онъ успѣлъ подмахнуть бумаги. Когда пробило два часа, все управленіе встало, какъ одинъ человѣкъ, начиная съ управляющаго и кончая сторожемъ. Скучающія лица чиновныхъ школьниковъ расцвѣли, опять началось галдѣнье и когда начальникъ сказалъ: «прощайте, господа!» — враги его низко поклонились ему, а одинъ писецъ чуть не мазнулъ по полу своими огромными жирными волосами.

Рискуя навлечь на себя справедливый гнѣвъ Надежды Власьевны, Плѣнинъ не отправился обѣдать домой. При мысли о домѣ, въ немъ стыла кровь. Онъ зашелъ въ ресторанъ, съѣлъ обѣдъ, купилъ въ магазинѣ фунтъ конфектъ получше и направился за городъ на вчерашнее мѣсто.

Онъ пришелъ туда, сѣлъ на откосѣ. Сердце его билось. Онъ сидѣлъ долго, въ совершенномъ одиночествѣ. Рѣчка сверкала вдали, опьяняющій ароматъ какой-то травы напоялъ воздухъ. Шуршали и стрекотали насѣкомыя, кричали птицы. Сѣдая зелень ракитъ мягко выдѣлялась на днѣ оврага, гдѣ бѣлѣли полуразвалившіяся хижины. Напрасно смотрѣлъ туда Плѣнинъ. И только когда смерклось и въ лиловой лазури замигали звѣзды, ему почудилось, будто гдѣ-то близко, въ травѣ, или въ кустахъ, или въ воздухѣ прозвенѣлъ мелодическій смѣхъ той дѣвушки, но тихій и едва уловимый. Да гдѣ-то промелькнула ея тѣнь. Или, можетъ быть, это лунный свѣтъ мелькнулъ на колеблющемся кустѣ шиповника?

Затаивъ дыханіе, стоялъ и слушалъ Плѣнинъ. Но все было пустынно и сонно. Онъ вздохнулъ и вернулся въ городъ.

IV

Но онъ опять пришелъ сюда, сказавшись больнымъ на службѣ. Его влекло къ себѣ безмолвіе этой спокойной красоты, этого скромнаго задумчиваго пейзажа, и ему казалось, что со времени встрѣчи съ странной дѣвушкой онъ сталъ моложе. Впрочемъ, онъ не разбиралъ своихъ ощущеній,—его просто тянуло на это мѣсто, и онъ чувствовалъ, что никакими силами не прогонишь его отсюда, что онъ схитритъ, надуетъ, пустится на ложь и унизится до обмана, а ужъ на откосъ явится. Онъ зналъ, что поступаетъ несолидно, что человѣкъ, у котораго сѣдина показалась, въ его положеніи просто смѣшонъ; но еще разъ взглянуть на дѣвушку съ вѣнкомъ полевыхъ цвѣтовъ и ягодъ представлялось ему какимъ-то счастьемъ, и лучезарное

видѣніе должно было бросить свѣтъ на его скучную, заплѣсневѣлую жизнь.

Ждать теперь пришлось недолго. Дѣвушка вышла изъ лѣса, и, облитая полуденнымъ солнцемъ, подвигалась вдали, за рѣчкой, то останавливаясь и нагибаясь, то приставляя руку къ глазамъ и глядя направо, гдѣ въ раскаленномъ воздухѣ синѣлъ другой лѣсъ. Она пѣла какую-то пѣсню, и повременамъ голосъ ея звенѣлъ, странно сливаясь съ трелями жаворонковъ.

На равнинѣ тамъ и сямъ бѣлѣлъ песокъ, и чтобъ проникнуть въ тотъ лѣсъ, дѣвушкѣ надо было перейти вбродъ рѣчку и по песчаному полю пройти версту.

Она подошла такъ близко, что онъ, сидя наверху, видѣлъ, какъ въ рѣчкѣ, точно въ помутнѣвшемъ зеркалѣ, отразилась на мгновеніе ея стройная фигура, босыя ножки замелькали, плеснула вода, и, придерживая платье, выпрыгнула дѣвушка на этотъ берегъ, изъ камышей, словно русалка.

Она замѣтила Илѣнина и улыбнулась. Улыбка заставила его покраснѣть, и онъ въ волненіи сталъ смотрѣть въ другую

сторону. Но когда потомъ онъ повернулъ голову, дѣвушка бѣжала уже далеко. По-видимому песокъ не затруднялъ ея бѣга. Толстыя косы роняли вплетенные въ нихъ бѣлые цвѣты; порою она оборачивалась и на бѣгу посылала ему воздушные поцѣлуи.

Ему захотѣлось пойти за нею. Глаза его горѣли отъ зноя красокъ, въ какихъ явилась ему дѣвушка, грудь вздымалась, кровь зажглась и, точно въ двадцать лѣтъ, легко и живо спустился онъ съ откоса и зашагалъ по берегу.

Было жарко, но онъ все шелъ, иногда поднимая цвѣты, оброненные дѣвушкою, полный небывалой бодрости, которую вливала въ него она своими улыбками и воздушными поцѣлуями.

По дорогѣ возвышался холмъ. Маленькія деревца—сосенки и березки—зеленѣли тамъ и сямъ на холмѣ, который казался оазисомъ или островомъ среди равнины. Рѣчка у подошвы холма круто выгибалась, и ея холодныя струи проносились здѣсь съ тихимъ музыкальнымъ лепетомъ.

Дѣвушка взбѣжала на холмъ и исчезла.

Когда Викторъ Потапычъ подошелъ, песокъ сыпался по склону холма; и, хватаясь за вѣтки и вересклъ, съ большимъ трудомъ взобрался туда Викторъ Потапычъ. Вѣтерокъ подулъ и освѣжилъ его. Онъ сѣлъ на землѣ и сталъ вытирать платкомъ лицо.

— Послушайте, молодой человѣкъ съ сѣдыми волосами, зачѣмъ вы здѣсь?

Голосъ прозвучалъ справа. Вся фраза была сказана тихо, совсѣмъ тихо. Но отъ нея Виктора Потапыча такъ и всколыхнуло Онъ радостно испугался, и молчалъ Улыбка застыла на его лицѣ.

— Скажите,—раздался тотъ-же голосъ слѣва:—вы пришли сюда за цвѣтами или за ягодами? Вы ошиблись! Тутъ ничего нѣтъ, кромѣ можевельника. Ахъ, нѣтъ! Я вижу! Вонъ сидитъ старый грибъ!

Викторъ Потапычъ покраснѣлъ, и послышался громкій смѣхъ.

— Что это у васъ въ карманѣ?—спросилъ голосъ, и на этотъ разъ Виктору Потапычу показалось, что онъ звучитъ сверху.

Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ, что вѣтки самаго высокаго деревца качаются. Въ сквозной листвѣ что-то бѣлѣетъ.

— Это конфекты, — отвѣчалъ онъ и, вынувъ бонбоньерку, раскрылъ ее и протянулъ къ деревцу.

Смѣхъ повторился.

— Не надо мнѣ конфектъ. Лучше купите у меня ягодъ. Я дешево продамъ...

— Хорошо. А гдѣ ягоды?

— О, еще надо набрать! Посидите, я въ тотъ лѣсъ сбѣгаю...

— Напрасно не хотите конфектъ,— сказалъ Викторъ Потапычъ и закрылъ бонбоньерку. — Дайте-ка я вамъ помогу слѣзть...

Онъ всталъ и подошелъ къ деревцу. Но тамъ ужъ никого не было. Холмъ былъ пустыненъ. Чирикали воробьи, внизу лепеталъ звенящій ручей, въ воздухѣ стоялъ нестерпимый зной. И деревья, кусты, цвѣты—все клонило къ полуденному сну, къ дремѣ, къ дремѣ, у которой мало общаго съ ночнымъ забытьемъ, но которая все-таки сонъ... съ открытыми глазами.

Этотъ лѣнивый сонъ спустился на землю, и Плѣнинъ лежалъ на спинѣ, устремивъ глаза въ густую синеву небесъ. Онъ ждалъ возвращенія дѣвушки. Онъ спрашивалъ себя:

— Неужто-жь я опять сталъ молодъ? Откуда эта свѣжесть сердца и душевная ясность? Полюбить и умереть отъ счастья! Полюбить грезу, мечту, полевой цвѣтокъ! Быть пошлякомъ и сбросить съ себя проклятое иго, обновиться, потонуть въ лучахъ солнца, въ синемъ безграничномъ небѣ! Ничего мнѣ не надо, кромѣ поцѣлуя этой дикой розы... Одного поцѣлуя... И что значитъ въ сравненьи съ нимъ счастье Черепьева, Ивановскаго, Неказистова!

Его грудь сладостно ныла. Лазурный небосводъ точно раздвигался предъ нимъ, и онъ видѣлъ, какъ высоко, высоко ширялъ въ небесахъ желтый ястребъ, гоняясь за бѣлой, сверкающей на солнцѣ, какъ снѣжинка, голубкой. Онъ очнулся отъ легкаго шороха: возлѣ него, поджавъ ноги, сидѣла странная дѣвушка. Она ѣла конфекты изъ его бонбоньерки, и ее потря-

салъ тихій, сдержанный смѣхъ. Отъ этого смѣха въ ея ушахъ прыгали черныя спѣлыя вишни, вдѣтыя вмѣсто серегъ. На колѣняхъ лежалъ букетикъ земляники, скромныя ягоды которой тонули въ ея пушистой зелени и въ розопалевыхъ цвѣтахъ наперстянки. Сидѣла она непринужденно, чуть-чуть сгорбившись, и на ея граціозной шеѣ, бронзовой отъ загара, чернѣли, какъ смола, блестящіе чудно вьющіеся волосы. Отъ ея тѣла несся теплый ароматный запахъ. Когда она повернула лицо, Плѣнинъ вздрогнулъ, увидѣвъ ея глаза, наивные, горячіе, молодые. Онъ спросилъ:

— Ради Бога—кто вы?

Она отвѣтила со смѣхомъ:

— Любовь.

— Васъ такъ зовутъ? Но... Кто ваши родители? Гдѣ вы живете?

— Какой любопытный молодой человѣкъ! воскликнула она.—Не скажу. Вѣдь я не спрашиваю, кто вы.

Она лукаво взглянула на него.

— Впрочемъ, конфекты ваши прелесть

какія,—начала она.—Должно быть, васъ бояться нечего. Купите же у меня ягодъ!

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ онъ съ улыбкой, доставая бумажникъ и бросая жадные взгляды на землянику и на вишни въ ушахъ дѣвушки.

— Я вамъ отдамъ все, что у меня есть, весь бумажникъ, а вы отдайте мнѣ всѣ ваши ягоды...

— Хорошо!

Смѣхъ потрясъ ее снова, и на минуту она спрятала лицо въ свои смуглыя тонкія руки.

— Знаете, на что мнѣ деньги? спросила она, взявъ бумажникъ и покраснѣвъ отъ смущенія и радости.—Я давно собираю по копѣечкѣ, чтобъ купить козу. Папа ужасно боленъ, онъ лежитъ бѣдненькій, не шевельнетъ ни рукой, ни ногой, уже другой годъ, и кушаетъ только молоко. А когда нѣтъ молока, онъ плачетъ...

Она раскрыла бумажникъ и смотрѣла на деньги.

— «Викторъ Потаповичъ Плѣнинъ»; прочитала она на визитной карточкѣ, ко-

торая находилась въ бумажникѣ.— Вотъ кто вы такой!

Она разсмѣялась, и взглядъ ея глазъ точно говорилъ: «Ага, я узнала вашъ секретъ!» Викторъ Потапычъ почувствовалъ себя неловко.

— Но, разумѣется, вы шутите, продолжала она, возвращая ему бумажникъ.— Столько денегъ за горсточку ягодъ! Нѣтъ, это невозможно!

Викторъ Потапычъ тщетно упрашивалъ ее. Она отстраняла рукою деньги и не хотѣла взять даже пяти рублей. Наконецъ, онъ уговорилъ ее не отказываться хотя отъ мелочи.

— Ну, возьму! сказала она.—Я буду у васъ въ долгу. Приходите сюда завтра и послѣзавтра. Я наберу вамъ много, много ягодъ. Я каждый день на двадцать копѣекъ продаю ягодъ. Кушайте.

Онъ протянулъ руку къ ея колѣнямъ и сталъ отрывать по ягодкѣ съ букетика и медленно ѣсть, не сводя глазъ съ чудной дѣвушки.

— Какъ у васъ пальцы дрожатъ, Гос-

поди! вскричала она и съ удивленіемъ посмотрѣла на Плѣнина.

Онъ не отвѣтилъ и улыбаясь продолжалъ молча ѣсть.

— Вы добрый, да? спросила она.

Онъ кивнулъ головою. Она помолчала.

— Такъ, пожалуй, дайте ужъ пять рублей, сказала она, вспыхнувъ и потупивъ глаза, какъ бы испугавшись собственныхъ словъ своихъ.

Онъ быстро протянулъ ей бумажникъ, и она взяла деньги.

— Спасибо! произнесла она шопотомъ, пряча бумажку.

Викторъ Потапычъ почувствовалъ, что съ этого момента между нимъ и дѣвушкой знакомство стало тѣснѣе; и онъ ужъ не такъ робко ѣлъ ягоды.

— А если папа спроситъ, откуда у меня деньги? проговорила она.

— Скажите, что нашли...

Она задумалась. Но черезъ минуту она уже хохотала, и Плѣнинъ вторилъ ей; ему было весело и хорошо, какъ никогда въ жизни.

— Какъ славно здѣсь! говорилъ онъ.— Какъ чудно пахнутъ полевые цвѣты! Какъ вы прекрасны, Любовь! Какъ мнѣ хочется вашихъ вишень!

Она со смѣхомъ подставила ему ухо, одно и другое. Слегка обнявъ воздушный мягкій станъ ея, онъ приникъ ртомъ къ ягодѣ. Брызнулъ сокъ, и по нѣжной, какъ персикъ, щекѣ потекли алыя струйки, подобно крови.

Дѣвушка громко захохотала, потомъ нахмурила брови и вдругъ вскочила и исчезла за кустами, проворная, какъ ящерица, гибкая, какъ змѣя.

...Шагахъ въ двухстахъ отъ холма, на муравѣ вырисовывалась свѣтлымъ пятномъ быстро движущаяся фигура дѣвушки. На бѣгу она бросала въ воздухъ монеты, сверкавшія бѣлыми искрами, и ловила ихъ, какъ жонглеръ. Плѣнинъ смотрѣлъ. Она обернулась, увидала его и послала ему воздушный поцѣлуй.

V

— Нѣтъ, это не любовь, думалъ онъ:— это кровь бунтуетъ... И однако-же я чувствую, что глупѣю, и главное—хочу глупѣть, хочу совсѣмъ стать дуракомъ, потому что глупость есть привиллегія молодости... Самыя радостныя и самыя дурацкія чувства играютъ во мнѣ. Изъ горла пѣсня просится, сердце бьется, и все я вижу ее, ее... Стоитъ закрыть глаза—и вотъ она, какъ живая. Руки у ней тонкія и должно-быть цѣпкія, обнимаютъ крѣпко и горячо. Сколько электричества въ этихъ рукахъ! Странная она, можетъ быть у ней разсудокъ не совсѣмъ въ порядкѣ, а тянетъ къ ней! Это не женщина, это—видѣніе, мечта! Но какъ-же я говорю, что это не любовь? Неправда, любовь! Ее зовутъ Любовью! Настоящая, сумасшедшая, неожиданная любовь!

— Любовь! закричалъ онъ громко. На откосѣ никого не было, и только эхо неясно отвѣтило ему.

*

— Любовь! повторилъ онъ въ восторгѣ, и на глазахъ его выступили слезы. И если-бы кто-нибудь увидѣлъ его, то удивился-бы перемѣнѣ съ нимъ. Глаза его сіяли, большіе и лучистые, молодой румянецъ покрывалъ щеки, станъ выпрямился, волосы утратили мертвенный пыльный цвѣтъ свой. Это былъ юноша, преждевременно слегка посѣдѣвшій, а не пожилой человѣкъ.

— Скажи, что съ тобою?—спросила его Надежда Власьевна, когда онъ вернулся домой.

Она пытливо смотрѣла ему въ глаза.

— Ничего...

— Ты боленъ, Витя?

Онъ промычалъ:

— Нездоровъ.

Ей показалось, что отъ него пахнетъ цвѣтами, лѣсомъ.

— Ты на службѣ не былъ? Гдѣ ты былъ?

Онъ нахмурился.

— Ты почемъ знаешь? Да, не былъ, голова болѣла, я и прошелся... ходилъ туда, въ садъ...

Онъ неопредѣленно указалъ рукой.

— Витечка! начала она съ мольбой, заключая его въ костлявое объятіе:—не манкируй службой! Пожалѣй меня! что станется со мною, когда тебя прогонятъ! Боже мой! Онъ не бываетъ въ управленіи... Да послѣ этого я тебя сама стану провожать на службу!

— Дура! загремѣлъ на нее Викторъ Потапычъ и такъ зло сверкнулъ глазами, что она испугалась. Она приняла руки, онъ стремительнымъ шагомъ прошелъ въ свою комнату.

За обѣдомъ она сказала:

— Витя, ты боленъ, скушай супцу съ курочкой. Скушай, миленькій! Ахъ, какъ я виновата, что упрекнула тебя! Дай-ка мнѣ твой лобъ!

— У тебя жаръ, тревожно сообщила она.

Онъ молчалъ.

— Витя, если управляющій останется недоволенъ, что ты не пришелъ сегодня на службу,—начала она съ улыбкой и съ заискивающимъ выраженіемъ глазъ, точно

Витя былъ капризный мальчикъ, котораго опасно раздражать и котораго лучше ужь успокоить лаской: — то я, радость моя, пойду къ нему сама и попрошу за тебя. Какъ ты думаешь?

Викторъ Потапычъ захватилъ побольше воздуху и сжалъ губы.

— О, какъ ты смотришь, точно съѣсть меня хочешь! сердито крикнула Надежда Власьевна, вся взволновавшись.

Викторъ Потапычъ опустилъ глаза и сосредоточенно принялся за ѣду. Онъ не былъ расположенъ ссориться. Онъ быстро успокоивался—стоило ему вспомнить Любовь.

— Не вмѣшивайся, пожалуйста, Наденька, прошу тебя. Ты только повредишь мнѣ. Я самъ дорожу службой,—не безпокойся!

«Да, дорожу! насмѣшливо думалъ онъ, лежа послѣ обѣда на жосткомъ диванчикѣ въ кабинетѣ, выходившемъ окнами въ стеклянную галлерею, гдѣ на веревкѣ сушились юпки Надежды Власьевны.—Дорожу! Въ головѣ чарующій угаръ, чудныя ду-

рацкія мечты... Такъ-бы и бросилъ все... Вѣдь живутъ-же люди безъ всякихъ службъ, свободные, счастливые! Никому не кланяться и не лгать! И вѣчно быть молодымъ, вѣчно любить!»

VI

Плѣнинъ сталъ поздно приходить въ управленіе, порою говорилъ дерзости начальнику, не скрывалъ презрѣнія къ чиновникамъ. Сидя въ своемъ секретарскомъ креслѣ, онъ по часамъ ничего не дѣлалъ, заложивъ перо за ухо. Онъ похудѣлъ, и это шло къ нему. Надежда Власьевна изумлялась, что онъ каждый день вздумалъ мѣнять бѣлье и душилъ волосы и бороду. Сослуживцы тоже посматривали на него съ любопытствомъ. Онъ какъ-то незамѣтно для себя сталъ щеголемъ. Управляющій, добрый и недалекій нѣмецъ, огорчался, когда Викторъ Потапычъ наотрѣзъ отказывался писать новый циркуляръ надзирателямъ, и презрительный тонъ само-

увѣреннаго секретаря пугалъ его. «Викторъ Потапычъ въ дурномъ расположеніи духа, думалъ онъ, и кажется, онъ хочетъ, чтобъ я представилъ его къ новой наградѣ. Безъ него мнѣ трудно было-бы, онъ у меня правая рука, я сдѣлаю ему сюрпризъ.» Чувствуя хмель въ головѣ послѣ завтрака, управляющій хитро улыбался, когда секретарь ворчалъ. «Ежели Викторъ Потапычъ получитъ награду, то станетъ вѣжливѣе», — говорилъ себѣ начальникъ и ждалъ, чѣмъ разрѣшится его ходатайство. И онъ обрадовался, когда Плѣнинъ попросился въ двухнедѣльный отпускъ.

Викторъ Потапычъ вздохнулъ всей грудью, очутившись на свободѣ. Онъ купилъ патронташъ, ружье; въ немъ заговорили Богъ вѣсть откуда взявшіеся воинственные инстинкты. Онъ сѣлъ на дрожки и, кивнувъ головой Надеждѣ Власьевнѣ, глаза которой были заплаканы, уѣхалъ за городъ. Предварительно онъ солгалъ ей, что ему дана командировка въ уѣздъ.

Онъ поселился недалеко отъ города,

сейчасъ за тѣмъ лѣсомъ, куда Любовь ходила сбирать ягоды. Тамъ надъ желтымъ обрывомъ, среди столѣтнихъ деревьевъ, бѣлѣлся хуторъ солдатки Марѳы. Онъ нанялъ у ней свѣтелку, условился, чтобъ она кормила его и служила ему, и сталъ отдыхать на лонѣ природы. Поутрамъ онъ рано вставалъ и уходилъ въ лѣсъ, слушать звонкіе переливы иволгъ, и самъ горланилъ какую-нибудь пѣсню. Онъ жадно вдыхалъ лѣсной воздухъ, смолистый и свѣжій, и чувствовалъ, что щеки его горятъ, сердце дрожитъ, обновленное и бодрое. Онъ сознавалъ, что въ этой отшельнической жизни, въ этомъ блужданіи по лѣсу, въ этой игрѣ въ охотники много смѣшнаго и «дурацкаго». Но ему и было дорого, что онъ можетъ вести такую жизнь, онъ радовался, что молодѣетъ съ каждымъ днемъ и совсѣмъ не думаетъ о будущемъ.

Совсѣмъ!

Ежедневно являлась Любовь и приносила ему полную корзинку ягодъ. Затѣмъ вмѣстѣ они уходили въ боръ. Онъ слушалъ, какъ льется ея пѣсня, смотрѣлъ,

какъ золотыя полоски солнечнаго свѣта падаютъ на нее и мелькаютъ на ея платьѣ, и какъ алѣютъ на смугломъ лицѣ дѣвушки странно, трагически вздутыя губы ея. Эти губы тянули къ себѣ, какъ магнитъ, и Викторъ Потапычъ блѣднѣлъ при взглядѣ на нихъ. Таинственная жизнь, глубокая, какъ море, сосредоточивалась въ нихъ. Малѣйшее душевное движеніе отражалось въ легкомъ трепетѣ этихъ губъ, и въ то время, когда дѣвушка хохотала, шутила, говорила, Плѣнину достаточно было взглянуть на нижнюю часть ея лица, чтобы замереть отъ загадочнаго, непостижимаго, но сладостнаго ужаса. Было что-то недѣтское, горестное и порою что-то плѣнительно-грѣховное въ чудныхъ губахъ. И это впечатлѣніе еще болѣе оттѣнялось наивнымъ выраженіемъ большихъ, спокойно пламенѣющихъ, но недалекихъ, какъ у дикой козы, очей.

Часовъ въ пять утра, на второй день своего пребыванія у солдатки Марѳы, Плѣнинъ закинулъ за плечо ружье и вышелъ.

По тропинкѣ онъ спустился съ обрыва. Солнце давно взошло, но ночныя голубоватыя тѣни еще лежали въ пространствахъ межъ деревьями и на днѣ оврага. Пальмовидные папоротники дремали на землѣ въ прозрачныхъ холодныхъ сумеркахъ, вершины и стволы сосенъ были уже облиты золотистымъ свѣтомъ, и далеко внизу надъ мелкимъ кустарникомъ таялъ розовый туманъ. Теплое голубое небо, на которомъ въ лѣсныхъ просвѣтахъ четко рисовались тамъ и сямъ изумрудно-огненные края нѣжной листвы, ласкало глазъ. И влажный блѣдный запахъ цвѣтовъ, обрызганныхъ росою, струился въ воздухѣ.

Кричали птицы. Плѣнинъ вспомнилъ свою канцелярію и разсмѣялся, какъ школьникъ. Надъ нимъ кружился воронъ. Онъ прицѣлился, и жертва тяжело упала на землю, сложивъ крылья.

Онъ шелъ по извилистому берегу той самой рѣчки, которая видна съ городскаго откоса и протекаетъ по равнинѣ, мимо холма, гдѣ онъ бесѣдовалъ съ Любовью. Только здѣсь рѣчка эта, называющаяся

Тупецъ, шире, чѣмъ тамъ, и не такъ быстра. Старыя раскидистыя ивы склонились надъ нею и бросаютъ густыя тѣни на ея воды. Шуршатъ камыши. Изрѣдка вылетитъ утка оттуда съ отрывистымъ гортаннымъ крикомъ. То не видишь совсѣмъ Тупца, до того онъ съуживается и прячется въ высокихъ травахъ, то вдругъ онъ образуетъ родъ маленькаго круглаго озера, и оно блеститъ какъ зеркало, и въ него смотрятся со всѣхъ сторонъ деревья. Таинственно молчитъ природа, не шелохнетъ листъ. И, кажется, кто-то сейчасъ былъ здѣсь, круги пошли по водѣ... Вонъ за толстымъ сплетеніемъ обнажившихся, полузасохшихъ корней засверкала на солнцѣ зыбь, какъ граненое стекло... Послышался тихій всплескъ.

Плѣнинъ остановился и смотрѣлъ съ тревогой.

На травѣ, возлѣ платья и бѣлья, была брошена корзинка съ лѣсной малиной, букетъ гвоздикъ. Голая красивая рука обнимала дерево, и изъ-за ствола виднѣлась часть стана; нога боязливо была протя-

нута къ водѣ и концами пальцевъ чуть-чуть касалась студеной поверхности, разсѣкая упругія струи и отражаясь въ нихъ. И отраженіе зыблилось.

Плѣнинъ узналъ Любовь. Онъ скрылся за деревьями, чтобъ не смотрѣть на дѣвушку, чтобъ не испугать ее. Но онъ чутко прислушивался къ малѣйшему шороху.

И когда она выкупалась и запѣла, направляясь въ лѣсъ, по одной изъ безчисленныхъ тропинокъ, сѣтью покрывающихъ склонъ обрыва, онъ догналъ ее.

Она даже не вздрогнула. Она не удивилась. Лицо ея освѣтилось насмѣшливой улыбкой, она продолжала пѣть, а онъ шелъ за ней, не зная что сказать ей и съ чего начать. Онъ точно въ первый разъ встрѣтился съ нею.

— Вы теперь въ лѣсу живете?—спросила, наконецъ, странная дѣвушка, переставая пѣть и наклоняясь за ягодой.

— Да...

— Въ лѣсничихъ?

— Нѣтъ, я не лѣсничій.

Дѣвушка подняла голову и сказала съ хохотомъ:

— Вы лѣшій!

Викторъ Потапычъ отшутился:

— А вы русалка.

— Вы подсматривали за мной?—торопливо спросила она, и разсерженное лицо ея приблизилось къ лицу Плѣнина.

Оба они остановились.

— Я увидѣлъ васъ,—и сейчасъ-же отошелъ...

Гнѣвъ ея исчезъ, она равнодушно промолвила:

— Мужчины всѣ безсовѣстные.

Затѣмъ, помолчавъ, она сказала:

— Возьмите ягоды?

— Лучше вы сами принесите... Напьемтесь чаю... Пойдемте! Здѣсь недалеко!

— Хорошо,—отвѣчала дѣвушка.—Мнѣ все равно... Я вамъ должна.

— Я вѣдь не одинъ на хуторѣ,—нашелъ почему-то нужнымъ заявить Викторъ Потапычъ.—Мнѣ прислуживаетъ Марѳа.

Они свернули въ сторону. Сухія сосновыя иглы трещали подъ ногой. Стройныя

деревья слабо раскачивались. Сверху лился свѣтъ. Стояла тишина, но странная лѣсная тишина. Прислушаешься — и въ ней поютъ, звенятъ и гремятъ тысячи разныхъ голосовъ. Дѣвушка вздохнула.

—Теперь лѣто, а потомъ будетъ зима,— начала она задумчиво, точно сама съ собою говорила.—И всѣ листья улетятъ. Вы зимой тоже будете здѣсь жить?

Плѣнинъ смутился.

— Я только на лѣто. Признаюсь, я вѣдь для того, чтобъ съ вами чаще встрѣчаться,—заговорилъ онъ, и лицо его вспыхнуло. — А то я всегда въ городѣ живу.

Она не обратила вниманія на его признаніе.

— А вы знаете, я такъ козы и не купила...—сказала она.

— Мало взяли денегъ...

— Не то!—вскричала она.—Я солгала отцу, по вашему совѣту, будто нашла деньги, а онъ схватилъ и разорвалъ бумажку зубами на мелкіе клочки и заплакалъ... Онъ подумалъ, что я украла!

Она обратила къ Плѣнину лицо, и го-

рестное выраженіе застыло въ ея губахъ и плачущемъ подбородкѣ.

— Ребенокъ!—проговорилъ Плѣнинъ.— Отецъ неправъ, и совѣсть ваша чиста. Стоитъ-ли огорчаться?

Горестное выраженіе смѣнилось равнодушнымъ, какъ и въ тотъ разъ.

— Да, пожалуй, — сказала она. — Я чиста!

Они пришли. Старый, красной мѣди самоваръ шумѣлъ на дубовомъ столѣ и наполнялъ свѣтелку бѣлымъ паромъ. Марѳа перемывала чашки. Увидѣвъ постояльца, она осклабилась, а при взглядѣ на дѣвушку сдѣлала печальное лицо и съ соболѣзнованіемъ подперла рукой щеку. Она много разъ встрѣчала ее въ лѣсу, всегда въ цвѣтахъ, съ непокрытой головой. Она слышала, какъ та передразниваетъ птицъ и поетъ—то иволгой, те зальется малиновкой, то́ зазвенитъ какъ жаворонокъ. Теперь въ ушахъ дѣвушки были бѣлые цвѣты, и роса на нихъ не успѣла еще просохнуть, черные необычайной густоты волосы гривой лежали на стройныхъ пле-

чахъ, спутываясь и свиваясь во влажныя кольца. Марѳа заговорила съ Любовью какъ съ больной или какъ съ блаженной. Дѣвушка смѣялась, высыпая на столъ ягоды.

— Мнѣ жаль, что я теперь даромъ двѣ недѣли, по крайней мѣрѣ, буду трудиться для васъ...

— Зачѣмъ-же даромъ? — подхватилъ Плѣнинъ, подвигая ей чашку:—я не допущу этого. Приносите ягоды каждый день. Сюда вамъ ближе, чѣмъ на рынокъ. Берите, сколько вамъ надо, денегъ. Берите всѣ. Ради Бога, не церемоньтесь и не подозрѣвайте меня ни въ чемъ дурномъ. Я просто люблю васъ, какъ... чудный поэтическій сонъ... Не смѣйтесь. Я благословляю встрѣчу съ вами! Какая скучная, пошлая жизнь у меня, еслибъ вы знали! Какъ я одинокъ! Но сдѣлайте одолженіе, кушайте чай. И вотъ сливки, хлѣбъ... Пожалѣйте меня,—продолжалъ онъ, подсаживаясь къ дѣвушкѣ:—и если можете, если не очень я противенъ вамъ, сдружитесь со мной.

— Вы уродъ, перебила его дѣвушка разсмѣявшись.—Вамъ шестьдесятъ лѣтъ...

Плѣнинъ грустно взглянулъ на нее, облитую солнечнымъ лучомъ, лучезарно улыбавшуюся, точно вся она была изъ свѣта, и произнесъ:

— Нѣтъ, мнѣ тридцать семь. Но не въ этомъ вопросъ. А впрочемъ извините, что я началъ такой разговоръ...

— Сегодня вы скучный, а тогда были веселѣй... Тогда я подумала: «Ахъ, какой веселый и любезный старичекъ!» Ну, нѣтъ, не старичекъ, вы молоденькій и, въ самомъ дѣлѣ, глаза мнѣ ваши нравятся... И мнѣ еще нравится, что у васъ такія толстыя плечи!

Плѣнинъ улыбнулся. Она слегка дотронулась до его руки своими длинными пальцами, и что-то безконечно милое задрожало въ углахъ ея губъ. Сердце его точно оборвалось, онъ не могъ сдержать радостнаго вздоха.

VII

Дни мелькали, чудные, іюньскіе, безоблачные дни, и жизнь проходила, какъ сонъ.

Недѣля прошла.

Однажды вечеромъ, когда погасало солнце, Викторъ Потапычъ, провожая Любовь изъ лѣса, взялъ ее за руку. Она не отняла руки. Отъ руки онъ перешелъ къ стану.

— Милая! говорилъ онъ, идя съ нею по опушкѣ:—жизнь моя ничтожна, но отъ васъ зависитъ скрасить ее и наполнить счастіемъ... Вы постоянно говорите, что не понимаете меня... Да вѣдь это не умомъ понимается, а сердцемъ. Вотъ вдругъ, тутъ, сожмется что-то, загорится, заноетъ—все становится понятно.

Но сердце дѣвушки билось ровно; остановившись, она большими наивными глазами смотрѣла въ его глаза, искрившіеся страстью.

— За ласку, за мигъ участья,—продолжалъ Плѣнинъ, точно въ чаду: — я все

отдалъ-бы вамъ... Богъ васъ знаетъ, кто вы... Загадка какая-то... Но я жить не могу, я съ ума схожу, когда не вижу васъ. Что вамъ надо, дитя мое, слышите? Скажите, прошу васъ! Жизнь вамъ мою надо—я и жизнь отдамъ! Денегъ, платья дорогія, браслеты... Что вы любите?

Онъ раскраснѣлся, ей стало страшно. Она сказала:

— Пустите меня.

— Не пущу! прошепталъ онъ, привлекая ее къ себѣ.

Спокойный ясный вечеръ медленно гасъ. Таяли чуть замѣтныя облака; и янтарно-лиловыя деревья, легкія и прозрачныя, точно сгорали вдали въ этой ласковой атмосферѣ, золотыми струями переливавшейся въ розовомъ небѣ, мѣстами уже сумрачномъ. Раздражающе запахли цвѣты.

— Любовь! Довѣрьтесь мнѣ, полюбите меня! — какъ сумашедшій говорилъ Плѣнинъ, сжимая станъ дѣвушки.

— За что? спросила она.

— За то, что я васъ люблю дикую, глупую, отвѣчалъ онъ съ тоской.—Вѣдь вы

глупая, а я васъ люблю. Я боготворю васъ. Вы бродяжка, а я за васъ жизнью готовъ пожертвовать. Видите, у меня слезы текутъ! Полюбите-же меня за эту безмѣрную любовь, за то, что я самъ теперь глупѣе васъ въ тысячу и мильонъ разъ...

Она разсмѣялась и съ странной улыбкой взглянула на него—дерзкой, манящей, слегка раскосивъ глаза. Она молчала и, кажется, грудь ея стала дышать чаще.

Плѣнинъ приникъ къ ея рукѣ. Но вдругъ она всхлипнула, и въ нѣсколько прыжковъ исчезла межъ кустами. Онъ съ испугомъ смотрѣлъ ей вслѣдъ. Она исчезла, какъ исчезаетъ милый образъ во снѣ; проснувшись, тщетно смотришь кругомъ сонными глазами и ловишь его въ объятіе: его нѣтъ.

Пустынно догоралъ волшебный вечеръ и хмуро молчали сосны, когда Викторъ Потапычъ возвращался къ себѣ, самъ-другъ съ своей нераздѣленной страстью.

Онъ думалъ:

— «Придетъ-ли она завтра? Она ужъ нѣсколько разъ убѣгала этакъ, но сегодня

она заплакала... Придетъ, придетъ!» утѣшалъ онъ себя, большими шагами мѣряя колеблющійся полъ свѣтелки.

И первый разъ за все это время ему стало скучно. Онъ скверно спалъ и поздно всталъ. Онъ глянулъ на окно, на столъ: обычной корзинки съ ягодами нѣ было.

Онъ ждалъ весь этотъ день, и слѣдующій, и еще день. А Любови все не было.

Онъ ломалъ руки, ходилъ по лѣсу, по всѣмъ его закоулкамъ, двадцать разъ побывалъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ росла малина, бродилъ вдоль ручья, съ замираніемъ сердца прислушиваясь къ лепету воды, — сталъ мало ѣсть... Онъ похудѣлъ еще сильнѣе. Дѣвушки не было.

Онъ не спалъ по ночамъ, придумывалъ планы новой жизни, давалъ мысленно клятвы бросить службу и Надежду Васьевну и исключительно посвятить себя милой дѣвушкѣ, которой все не было.

Съ тоскою смотрѣлъ онъ на звѣзды, и ему казалось, что это не звѣзды, а слезы. Онъ такъ скорбѣлъ, что иногда плакалъ,

какъ влюбленный мальчикъ, или какъ поэтъ. Онъ забирался въ глушь въ самый разгаръ полдня, и, лежа подъ деревомъ, мечталъ о странной дѣвушкѣ, съ которой онъ будто живетъ гдѣ-то далеко, далеко, въ такомъ же лѣсу, и вѣчно глядитъ ей въ глаза и цѣлуетъ ея волосы. И, наконецъ, онъ почувствовалъ, что боленъ: порою ему ясно мерещилась эта дѣвушка. Она дразнила его, скрываясь за деревьями, пѣла, или купалась, не стыдясь его, а когда онъ подходилъ, она ныряла и исчезала въ водѣ, остававшейся, однако, странно спокойною. Ночью, при лунномъ свѣтѣ, всюду видѣлъ онъ ея свѣтлое платье, и граціозная фигура ея легко, какъ духъ, носилась тамъ и сямъ въ серебряномъ сумракѣ, и тихій музыкальный шопотъ ея голоса оживлялъ сонный лѣсъ.

Едва забывался онъ, какъ ужъ являлось ему капризное видѣнье, неуловимое, съ сладострастными губами, со слезами на глазахъ, съ насмѣшливымъ словомъ, видѣнье все въ цвѣтахъ. Просыпаясь, онъ погружался въ томное раздумье.

VIII.

Когда, чрезъ нѣсколько дней, онъ встрѣтилъ Любовь на томъ мѣстѣ, гдѣ разстался съ нею въ послѣдній разъ, онъ подумалъ сначала, что это не она, а другая какая-нибудь дѣвушка. Онъ уже привыкъ не видѣть ее. И грезой онъ не могъ назвать эту женскую фигуру. Видѣнія его были мимолетны, какъ мысли, и неясны, какъ полосы луннаго свѣта въ лѣсу. А фигура эта стояла неподвижно. Руки были задумчиво опущены и глаза не смотрѣли, вѣтеръ развѣвалъ ея платье.

«Это она, Любовь!» чуть не закричалъ Плѣнинъ и бросился къ ней.

Она слегка повернула голову и какъ-то сверху взглянула на него.

— Вы не сердитесь на меня ни за что? спросилъ онъ, снимая шляпу.—Не сердитесь, не сердитесь! Я виноватъ и наказанъ уже. Я измучился безъ васъ... какая жестокость!

Онъ хотѣлъ взять ее за руку, но она

не замѣтила его движенія. Онъ заглянулъ ей въ глаза.

— Что съ вами?

Она молчала.

— Что вы подѣлывали все это время? Вы были больны? Вы какъ-то похудѣли... Ахъ, отчего у васъ такія губки! Не отворачивайтесь, пожалуйста! Я ничего съ ними не сдѣлаю! Я только смотрѣть на нихъ буду...

И онъ смотрѣлъ на ея губы.

Въ груди его бились жилы, сердце стучало. Въ немъ проснулся звѣрь. Съ висковъ его скатились двѣ капли пота, хоть жарко не было. Кругомъ ни души живой. Вдали за равниной въ туманѣ рисовался городъ съ своими церквами и еще спалъ, потому что было раннее утро. Деревья уныло шумѣли, а по сѣренькому небу мчались дождевыя тучи.

— Любовь, сказалъ онъ: — теперь не убѣгай отъ меня. Если уйдешь, я застрѣлюсь!

— Нѣтъ, вы не застрѣлитесь, проговорила она и улыбнулась.

Глаза ея осмыслились, все лицо загорѣлось румянцемъ.

— Значитъ, миръ? спросилъ онъ.

Она кивнула головой и прошептала:

— Мнѣ васъ жалко.

Плѣнинъ поцѣлуями покрылъ ея руки.

— Прежде всего, не бойся меня, страстно заговорилъ онъ.—Я тебя люблю.

— Я дура.

— Не говори такъ и прости меня за то, что я назвалъ тебя тогда глупою. Красота выше ума. Я вотъ молюсь на тебя. Это я дуракъ, что позволилъ себѣ сказать тебѣ дерзость. Я обниму тебя, не стыдись... О, какой я счастливый человѣкъ.

Дѣвушка потупилась и тяжело дышала.

— Дай мнѣ свои губы... Никто не увидитъ!...

Прозвучалъ поцѣлуй.

— Ахъ, что вы!...

Она рванулась, и онъ не удержалъ ее. Она побѣжала по равнинѣ, и онъ смотрѣлъ на нее безумнымъ взглядомъ, судорожно сжавъ ружье. Но вотъ она остановилась,

издали бросила въ него цвѣткомъ, послала ему воздушный поцѣлуй и снова побѣжала. Онъ кинулся за ней.

Онъ нагналъ ее на вершинѣ песчанаго холма. Онъ задыхался. Она упала среди кустовъ можевельника, на песокъ. Глаза ея наполнились слезами, она закрыла ихъ рукой...

. . . . . .

IX

Когда Плѣнинъ остался на курганѣ одинъ, ему показалось, что съ нимъ былъ продолжительный обморокъ. Въ ушахъ звенѣло. Солнце выглянуло и несносно пекло изъ-за тучъ. Плѣнинъ поднялъ голову, и ужасъ охватилъ его. Прямо виднѣлся откосъ, на которомъ онъ бывало сиживалъ, а на откосѣ стоялъ управляющій—онъ ясно различилъ его — и смотрѣлъ въ бинокль. Возлѣ стояла высокая дама и тоже держала бинокль у глазъ. Викторъ Потапычъ поползъ на четверенькахъ и скрылся въ кустахъ.

Сейчасъ онъ трепеталъ отъ страсти, теперь онъ зубъ-на-зубъ не попадалъ отъ трусливаго чувства, которое, какъ гадина, закопошилось въ его опустѣвшемъ сердцѣ.

— Сегодня срокъ отпуска! — внезапно вспомнилъ онъ, и холодный потъ выступилъ у него на лбу. — Хорошъ, нечего сказать! Разумѣется, онъ прогонитъ меня. Онъ все долженъ былъ видѣть. И онъ видѣлъ, какъ я бѣжалъ за нею... Господи! Позоръ!

Ему стало нестерпимо стыдно, онъ заплакалъ.

— Чего добился? Еще, пожалуй, эта Любовь сумашедшая, и тогда совсѣмъ скандалъ!... Затмѣніе какое-то... Каково будетъ объясняться?... Вѣдь я женатъ, вѣдь мнѣ не двадцать лѣтъ!

Онъ осторожно раздвинулъ кусты, чтобъ еще разъ увидѣть управляющаго; но тотъ вмѣстѣ съ дамой ушелъ.

Плѣнинъ поднялся и хотѣлъ спуститься съ кургана. Лѣвѣе откоса бѣлѣлъ домъ на возвышеніи и смотрѣлъ на него двумя окнами, точно двумя широко раскрытыми

глазами. Изъ этихъ оконъ можно было видѣть его даже безъ бинокля. Онъ въ страхѣ присѣлъ и опять поползъ въ кусты.

Онъ провелъ такъ на курганѣ до самаго вечера. Это была пытка, горше которой онъ не могъ себѣ представить. Всюду мерещились ему любопытные взгляды, которые пронизывали скудную листву и насмѣшливо смотрѣли на него. Казалось, половина города знаетъ, что на этомъ курганѣ скрывается Викторъ Потапычъ; публика, ошалѣвъ отъ скуки, взобралась на крыши ближайшихъ домовъ, на колокольни, вооружилась подзорными трубками и наслаждается позоромъ его. Хоть-бы дождь пошелъ! Но дождь, какъ нарочно, не шелъ. Викторъ Потапычъ посвистывалъ, устремляя глаза въ даль,— надѣясь, что если смотрятъ на него, то, покрайней мѣрѣ, не увидятъ, какъ онъ терзается. Вдругъ съ зубовнымъ скрежетомъ онъ опускалъ кулакъ на землю или рылъ каблукомъ яму въ пескѣ, задыхаясь отъ безсильныхъ слезъ. Пусть смотрятъ на него, пусть хохочутъ надъ нимъ. Онъ.

какъ Фаустъ, захотѣлъ молодости, и вотъ какою цѣною купилъ онъ минутное счастье! Онъ рвалъ на себѣ рубаху, и пѣна показалась на его губахъ.

Эти вспышки отчаянья скоро проходили и уступали мѣсто блѣдной, смертельной, подлой трусости. Не ручаясь за себя, онъ разсыпалъ порохъ, разрядилъ ружье. Приходила ему мысль о Надеждѣ Власьевнѣ. Но—странно—онъ меньше всего боялся ея. Въ немъ зрѣло желанье загладить предъ ней свое поведеніе, стать примѣрнымъ мужемъ, если все обойдется благополучно. Но говорилъ онъ себѣ это и думалъ—не ради Надежды Власьевны, а ради себя самого и своего спокойствія. Къ тому-же, въ сравненіи съ огромнымъ скандаломъ, который ожидалъ его, ссоры съ женой представлялись ему ничтожными, какъ ничтожны были наряду съ инквизиціонными пытками страданія отъ какихъ-нибудь надоѣдливыхъ мухъ. Плѣнинъ за счастье освободиться отъ страха, отъ котораго онъ такъ позорно дрожалъ, готовъ былъ-бы вѣчно жить съ глазу на глазъ съ

Надеждой Власьевной, вѣчно слушать ея упреки и жалобы, вѣчно умирать отъ скуки и не надѣяться на лучшую долю.

Порою онъ сознавалъ нелѣпость своего страха и все-таки не могъ отдѣлаться отъ него. Страхъ вслѣдъ затѣмъ еще сильнѣе, еще постыднѣе угнеталъ его. И, по мѣрѣ того, какъ проходилъ день съ ужасающей медлительностью, и городъ то оживлялся, то впадалъ въ дрему,—страхъ все росъ, точно на Виктора Потапыча смотрѣли не два, не четыре глаза, не тысяча, а десять тысячъ, сто тысячъ, милліонъ глазъ, мучительно-насмѣшливыхъ, смотрѣли со всѣхъ точекъ горизонта и предавали его посрамленію.

Онъ ждалъ вечера. Когда спустились сумерки, онъ вышелъ на лугъ, но подвигался—какъ воръ, боясь ночныхъ тѣней...

X

Съ утра Викторъ Потапычъ явился на службу. Онъ призвалъ все свое мужество. У него былъ суровый видъ, когда онъ жалъ

руку сослуживцамъ. И подъ предлогомъ накопившейся массы дѣлъ, онъ не сталъ отвѣчать на вопросы, куда онъ ѣздилъ, какъ проводилъ время, доволенъ-ли поѣздкой. Глядя изъ-подъ дымчатыхъ очковъ,—которыя онъ надѣлъ, потому что у него вдругъ заболѣли глаза,—на чиновниковъ, Плѣнинъ замѣчалъ, что они какъ-то особенно и значительно посматриваютъ на него. Это страшно тревожило его. Онъ сталъ писать, и перо прыгало въ его рукѣ, какъ у пьяницы. Старшій ревизоръ подошелъ къ нему и, прищурившись, погрозилъ пальцемъ. Викторъ Потапычъ такъ и обмеръ.

— Что такое?

— Ничего! Вотъ придетъ управляющій—узнаете.

— И какъ это вы, Викторъ Потапычъ, обдѣлали все такимъ манеромъ, сказалъ бухгалтеръ: — даже удивительно! Я отъ васъ не ожидалъ. Вы либералъ, вамъ бы, знаете, не къ лицу...

Плѣнинъ сидѣлъ блѣдный, уничтоженный; перо сильнѣе запрыгало по бумагѣ.

— Это показалось управляющему, пропз-

несъ онъ съ напряженной улыбкой.—Иллюзія... Обманъ чувствъ... Я былъ далеко отсюда, въ глухой мѣстности... Но простите, господа! Бездна бумагъ... Некогда.

Громкимъ смѣхомъ встрѣтили чиновники эти слова. Со лба секретаря на бумагу упала капля пота.

Вошелъ управляющій. Подчиненные низко поклонились начальнику и ниже всѣхъ Плѣнинъ. Управляющій сказалъ ему своимъ ломанымъ языкомъ:

— Радъ, что вижу васъ. У меня есть къ вамъ немножечко дѣла. Приходите въ мой кабинетъ.

Викторъ Потапычъ хотѣлъ встать и не могъ. Колѣни не разгибались, холодъ бѣжалъ по спинѣ. Однако, онъ преодолѣлъ себя и, оправивъ жилетъ, вошелъ въ комнату начальника, точно въ застѣнокъ.

— Вотъ бумага изъ департамента...

Плѣнинъ взялъ бумагу дрожащими руками и прочиталъ. Онъ сначала видѣлъ только свою фамилію, подчеркнутую красивою черною линіею. Затѣмъ онъ понялъ, что получилъ Анну третьей степени. Изъ-

подъ его очковъ побѣжали двѣ слезы. Управляющій былъ тронутъ и, чтобы не выдать предъ подчиненнымъ охватившаго его мягкую нѣмецкую душу умиленія, закрылся вѣдомостью.

Плѣнина поздравляли, онъ долженъ былъ пригласить товарищей въ гостиницу и поставить имъ двѣ бутылки шампанскаго. Глаза его перестали мало-по-малу болѣть, и онъ въ тотъ же день снялъ свои дымчатыя стекла.

И жизнь потянулась обычнымъ порядкомъ. Онъ акуратно ходилъ на службу, писалъ циркуляры, восхищавшіе начальника, обѣдалъ всегда дома, ссорился и мирился съ Надеждой Власьевной, бывалъ съ нею въ гостяхъ, въ театрѣ, или попрежнему скучалъ. Онъ быстро сѣдѣлъ, желтѣлъ. Воспоминанія о мгновенно вспыхнувшей и пролетѣвшей любви пугали его, и онъ старался не думать о странной прекрасной дѣвушкѣ.

Гдѣ она? Что съ нею? Въ самомъ дѣлѣ, не сонъ-ли привидѣлся Виктору Потаповичу?

Сентябрь, 1884.

ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

О. І. Климовичъ

I

Почтовая кибитка поднялась по крутому косогору, влекомая парою большихъ, старыхъ лошадей. Звенѣлъ колокольчикъ. Красивая женщина лѣтъ двадцати-семи сидѣла въ кибиткѣ. Она была въ сѣромъ полотняномъ ватерпруфѣ.

Она съ любопытствомъ смотрѣла на дома, двумя рядами высившіеся по обѣимъ сторонамъ шоссе. Дома были знакомы ей. Но губернскій городъ производилъ впечатлѣніе необитаемаго.

Нѣкоторое оживленіе стало замѣтно, когда кибитка очутилась на Базарной улицѣ. Было около пяти часовъ вечера, и по кривымъ, узкимъ тротуарамъ лѣниво по-

*

двигался народъ. Дамы въ прошлогднихъ модахъ, молодые люди въ матерчатыхъ перчаткахъ и съ тросточками, евреи въ ластиковыхъ сюртукахъ, ихъ жены въ шелковыхъ платьяхъ и бархатныхъ пальто, — все это шло «въ проходку», какъ выражаются провинціалы. Пріѣзжая вспомнила, что сегодня праздникъ и, кромѣ того, «шабашъ» — суббота.

Нѣсколько лѣтъ не была она въ городѣ. За это время городъ успѣлъ прославиться, и о немъ повременамъ говорилось въ печати. Однажды онъ обратилъ на себя вниманіе тѣмъ, что голова его не отправился къ новому губернатору съ визитомъ. Либеральныя газеты превозносили мужественнаго голову. Въ другой разъ мѣстный полиціймейстеръ посадилъ въ кутузку мироваго судью. Консервативныя газеты кричали по этому поводу, что власть начинаетъ, слава Богу, становиться на ноги. Еще разъ прогремѣлъ городъ, когда загорѣлся скандальный процессъ губернскаго предводителя дворянства, совершившаго тьму растратъ и подлоговъ. Пи-

сали о докторѣ Шаршмидтѣ, открывшемъ первую гласную кассу ссудъ. Корреспондентъ, чуткій ко всему, что знаменуетъ собою прогрессъ, радовался, что мѣстные жители избавились, наконецъ, отъ язвы тайнаго ростовщичества. «Мы вступили въ новую эру», объявлялъ онъ съ гордостью. Въ послѣдній разъ о городѣ упоминалось по поводу многочисленныхъ случаевъ самоубійства между молодыми людьми. Въ гостинницѣ, въ номерѣ, застрѣлились гимназистъ и гимназистка, которымъ родители не позволяли вѣнчаться, застрѣлился прапорщикъ, на котораго накричалъ генералъ, повѣсился чиновникъ Иванъ Иванычъ Чуфринъ.

Но, не смотря на извѣстность свою, свидѣтельствующую повидимому о кое-какой жизни, городъ нисколько не измѣнился за этотъ промежутокъ времени въ наружномъ отношеніи. Тѣ-же магазины, тѣ-же облѣзлые тополи, тѣ-же невзрачные, сонные дома, та-же пыль. Вывѣска на земской управѣ, сверкавшая когда-то гордо и хвастливо, осыпалась, потемнѣла, и съ не-

доумѣніемъ смотритъ на нее заѣзжій человѣкъ и читаетъ: «....кая управа»?

Почтовая станція находилась въ центрѣ города, противъ бульвара. Къ серединѣ лѣта деревья здѣсь почти усыхаютъ. А такъ какъ былъ августъ на исходѣ, то бульваръ совсѣмъ не представлялъ изъ себя ничего интереснаго. По немъ бродили коровы.

Пріѣзжая глядѣла на бульваръ, и ей казалось, что пятнадцать лѣтъ тому назадъ онъ былъ привѣтливѣе. Въ ея умѣ мелькнуло воспоминанье о томъ далекомъ прошломъ. Только-что распустилась верба, склоны холмовъ обнажились отъ снѣга. Въ весеннемъ, тепломъ небѣ горѣли крупныя звѣзды; на землѣ онѣ дрожали въ тихихъ лужахъ. Этотъ огромный четырехугольный соборъ, что направо, торжественно и ласково гудѣлъ своими колоколами. Она, въ сопровожденіи старухи Антипьевны, шла съ маленькой своей сестрой слушать «Дѣянія», и сердце ея ныло невыразимо сладко. Ровно въ двѣнадцать часовъ воскреснетъ Христосъ, радостно

станутъ пѣть на клиросахъ, на бульварѣ зажгутъ смоляныя бочки, она вернется домой и скажетъ: «Христосъ воскресе, maman!» Она пришла въ соборъ съ твердымъ намѣреніемъ молиться и быть солидной. Антипьевна повела дѣтей на хоры. Но тутъ имъ стало ужасно смѣшно, и они хохотали на всю церковь, хоть и закрывали ротъ рукой. И сильнѣе сестры, трепеща какъ въ лихорадкѣ, хохотала она—старшая, къ ужасу Антипьевны. То былъ счастливый смѣхъ, ликовало дѣтское сердце! Смѣхъ никогда больше не повторился.

Кибитка остановилась. Невольно вздохнула молодая женщина, оставшись одна въ комнатѣ почтовой станціи. Изъ окна виднѣлся все тотъ-же соборъ, незыблемый, какъ скала.

II

Станціонный смотритель вѣжливо вошелъ въ комнату и, поглаживая сѣденькіе височки, сказалъ:

— Сударыня, позвольте узнать—вы не Лизавета Павловна Лоскотина?

— Да.

— Вашъ дѣдушка былъ моимъ благодѣтелемъ, воспиталъ меня и въ люди вывелъ, да и покойная маменька ваша, Нина Сергѣевна, царствіе ей небесное, не оставляла меня своими благодѣяніями.

Онъ любезно вздохнулъ.

— Бывало, и курочку пришлютъ, и поросеночка къ празднику, и мучки мѣшокъ... Помните меня?

— Извините, пожалуйста...

— Ну, да гдѣ-же вамъ! Давно это было! А я вотъ сразу узналъ васъ, даромъ, что безъ подорожной. Встарину все по подорожнымъ ѣздили, а теперь, какъ пошли желѣзныя дороги, то стали ѣздить безъ подорожныхъ. Я знаю васъ еще этакой...

Онъ показалъ рукой.

— Что-жь, Лизавета Павловна,—захотѣли городъ нашъ посѣтить? Гдѣ вы изволите жить теперь? Простите меня, стараго болтуна, но только мнѣ очень любопытно.

Онъ сѣлъ на кончикъ стула. Ей неловко было отмалчиваться. Старичекъ, можетъ быть, былъ единственнымъ существомъ въ городѣ, способнымъ встрѣтить ее съ такимъ радушіемъ. Съ другой стороны, она была нерасположена говорить о себѣ. Она сказала:

— Не знаю, какъ и благодарить васъ за участіе. Но я ужасно устала. Я хотѣла лечь...

Смотритель подобострастно кивнулъ головой. Но онъ не уходилъ. Быстрые глазки его разбѣгались во всѣ стороны. Онъ замѣтилъ, что волоса Лизаветы Павловны причесаны по старомодному, что чемоданъ у ней маленькій, съ стальными и мѣдными пуговицами, что она въ перчаткахъ.

— Должно быть, не надолго? — вѣжливо спросилъ онъ и сладко сощурилъ глазки.

— Нѣтъ.

— Повидать кого?

— И повидать, и дѣло есть... Прошу васъ извинить меня...

— Ничего, ничего!—обязательно произнесъ старичекъ.

— Я ужъ вамъ сказала, что хочу отдохнуть,—нѣсколько сухо замѣтила Лоскотина.

— А какъ-же! Я вамъ подушку принесу! Отдохните. Гдѣ-жь Фаня, ваша сестрица? Замужемъ или такъ? Про Марью Павловну я не спрашиваю... Мы тутъ много объ ней горевали... И какъ это угораздило ее!? Вовлекли, разумѣется. Мигилизмъ! А вотъ насчетъ Фани... Боже мой, какая была дѣвица, — и изъ себя пригожая, и бойкая!

— Она замужемъ.

— Слава Богу. За кѣмъ?

— За однимъ докторомъ.

— Ахъ, отлично! Въ Петербургѣ и вышла?

— Въ Петербургѣ.

— Ахъ, чудесно! Скажите, пожалуйста, Лизавета Павловна, чѣмъ-же вы занимаетесь? Все по прежнему?

Лизавета Павловна молча распаковала чемоданъ, и смотритель увидѣлъ, что въ

немъ нѣтъ ничего, кромѣ бѣлья, и чернаго платья. Вынувъ оттуда простыню. Лизавета Павловна обернула ею свою дорожную подушку. Она. хлопотала возлѣ дивана, и ей, въ самомъ дѣлѣ, хотѣлось прилечь.

Смотритель поднялся съ мѣста.

— А мужики, которымъ вы землю пожертвовали, теперь первые пьяницы въ уѣздѣ, — сообщилъ онъ съ насмѣшкой. — Подушку я вамъ сейчасъ принесу...

— Не трудитесь, не надо.

— Первые воры, первые негодяи...— продолжалъ старичекъ. — Это вы сдѣлали ошибку, Лизавета Павловна, съ сестрицей вашей Марьей Павловной. Добрыя вы очень, въ родителей, но только надо знать, кому благодѣтельствуешь.

Онъ улыбнулся, низко поклонился и, извинившись, вышелъ. Лизавета Павловна пристально посмотрѣла ему вслѣдъ.

Не прошло и получаса и она только-что стала дремать, какъ въ комнату осторожно вошелъ полицейскій надзиратель. Смотритель глядѣлъ въ пріотворенную

дверь, согнувшись и раскрывши ротъ. Лизаветѣ Павловнѣ пришлось показать свои бумаги. Все въ порядкѣ. Она была, какъ всегда, народной учительницей, и пріѣхала на три дня въ городъ, чтобъ чрезъ нотаріуса устроить продажу Лоскотинскаго городскаго дома, находящагося нынѣ въ запустѣніи и принадлежащаго сестрѣ ея Фаничкѣ. Надзиратель разсыпался въ извиненіяхъ, сослался на долгъ службы и удалился. Смотритель сконфузился и больше не появлялся.

III

Домъ Лоскотиныхъ полгода всего ходилъ въ наемъ. Стала протекать крыша, жильцы потребовали ремонта и бросили квартиру. Постепенно домъ лишился желѣзныхъ болтовъ, замковъ, ручекъ у дверей. Сосѣди кругомъ бѣдные, а домъ безъ хозяина, стоитъ на выѣздѣ, одинокій и угрюмый. Нуженъ гвоздь—идутъ въ этотъ домъ. Стекло надо—отправляются въ этотъ

домъ. Ступеньки крыльца сорваны, потому что понадобились доски. Нѣкому заступиться за домъ, и слухъ объ его безпомощности далеко распространяется среди неимущаго населенія города. Передъ домомъ взадъ и впередъ все чаще и чаще прохаживаются нуждающіеся хищники и голоднымъ окомъ посматриваютъ на его огромный остовъ, на которомъ уцѣлѣло еще многое: гвоздей на крышѣ выйдетъ нѣсколько пудовъ; досокъ, которыми обшитъ домъ, не взять на десять возовъ; немало еще цѣлыхъ стеколъ; изъ громадныхъ изразцовыхъ печей можно сложить дюжину печечекъ; ставнями можно чудесно топить, — важно будетъ горѣть сухое дубовое дерево. Словно гигантскій звѣрь околѣлъ и вся мелкота, лѣсная и болотная, которая при жизни и подходить близко къ нему боялась, вылѣзла изъ своихъ норъ и растаскиваетъ по клочку, по кусочку, по крупинкѣ, кто сколько можетъ, останки звѣря. Воронъ выклевываетъ глаза, волкъ пожираетъ мясо, гіена выматываетъ внутренности. Близокъ день,

когда отъ покойника останутся только обглоданныя кости.

Лизавета Павловна ужаснулась, увидѣвши свое родное гнѣздо. Соображенія нотаріуса о томъ, сколько можно просить за домъ и за сколько его продать, показались ей снисходительными. Это было утромъ, часовъ въ одиннадцать. Солнце ярко свѣтило, и еще безобразнѣе и угрюмѣе былъ домъ при этомъ освѣщеніи. Одни тополи зеленѣли, мощные и бодрые, какъ тѣ деревья, что растутъ на кладбищахъ.

IV

Скоро покончила Лизавета Павловна съ нотаріусомъ—скорѣе, чѣмъ разсчитывала. Ей хотѣлось уѣхать изъ города, ни съ кѣмъ изъ прежнихъ знакомыхъ не повидавшись. Когда она была въ городѣ пять лѣтъ тому назадъ, бывшіе друзья показались ей чужими людьми; тѣмъ болѣе чужіе они теперь для нея. Они ушли впе-

редъ по своей новой дорогѣ, а она все на одномъ мѣстѣ,—она отстала отъ нихъ и отъ вѣка. Скромная доля сельской учительницы, отдавшей все свое время и всѣ душевныя силы на служеніе «мужику», сѣющей доброе сѣмя и терпѣливо ожидающей новыхъ всходовъ, не прибѣгающей къ эффектамъ и громкимъ словамъ, не требующей ничего лично для себя, никакого благополучія, и въ любви къ своему просвѣтительному дѣлу нашедшей счастье, — эта доля какъ бѣльмо на глазу у тѣхъ, кто живетъ исключительно для себя, пошлымъ существованіемъ... Еслибъ она и пришла, ее примутъ сухо, въ особенности послѣ этой мрачной исторіи съ бѣдной, восторженной Мэри, которая предпочла блестящій, страшный подвигъ, стоившій ей жизни, кропотливой, невидной работѣ. Но еслибъ ее встрѣтили и съ распростертыми объятіями, все равно—ей тяжело-бы и противно было.

Но ужъ въ то время, когда чемоданъ былъ застегнутъ и она собиралась въ об-

ратный путь, узнала она отъ нотаріуса, что въ городѣ живутъ Лозовскіе, которые поселились здѣсь въ прошломъ году. Лозовскую ей ужасно захотѣлось обнять, и она пѣшкомъ отправилась къ ней. Лозовская—другое дѣло. О Лозовской она сохранила свѣтлое воспоминаніе... Во всякомъ случаѣ, въ атмосферѣ, которою дышала эта женщина, не угоришь.

Съ Сонечкой Лозовской—прежняя фамилія ея была Свенцицкая—она сидѣла въ гимназіи на одной скамейкѣ и когда-то крѣпко дружила съ ней. У Сонечки была прекрасная наружность, быстро схватывающій умъ, артистическія наклонности. Она и рисовала, и лѣпила, и писала стихи. Художественный инстинктъ подавлялъ въ ней тогда общественный, но Лиза такъ любила Сонечку, что не ставила ей это въ вину. «Служеніе искусству—уже само по себѣ общественное дѣло, говорила она ей. Вы, художественныя натуры, взысканы особою милостью судьбы. Вамъ разрѣшается все. Сонечка, будь знаменита и счастлива! Личное счастье худож-

пика — никому не мозолитъ глазъ». Она шутила, обнимала и цѣловала даровитую подругу и въ то время представляла себѣ ея будущее въ видѣ свѣтлаго, благоуханнаго дня. И Сонечка захотѣла личнаго счастья. Она полюбила своего учителя, Лозовскаго, потомъ Чуфрина, женатаго человѣка, чувствительнаго, но безхарактернаго — такимъ онъ казался, по крайней мѣрѣ; и разыгралась, въ концѣ концовъ, какая-то исторія. Лизы тогда уже не было въ городѣ. До нея дошли неопредѣленные слухи, и она имъ не повѣрила. Сонечку увезъ къ себѣ отецъ и, какъ говорили, ей было очень тяжело у него; такъ-что, когда Лозовскій опять предложилъ ей руку, она вышла за него. Лизавета Павловна думала, что Сонечка все же счастлива.

V

Домъ, въ которомъ жили Лозовскіе, выходилъ на улицу бокомъ, и онъ былъ похожъ на столбъ. Онъ выкрашенъ

въ темный цвѣтъ, крыша на немъ огромная, красная. Заборъ и ворота очень высоки, а окна небольшія, тусклыя. Цѣпная собака, съ налившимися кровью глазами, яростно прыгала и хрипѣла возлѣ своей будки, когда во дворъ вошла Лизавета Павловна, и, кромѣ того, на нее бросилось еще нѣсколько другихъ маленькихъ собаченокъ, съ визгливымъ и задорнымъ лаемъ. Она отмахнулась отъ нихъ зонтикомъ и посмотрѣла кругомъ — не видно-ли кого, чтобъ проводили ее. Изъ кухни на-право выглянула какая-то женщина въ платкѣ, зѣвнула и опять скрылась.

Лизавета Павловна постояла нѣсколько времени и такъ-какъ никто не показывался, то заключила, что ей нечего надѣяться на постороннюю помощь. Помахивая зонтикомъ, она пошла впередъ и взобралась налѣстницу при оглушительномъ лаѣ и брехѣ собакъ.

Цѣпь, на которой прыгалъ большой песъ, мѣрно звякала. Задыхаясь и хрипя, онъ раскачивался на ней, какъ маятникъ,

и все не сводилъ глазъ съ молодой женщины.

Наконецъ, она у дверей, — взялась за ручку и повернула ее. Она вошла въ галерейку и опять увидѣла собаку, но огромную, съ добраго теленка, мохнатую и страшную, которая, однако, даже не заворчала, а продолжала спокойно лежать, сверкнувъ только бѣлками.

У Лизаветы Павловны тревожно забилось сердце. Ей стало досадно, что Лозовскіе такіе собачники.

Тѣмъ не менѣе, она сдѣлала впередъ нѣсколько робкихъ шаговъ. Собака молчитъ. Она подошла къ двери, обитой войлокомъ, и не сводя съ звѣря косаго взгляда—постучала. Собака ни съ мѣста, только плотно прижалась къ полу нижней челюстью. Лизавета Павловна постучала еще, громче. Собака пошевелила хвостомъ, вдругъ широко раскрыла влажную пасть и ловко поймала надоѣдавшую ей муху.

Лизавета Павловна чуть не вскрикнула. Она сейчасъ-же сообразила, что нѣтъ никакой опасности и что собака умная, но

все-таки ей было страшновато, пока настойчивый стукъ ея не былъ услышанъ, и дверь не отворили.

Ее встрѣтила Сонечка и въ полутемной передней не сразу узнала. Но когда онѣ перешли въ гостиную, та бросилась ей на шею и заплакала, а затѣмъ поцѣловала у ней руку.

— Лиза!

Лизавета Павловна была смущена, растрогана и не знала, что сказать. Ей было стыдно, что Сонечка поцѣловала у ней руку. Но, конечно, у Сонечки нервное возбужденіе и вообще она, должно быть, сильно больна. Волоса у ней попрежнему обильные, но потускнѣли, уже не такіе золотые, и лицо пожелтѣло и сильно заострилось.

— Сонечка, дорогая, милая, что съ тобою?—спросила ее Лиза съ испугомъ.

Но потомъ она подумала, что не надо говорить больнымъ: «что съ тобой?» и произнесла:

— Такъ вы сюда переѣхали! А я только-что изъ деревни и уже назадъ ѣду. Я

ужасно обрадовалась, когда мнѣ сказали... Насилу добралась къ тебѣ. Вотъ собакъ у васъ! Это ужасъ! Ты стала любить собакъ? Впрочемъ, этотъ водолазъ чудный...

Она была увѣрена, что огромная, мохнатая собака— любимица Сонечки, и этимъ хотѣла, не оправившись еще отъ своего смущенія и растерявшись отъ странной встрѣчи, сказать подругѣ что-нибудь пріятное.

Но Сонечка вскричала:

— Я ихъ такъ ненавижу!... Это моя стража!

Ея блѣдно-синіе, выцвѣтшіе глаза сверкнули, она закашлялась и прижалась къ Лизѣ.

— Лиза, скорѣе... говори, голубчикъ! Говори... все... сразу! А то онъ придетъ...

Она съ тоской взглянула на часы.

— У него теперь повѣрочные экзамены въ гимназіи. Черезъ часъ, пожалуй, вернется. Говори скорѣе все!

Лиза почувствовала въ груди щемящую боль.

«Бѣдная, что-жь это, въ самомъ дѣлѣ,

съ нею?»—спросила она себя, и взглядъ ея невольно, съ пытливымъ выраженіемъ остановился на подругѣ.

— Ахъ, Лиза!—отвѣчала Сонечка, понявъ этотъ взглядъ.—Да неужели-жь ты ничего не слыхала?

— Слыхала, но, знаешь, я...

— Не вѣрила? какъ-же, какъ-же! Онъ мой благодѣтель! Онъ грѣхъ мой прикрылъ и не можетъ этого забыть. Лиза, онъ великодушенъ! — раздражительно протянула она и опять закашлялась, со слезами на глазахъ.—Говори все!—крикнула она.

Лизавета Павловна, чтобъ угодить ей, торопливо передала свою исторію. Очень сократила ее и многое пропустила. Разсказала между прочимъ, что была учительницей сначала въ одной губерніи, потомъ въ другой, наконецъ добилась мѣста въ этой губерніи. Она учительствуетъ, и только. Вездѣ она встрѣчала наряду съ гоненіемъ сильную поддержку. Всѣ сочувствуютъ народу на словахъ, но и то слава Богу. Главное — создалась, наконецъ, атмосфера, въ которой не чувствуешь оди-

ночества. Незамѣтная, робкая связь существуетъ... О Мэри, которую Сонечка почти и не знала, она промолчала. Да ей и мучительно было-бы говорить о бѣдной Мэри.

Минутъ десять разсказывала она. Сонечка жадно слушала, и на восковомъ лицѣ ея вспыхнулъ двумя пятнами густой румянецъ.

— Ты знаешь,—сказала она ей тихо:— ты первый живой человѣкъ, что я вижу съ того времени. Я даже газетъ не читаю... Ахъ, то время! — вскричала она, сцѣпивъ руки и закинувъ голову въ отчаяніи.—Помнишь, ты разрѣшила мнѣ одной личное счастье. Все погибло,—прошептала она потомъ...—Лиза, будемъ-же говорить! — сказала она черезъ минуту, встрепенувшись. — Будемъ скорѣй говорить... Моя теперь очередь...

Она обняла Лизу и заплакала.

— Нѣтъ, зачѣмъ! — промолвила она сквозь слезы.—Ты уже все знаешь... Моя исторія коротка...

У Лизаветы Павловны задрожали губы,

и она сдѣлала большое усиліе, чтобъ самой не расплакаться.

— Да? По крайней мѣрѣ, догадываешься? Посмотри, какъ я глупа! Никто не виноватъ—я сама въ гробъ легла. И лежу, и терзаюсь... Знаю, что гробъ и что можно сбросить крышку и уйти на свѣтъ Божій, къ живымъ людямъ, а лежу! И буду лежать, пока въ самомъ дѣлѣ не умру. Какъ это, однако, нѣкоторые люди странно устроены! — замѣтила она послѣ паузы, какъ-бы съ удивленіемъ, и вытерла слезы, зловѣще кашлянувъ.—Не правда-ли, Лиза?

— Въ самомъ дѣлѣ, кто тебѣ мѣшаетъ?—серьезно и ласково сказала Лизавета Павловна и взяла ее за руку. — Тебѣ надо въ деревню, на свѣжій воздухъ, на молоко... Поѣдемъ ко мнѣ, въ мою избу. Будешь рисовать до осени, писать, книжки читать, а тамъ поправишься и вмѣстѣ сообразимъ, какъ дальше быть... Что мужъ? Да онъ и слова не посмѣетъ...

— Лиза! — сердито вскричала Сонечка.—Ты его не знаешь! Не знаешь!—безпомощно заключила она

Потомъ махнула рукой и сказала:

— Нѣтъ ужъ, куда!..

Лиза вздохнула.

«Вотъ оно личное счастье!»—подумала она.

— Бываешь гдѣ-нибудь?—спросила Лиза подругу.

— Нигдѣ, — сказала Сонечка. — Онъ ревнивъ до отвращенія и дѣлаетъ сцены. Иванъ Ивановичъ... Чуфринъ, тотъ, кого я любила, не знаю зачѣмъ... Ахъ, неправда, Лиза, я его ужасно любила, осмысленной любовью! Онъ умеръ... Нѣтъ его! А этотъ думаетъ, что я еще могу полюбить... Кого? Иногда онъ самъ упрашиваетъ ѣхать съ нимъ въ гости, но я—низачто!

Она боязливо прислушалась.

На дворѣ звякнула цѣпь.

— Мнѣ всегда кажется, что это моя цѣпь,—прошептала она, поблѣднѣвъ.

И еще прислушалась.

— Это онъ!—молвила она, шепотомъ.—Лиза, это онъ!

Въ галлереѣ, куда изъ гостиной вы-

ходили окна, мелькнула фигура Лозовскаго. Въ передней онъ снялъ пальто и вошелъ въ комнату, окинувъ быстрымъ, подозрительнымъ взглядомъ жену и гостью.

— Кто это?—спросилъ онъ невѣжливо и рѣзко.

Лизавета Павловна хорошо знала его, потому что была его ученицей вмѣстѣ съ Сонечкой, и удивилась перемѣнѣ, какая и съ нимъ произошла за эти годы. Въ его черныхъ волосахъ серебрилось много сѣдины, онъ былъ теперь очень худъ и щеки его ввалились и тоже были желтыя, восковыя, какъ и у Сонечки, а глаза блестѣли тревожно и зло.

— Я Лоскотина,—сказала Лиза, протянувъ ему руку.

— А-а,—проговорилъ онъ сухо:—помню! И много наслышанъ!

И коснувшись ея руки холодными пальцами, опять окинулъ ее и жену подозрительнымъ взглядомъ.

Лизѣ стало неловко. Сонечка сидѣла на краю дивана, выпрямившись, и смотрѣла недовольно въ уголъ. Лозовскій

молча ходилъ по гостиной торопливыми шагами, кусая губы и потирая руки. Такъ въ молчаніи прошло минуты двѣ.

Лиза, какъ-бы продолжая прежній разговоръ, спросила:

— А рисованіе ты совсѣмъ бросила?

— Бросила и отлично сдѣлала,—отвѣтилъ за жену Лозовскій, и въ голосѣ его слышалась враждебная нота.—Скоро фотографію изобрѣтутъ такую, что краски будетъ передавать.

— Вѣдь, ты и лѣпила, Сонечка?

— Подругу пріѣхали провѣдать?—началъ Лозовскій, останавливаясь передъ гостьей. — Такъ вы пожалѣйте ее, коли любите! О прошломъ прошу не говорить. Для нея вредно волноваться... Какая тамъ скульптура!.. Скульптура!..

Онъ зашагалъ.

Лиза вспыхнула. Она сдѣлала движеніе и, должно быть, разразилась-бы рѣчью противъ Лозовскаго, еслибъ не Сонечка, бросившая на нее умоляющій взглядъ. Лиза оборвала себя на полусловѣ.

— Что вы хотѣли, сударыня, сказать?—

опять началъ Лозовскій. — Два слова въ защиту изящныхъ искусствъ? Ха-ха-ха! Это просто изъ рукъ вонъ! Живопись, ваяніе, стихи! А мужъ, позвольте васъ спросить, что такое? Имѣетъ-ли онъ право требовать, чтобы жена шла съ нимъ объ руку, помогала ему, была хозяйкой дома, уважала его вкусы? Я ненавижу пустяки! Трудъ! Въ трудѣ наслажденіе! А захотѣла эстетики—вотъ тебѣ картины! Любуйся!

Онъ указалъ рукой на стѣны. Въ тоненькихъ багетныхъ рамкахъ висѣли олеографіи, изображавшія—одна итальянскаго мальчика, другая дѣвушку, разбившую кувшинъ съ молокомъ.

— А захотѣла скульптуры—вотъ тебѣ и скульптура!

И онъ сдѣлалъ жестъ по направленію къ этажеркѣ, на которой стояли гипсовые Фаустъ и Гретхенъ, пожелтѣвшіе отъ времени.

Лиза хотѣла возразить, но Сонечка сказала:

— Это совершенно вѣрно, Лиза.

Произнесла она эту фразу мертвымъ голосомъ, прямо глядя на Лизу потухшими глазами. Лозовскій слѣдилъ за женой.

— Ну, вотъ видите, таково и ея мнѣніе; у насъ одинаковые взгляды. Пожалуйста, не говорите съ ней о прошломъ, еще разъ прошу васъ. Доктора запретили.

Лизавета Павловна встала и глубокимъ, проникновеннымъ взглядомъ, полнымъ любви и состраданія, посмотрѣла на Сонечку. Та потупилась, нахмуривъ брови.

— Вы хотите уходить? Подождите, я васъ провожу!— сказалъ Лозовскій обрадовавшись.

— Хорошо, еслибъ ты осталась обѣдать,—робко начала Сонечка.—Но такъ-какъ ты спѣшишь...

— Куда, въ деревню? Вы вѣдь учительствуете? Счастливой дороги!—ласково заговорилъ Лозовскій, и Лиза чувствовала, какъ онъ, подавъ ей руку, слегка тащилъ ее къ выходу.

Въ передней Сонечка и Лиза обнялись. Грудь чахоточной женщины потряслась

беззвучнымъ рыданіемъ. Ихъ губы слились въ прощальномъ поцѣлуѣ. Онѣ обнялись еще разъ, но не имѣли силы взглянуть одна на другую и разстались — навсегда.

Ноябрь 1884.

НОВЫЙ ГОДЪ

В. М. Гаршину

Курьерскій поѣздъ шелъ на всѣхъ парахъ по Николаевской дорогѣ. Была темная декабрьская ночь. Съ потолка падалъ на дремлющихъ пассажировъ спокойный свѣтъ шарообразныхъ газовыхъ фонарей, покрытыхъ шелковыми синими чехлами. Мѣрно стучали и звякали колеса вагоновъ.

Въ креслахъ сидѣли старый генералъ въ длинныхъ бѣлыхъ усахъ, молодой, розовенькій офицерикъ, пожилой тучный баринъ изъ степной губерніи, красавица съ томными глазами и въ боа, старуха съ желтымъ лицомъ и клыками наружу, дѣвочка-гимназистка, гимназистъ—сидѣлъ и я.

Всѣ молчали.

То было молчаніе не отъ скуки, не отъ

нетерпѣнія, не отъ того, что спать хочется, не отъ застѣнчивости. То было странное молчаніе, напряженное, само къ себѣ прислушивающееся и тягостное. Дремалось, но въ то-же время чувствовалось, что сна не будетъ. Такое состояніе испытываешь передъ тѣмъ, какъ впасть въ *гипнозъ*. Умъ, повидимому, бодрствуетъ, все видишь, что и другіе видятъ, а между тѣмъ уже какъ-то оцѣпенѣлъ, и ежели захочешь двинуть рукой или ногой, то надо призвать на помощь всю силу воли, да и этого огромнаго усилія бываетъ иногда недостаточно; кошмаръ на яву, что-ли,— не знаю, какъ это назвать. И разумѣется, ритмическое громыханье поѣзда, одно нарушавшее молчаніе глухой ночи, много способствовало тому, что пассажиры погрузились въ этотъ странный столбнякъ, въ это магнетическое усыпленіе.

И не было никакихъ опредѣленныхъ думъ, а были неясныя желанія, которыя быстрыми образами проносились въ душѣ, безслѣдно исчезали и расплывались, какъ тучки въ сумеречномъ небѣ передъ дож-

демъ нависшимъ вдали гнетущей свинцово-синей массой.

Хотя въ вагонѣ было нетемно, и ослабленный шелковыми фонариками свѣтъ позволялъ различать предметы, однако чѣмъ дальше, тѣмъ гуще становились тѣни по угламъ, словно смеркалось. И, право, Рембрандтъ позавидовалъ бы фантастическому освѣщенію, въ какомъ рисовались другъ другу пассажиры. Необычайной нѣжности сѣро-золотистые колера струились вокругъ, сквозили на серебряной мглѣ льющагося въ окна снѣжнаго отсвѣта, и полутѣни мигали чуть-чуть, играя, какъ потускнѣлый радужный налетъ на старинномъ стеклѣ.

Дверца отворилась, и всѣ почему-то подумали:

«Идетъ контролеръ, надо готовить билеты».

Дѣйствительно, впереди показался съ озабоченнымъ лицомъ оберъ-кондукторъ; но онъ не сказалъ: «билеты ваши, господа!»—а только прошелъ по вагону. За нимъ выступалъ господинъ среднихъ лѣтъ,

или скорѣе неопредѣленныхъ, не то старый, не то молодой, съ поношеннымъ лицомъ, въ бородкѣ, какъ на портретахъ Вандика. Онъ дошелъ до половины, сѣлъ на свободное мѣсто, окинулъ насъ усталымъ взглядомъ и сказалъ:

— Я вовсе не контролеръ.

Было удивительно, что незнакомецъ сразу угадалъ нашу мысль; и хоть мы продолжали хранить молчаніе, но онъ угадалъ и наше удивленіе и произнесъ:

— Ничего нѣтъ удивительнаго въ этомъ! Развѣ не слыхали вы о Кумберлэндѣ и Бишопѣ? Эти артисты подержатъ васъ за руку и узнаютъ, какую цифру вы задумали. Не вѣрьте тѣмъ, кто станетъ говорить, будто здѣсь какое-то чудо... Нѣтъ чудесъ въ нашъ прозаическій вѣкъ! Мысль есть движеніе, и въ томъ, что вы думаете, принимаетъ участіе не одинъ головной мозгъ, а вся ваша нервная система. Представите вы себѣ черточку, и рука ваша какъ только вы сосредоточитесь на этомъ представленіи, невольно изобразитъ черточку. Задумали вы кругъ — и она сдѣ-

лаетъ чуть замѣтное круговое движеніе. Задумали фигуру — и фигура будетъ воспроизведена тѣмъ же машинальнымъ путемъ. Кромѣ языка словъ, есть еще языкъ жестовъ и языкъ непроизвольныхъ мышечныхъ движеній. Но никакой Бишонъ не можетъ сравняться со мною въ искусствѣ пониманія этого языка. Я обладаю исключительными способностями. Я могу угадать цѣлыя фразы и хаотическіе обрывки мыслей, мгновенно зарождающихся и мгновенно погасающихъ въ душѣ. Я читаю въ прошломъ человѣка, и отъ меня не могутъ скрыться слѣды впечатлѣній, когда-либо залегшихъ въ человѣчьемъ мозгу, въ самыхъ сокровенныхъ его тайникахъ. Повторяю—нѣтъ чудеснаго во всемъ этомъ. Чудесное—я только самъ.

«Кто же онъ?»—подумали пассажиры, которымъ казалось, что они спятъ, но съ открытыми глазами. Ихъ мозгъ работалъ лѣниво, они сидѣли неподвижно, не шевелясь, какъ восковыя куклы въ музеѣ какого-нибудь Лента вечеромъ, когда публика уже ушла и въ залѣ, освѣщенной

догорающею лампой, воцаряется странное молчаніе.

Фигура незнакомца была изъ самыхъ заурядныхъ. Онъ былъ франтъ, но въ немъ ничего не было особеннаго: всюду, на всемъ земномъ шарѣ должны встрѣчаться такіе господа, космополиты и всечеловѣки, безъ ясно выраженныхъ національныхъ чертъ и безъ признаковъ породы. Но ничего и пошлаго не было въ немъ. Онъ ни разу не остановилъ взгляда,—извѣстнаго взгляда, какимъ смотрятъ мужчины на женщинъ,—на красавицъ въ боа, не съузилъ зрачковъ при видѣ хорошенькой дѣвочки-гимназистки, не сдѣлалъ почтительнаго движенія въ сторону бѣлыхъ усовъ генерала; но и грубости никакой не выкинулъ, а велъ себя непринужденно, какъ дома, или какъ на сценѣ ведетъ себя фокусникъ хорошаго тона.

«Туристъ»,—мысленно отвѣтили мы на свой вопросъ.

— О, да! — молвилъ онъ. — Вы не ошибаетесь! Я путешественникъ! Всю жизнь путешествую я, а живу я страшно долго.

Вѣчный Жидъ — ребенокъ, едва родившійся, въ сравненіи со мною. Я—Время.

Онъ улыбнулся, и, конечно, только наше странное состояніе позволило намъ отнестись къ словамъ незнакомца если не съ довѣріемъ, то во всякомъ случаѣ равнодушно. А у нѣкоторыхъ мелькнула даже мысль: «Что-жъ, возможно».

— Это фактъ, а не одна возможность, произнесъ незнакомецъ. — Философы до сихъ поръ путаютъ въ вопросѣ, что такое время. Но время—вотъ оно предъ вами: состарѣвшійся молодой человѣкъ въ сюртукѣ отъ Сарра. Я совершенно реаленъ, до того, что если меня ущипнуть, я закричу. У меня есть тѣло. Я современное время—матеріалистическое, отрицающее идеалы, презирающее мораль стараго вѣка, плюющее на идоловъ, какъ-бы они ни были прекрасны. Мраморныхъ Венеръ я ужъ не признаю. Я слѣдую модѣ. Когда-то я ходилъ съ косою и поѣдалъ собственныхъ дѣтей. То былъ варварскій періодъ,—онъ смѣнился цивилизаціею. Время больше не глупый голый старикъ. Время —деньги.

Онъ похлопалъ себя по груди. Золотыя монеты зазвенѣли тамъ, словно онъ былъ въ кольчугѣ изъ червонцевъ, и красавица въ боа чуть-чуть подалась къ незнакомцу.

Онъ продолжалъ:

— Впрочемъ, у меня много именъ. Я—Прогрессъ, и отъ меня зависитъ превратить села въ города, кабаки въ училища, мерзавцевъ въ добродѣтельныхъ людей, построить вавилонскія башни, перекинуть мосты черезъ океаны, освѣтить электричествомъ весь земной шаръ, развить промышленность до небывалыхъ размѣровъ, включить чернокожихъ и желтыхъ варваровъ въ семью просвѣщенныхъ народовъ, уничтожить войны, всюду водворить равенство, братство, свободу!

Гимназистъ и гимназистка хотѣли броситься на шею незнакомцу, но непреодолимое оцѣпенѣніе помѣшало осуществленію ихъ порыва.

— Но я и Регрессъ,—продолжалъ незнакомецъ:—и мнѣ также легко на мѣстѣ гордыхъ зданій раскинуть жалкія лачуги,

убить великіе города, разрушить храмы и дворцы, остановить колеса фабрикъ, нанести гибельный ударъ любой промышленности, понизить качество человѣческаго ума, кинуть толпы варваровъ на цивилизованныхъ европейцевъ и какъ мошки тушатъ иногда своими тѣлами костеръ, такъ погасить въ волнахъ этого варварства великое пламя современной культуры.

Генералъ зашевелилъ своими усами, степной помѣщикъ подумалъ о крѣпостномъ правѣ, которое при такихъ порядкахъ могло-бы какъ-нибудь незамѣтно всплыть и снова упрочиться.

— Наконецъ, я Новый Годъ!—все продолжалъ незнакомецъ.—Каждый разъ являюсь я къ людямъ, какъ геній-утѣшитель; они встрѣчаютъ меня кто чѣмъ можетъ—шампанскимъ и сивухой, въ семейномъ кругу и въ клубѣ, въ роскошныхъ палатахъ и въ убогихъ избахъ. Я самая популярная личность въ декабрѣ мѣсяцѣ. И такъ какъ по дорогѣ изъ Москвы въ Петербургъ я воспользовался вашимъ гостепріимствомъ и перевелъ духъ въ этомъ

вагонѣ, то въ благодарность за благосклонное вниманіе, съ какимъ вы слушаете меня, позволю себѣ сдѣлать нѣсколько предсказаній, которыя вполнѣ совпадутъ съ вашими тайными пожеланіями. Не трудитесь объявлять ихъ,—въ силу моего искусства, я знаю ихъ такъ же хорошо, какъ и вы. Начну съ васъ, прелестныя дамы. Сударыня!—обратился онъ къ старухѣ съ клыками:—вамъ семьдесятъ лѣтъ, но въ этомъ году изобрѣтутъ мазь, употребленіе которой возвратитъ вамъ утраченную молодость. Что касается до васъ, красота которой внѣ всякаго сомнѣнія, то побѣды, которыя одержите вы на предстоящихъ балахъ, дадутъ вамъ возможность завести удивительныхъ рысаковъ, и у васъ будетъ столько золота, что даже я позавидую вамъ. Вы, милая дѣвочка, прочтете цѣлый шкафъ книгъ, сдѣлаетесь гораздо умнѣе своей учительницы, не говоря уже о папашѣ и мамашѣ, и—чего-же вамъ больше? Генералу будетъ ввѣрена интендантская часть, и онъ обмундируетъ войска по своему усмотрѣнію. Вы, подпоручикъ, полу-

чите чинъ поручика и будете счастливы въ любви. Помѣщикъ перезаложитъ имѣніе, и выйдетъ законъ, обезпечивающій права дворянства...

Онъ замолчалъ и, заложивъ руки въ карманы, раскачивалъ ногой. Но, замѣтивъ меня, онъ вскочилъ и сѣлъ со мною рядомъ.

— Вамъ я ничего не предсказалъ,—началъ онъ вполголоса.—Вы, поэты, особый народъ. Восторгъ вы умѣете соединять съ холодомъ и также презираете людей, какъ я, потому что также хорошо знаете ихъ. Этотъ пошлый и ничтожный родъ васъ раздражаетъ. Но отъ меня вы отличаетесь тѣмъ, что способны плакать, не находя нигдѣ идеаловъ, которые мерещатся вашему творческому уму, и, часто обманываясь, неспособны обманывать. Нѣтъ ничего легче, какъ ослѣпить людей,—это средство ложь. Каждый годъ я встрѣчаю горячій пріемъ. Неужто вы думаете — скажи я правду старухѣ, что она умретъ черезъ двѣ недѣли, красавицѣ, что новый годъ сулитъ ей морщины, генералу, что

его удалятъ, гимназисту, что онъ не государство разрушитъ, а въ карцерѣ посидитъ, и т. д.—неужели вы думаете, что я былъ-бы такъ же популяренъ и меня встрѣчали-бы съ такимъ-же восторгомъ?..

Я такъ ясно видѣлъ незнакомца, и усталые глаза его такъ реально сверкали, и звукъ его голоса такъ явственно раздавался въ вагонѣ, что ужъ всякое сомнѣніе исчезло на счетъ его личности, и дремлющій мозгъ сталъ соглашаться, что этотъ туристъ, въ самомъ дѣлѣ, Новый Годъ. Мнѣ хотѣлось только ближе подвинуться къ нему и разсмотрѣть его. Онъ улыбнулся въ отвѣтъ на мое желаніе. Всѣ усилія воли были тщетны! Въ вагонѣ быстро смеркалось, и вдругъ на секунду стало темно. Должно быть, я закрылъ глаза. Когда я открылъ ихъ, контролеръ, вѣжливо согнувъ станъ, мѣтилъ наши билеты, тотъ же свѣтъ струился съ потолка, поодаль стоялъ кондукторъ съ фонаремъ, и странный незнакомецъ исчезъ.

Декабрь 1884.

СОДЕРЖАНІЕ

	стр.
Катря	1
Спящая красавица	70
Сонъ	151
У дѣтей на елкѣ	170
Типы царскаго сада	177
Вѣрочка	255
Терентій Ивановичъ	402
Врагъ рода человѣческаго	442
Фаустъ	453
Личное счастье	515
Новый годъ	543

Stanford University Libraries
3 6105 022 624 824
PG
3467
I3
1888
v.3

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6063
(650) 723-1493
greencirc@stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

MAY 19 2006
MAY 1 2006